Навсегда, до конца

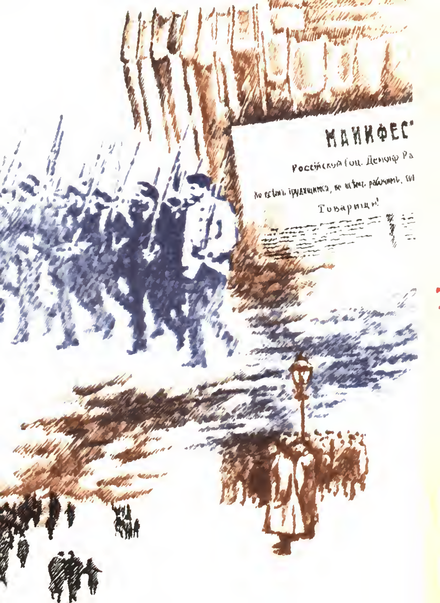
ВАЛЕНТИН ЕРАШОВ







Москва
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
1978


МАИИФЕС
Товарищи!

СЕРИЯ • ПЛАМЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ •

Валентин Ерашов

НАВСЕГДА, ДО КОНЦА

ПОВЕСТЬ
ОБ АНДРЕЕ БУБНОВЕ

Р2
Е80

Валентин Ерашов — историк по образованию, в прошлом комсомольский и партийный работник. Его перу принадлежат роман «На фронт мы не успели», однотомник избранной прозы «Бойцы, товарищи мои», повесть «Семьдесят девятый элемент», сборники рассказов «Рассвет над рекой», «Лирика», «Снег падает отвесно» и другие. Его произведения печатались в социалистических странах, переводились на языки народов СССР.

В историко-революционном жанре выступает впервые.

В повести «Навсегда, до конца» писатель делает попытку,— по существу, первую в художественно-документальной литературе — рассказать об Андрее Сергеевиче Бубнове, о становлении характера и личности этого революционера, большевика, человека сложной и прекрасной судьбы. «Опытный партийный товарищ», по выражению В. И. Ленина, Андрей Сергеевич Бубнов (1883—1940) — верный соратник Владимира Ильича, принимавший самое активное участие в организации первого в России общегородского Совета рабочих депутатов, в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалистической революции, руководитель Политического управления РККА, народный комиссар просвещения республики...

$Е\frac{10203—012}{079\ (02)—78}262—78$

АНДРЕЮ БУБНОВУ — ВНУКУ

Повсеместно,
Где скрещены трассы свинца,
Где труда бескорыстного — невпроворот,
Сквозь века,
на века,
навсегда,
до конца:
— Коммунисты, вперед! Коммунисты,
вперед!

Александр Межиров

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

1

Если бы Андрей тогда знал опубликованные лишь впоследствии слова Маркса: «Любимое занятие — рыться в книгах», он, возможно, осмелился бы отнести это выражение и к себе.

Библиотека в Иваново-Вознесенске была весьма приметная. Презентовал ее родному городу фабрикант Гарелин, тщась переплюнуть в благотворительности другого мецената, Дмитрия Бурылина. Тугосум Гарелин раскошелился: соорудили каменный особняк, устелили комнаты коврами, обставили диванами, столиками красного дерева, приобрели в Петербурге и Москве хорошие книги. Но даритель приказал строго-настрого: рабочих, и вообще голытьбу, в святилище сие не допускать. Впрочем, библиотекарша Полина Марковна, из народоволок, и ее помощница Соня веление благодетеля нарушали.

Наверное, с тех пор, как появились общественные читальни, библиотекари питают особую любовь к посетителям дотошным, понимающим что к чему, целенаправленным и серьезным. Таким и был Андрей Бубнов. Помимо круга чтения, обычного для юношей его возраста и склада,— русская классика, Бальзак, Золя, Диккенс, в некоем смущении спрашиваемый Мопассан и конечно же Писарев — он интересовался и литературою социаль-

ной. Такого рода изданий в благонамеренной библиотеке, пестуемой Гарелиным, числилось немного, хотя и было кое-что, и, лелея тем самым народовольческое свое прошлое, Полина Марковна старательно снабжала ими вдумчивого школяра. На всякий случай, по конспиративной привычке, записывала их не в именной его формуляр, а в особый, припрятанный листок,— книги выискались вполне легально, а все ж подбор их мог показаться подозрительным. В листке значились и Маркс — «Нищета философии», и Август Бебель — «Шарль Фурье, его жизнь и учение», и книги Меринга, и Вильгельм Либкнехт, и Роза Люксембург, и «История Коммуны», и даже — это скорее случайно — сочинение «Как священник стал социал-демократом», и многое иное, что увидело свет стараниями никак не крамольного, даже увенчанного медалями книгоиздательского товарищества «Просвещение», что в Санкт-Петербурге, в 7-й роте. Андрей томá и брошюры эти не листал кое-как, а, судя по всему, штудировал вдумчиво, оставляя слабые карандашные пометки,— обнаружив их, строгая библиотекарша не делала внушения.

Войдя в читальню, Полина Марковна мимоходом оправила слегка скособоченную скатерть на ближнем к двери столе, пощупала землю в кадке с пальмой — прислуга забывает поливать — и, сухонькая, в «чеховском» пенсне с дужкой, с гладким зачесом, в длинной юбке под кожаный широкий ремень (память о Бестужевских курсах!), мелкими шажками направилась к своей конторке. Отметила привычно, что помощница, горбунья Соня, опять опоздала: полностью лишена ощущения времени, витает в неких эмпиреях. Впрочем, опоздание — грех невелик: в полуденный час редко появляются здесь читатели. Даже лучше, что Сони пока нет, поскольку вот-вот на пороге возникнет Бубнов. Реалисты готовились к экзаменам, Андрей приходил в библиотеку, почти безлюдную,

каждодневно, и вовсе не ради того, чтобы проникаться школьной премудростью,— учебники, понятно, имел и дома,— а просто времени свободного предостаточно, знала Полина Марковна, вот и употреблял это время для души.

Очень ей нравился этот высокий, крутоплечий юноша, нравились его широко расставленные, светлые под темными ресницами глаза, размашистые брови, твердый по-мужски рот, нравилась его повадка смотреть чуть исподлобья, внимательно вслушиваться, вдумываться и только после паузы отвечать — кратко и не по возрасту веско. Полина Марковна прослышала, что в семье Андрею дано за серьезность прозвище Дедка, и мысленно его так называла, но вслух не отваживалась: Андрей шуток от посторонних не терпел, сама слышала, как он, сдержанный и даже стеснительный, превратился в Зевса-громовержца, когда тихая горбунья Соня высказалась неодобрительно, хотя и весьма необидно, о какой-то прочитанной им книге...

Хорошо, что Соня запоздала: при ней не хотелось вручать Андрею уготованное на сегодня. Конечно, и он удивится. Полина Марковна погладила сухими пальцами облаченные в натуральную кожу нетолстые комплекты «Правительственного вестника» за 1871 год. У Бубнова возникнет медленная улыбка, он поведет плечами — зачем, дескать, официозный сей печатный орган, да еще тридцатилетней давности,— но по ее лицу догадается, что предложено вовсе неспроста, усядется в дальнем углу, примется лениво перебрасывать желтые листы, а после...

2

Заседание городской управы тянулось долго и нудно. В суматохе перед началом — несли на поднось какие-то бумаги, докладывали, что не могут никак разыскать четверых господ гласных, еще разная суета — Сергей Ефре-

мович не успел съездить домой пообедать, только перехватил в присутственном буфете рюмку водки с двумя расстегаями, и сейчас был голоден и зол.

На председательском месте, чуть приподнятом над полом непросторной залы, восседал городской голова, «мэр русского Манчестера» Павел Никанорович Дербенев, некоронованный король «ситцевого царства», владелец и фабрик, и лесов, и земель, вкладчик заграничных банков. Был он щупловат, на магната — модное, только входившее в оборот словечко, — вовсе не похож, хотя и напускал на себя этакую авантажность, силился выпятить несуществующее брюхо, для внушительности поглаживал пятерней бороду, а бороденка-то жиденькая, ровно у псаломщика.

Сидючи, как по чину положено, в первом ряду казенных кресел, Сергей Ефремович Бубнов, член городской управы и лицо почитаемое — не за богачество, а за набожность, достойное поведение и справедливость,— томился безысходно: с голоду, а пуще оттого, что больно уж тошен был ему сам вид «мэра» Дербенева. Гляньте, добрые люди, ишь, корчит барина. Знаем, знаем, Пашка, умеешь пылью в глаза садануть. Когда нужные тебе гостеньки объявятся, так им золотые яблочки на серебряных блюдечках, лакеи чуть не в княжеских нарядах. И море разливанное: французская шампанея «вдова Клико», и коньяк от Шустова, и наливочки-то, а настоечки — ух! А ушицу подают архиерейскую, тройную, янтарным жиром подернутую, сколько ее примешь, столько и водочки пойдет, и не в едином глазу. А расстегаи у городского головы Дербенева, дьявол его, прости господи, забери! А гусь в хрусткой кожице! А поросенок — весь в дрожливом студне, по-теперешнему желе...

Однако и у нас подвальчик имеется со льдом, и у нас, господин Пашка Дербенев, окорочка тугие на вешалах слезою истекают, и грибочками хозяюшка не поскупится.

«Вдовою Клико» мы, натурально, баловаться не станем, не по нашему характеру, а уж водочкой исконной российской угостим вдосталь и пирогами-кулебяками в пять, а то и в шесть пластов приветим...

Сергей Ефремович едва не облизнулся, предвкушая плотный обед. И, в злобе и зависти к Дербеневу, не удержался, толканул в бок легонечко не кого-нибудь, а полицмейстера Кожеловского.

— А я как-то к Павлу-то Никанорычу ненароком в будний день завернул, дельце было мелкое,— зашептал Бубнов в полицмейстерское шерстистое ухо.— Гляжу, пристроился, бедолага, на краешке стола, щи хлебает из миски деревянной, и ложка деревянная. А сам в веретье каком-то, и опорки на босу ногу...

Отведя таким манером душу — Кожеловский пробурчал невнятное, — Сергей Ефремович заставил себя обратиться во внимание. Докладывал санитарный врач Померанцев, человек худой, въедливый, нервный, он то и дело поправлял пенсне, выравнивал без нужды стопку бумаг.

— Господа гласные,— торопливо, словно боясь, что прервут, продолжал Померанцев.— Городская почва под строениями во многих местах сильно загрязнена. Прошу меня извинить за вынужденную... как бы выразиться... ну, положим, натуралистичность... Однако, господа гласные, позвольте напомнить о варварском обыкновении устраивать отхожие места в виде переносных палаток. При этой, с позволения сказать, системе, как вам известно, яма по наполнении закрывается, а палатка переносится по соседству. В результате многие дворы обращены в сплошную клоаку.

Померанцев сдерживал тик, веки заметно подергивались, потому, наверное, и поправлял пенсне, чтобы скрыть.

— А торговые наши площади, господа гласные! Они сродни помойкам. Отбросы вываливаются куда попало, в лавках грязь поражающая, рядом со съестным припа-

сом — хлам и мусор. Мясо и рыба продаются, пардон, с душком, повсюду вонь невообразимая. А чайные, а харчевни, господа! К ним и приблизиться-то страшно...

— А коли страшно, так и не приближайся,— раздался негромкий, но такой уверенный, что все услыхали, голос. Конечно, Бурылин, Николай Геннадьевич. Не тот, что фигурами да картинами всякими балуется, тот Дмитрий, а этот — старший его брат. Тоже барином стал. Давно ли, на Сергея Ефремовича памяти, конторщиком служил в Куваевской мануфактуре. Но подфартило: как Надежда Харлампьевна Куваева, Куваиха, овдовела,— скоренько ее окрутил, сразу эвон шишкою заделался какою, директором «Товарищества»...

Эскападою Бурылина санитарный врач пренебрег, только еще раз бумаги перед собой выровнял и, не глядя в них, продолжал гнуть свое:

— Позвольте, господа гласные, в коий уж раз обратить ваше благосклонное внимание на загрязнение протекающей через город реки Уводи... И краска, и нефть, и отбросы — да их там больше, чем воды.

— Глупство,— опять был прерван Померанцев.— Глупство и сотрясение воздусей. Не вредное то дело, а пользительное. Когда в реку нефть да краску пущают, оне испускают едкие туманы и воздух городской очищают от зародышей и микробов, знать бы то нашему доктору.

Это Антон Михайлович изрек, Гандурин. Слон слоном, толстущий. И весь недопеченный как бы. Высится тушею, довольнехонек: подкузьмил докторишку.

— Господа, я прошу... я требую защитить меня от оскорблений! — еще торопливее забормотал Померанцев.— Господин Гандурин изволил...

— А что — господин Гандурин? Верно говорит,— вступился за собрата Николай Бурылин.— Эко дело, страх какой, речку, вишь, травим. Да Уводь-то река разве? Слава одна. И течет, не стоит на месте, слава богу.

— Господа гласные, господа! — Дербенев позвякал колокольчиком.— Покорнейшая просьба блюсти порядок. Милости прошу, господин Померанцев, продолжайте.

— Благодарствую,— врач слегка поклонился.— У меня, собственно, все, господин городской голова.

— Ан и ладно,—простецки молвил Дербенев.— И вам благодарствуем за оповещение, господин санитарный врач. А не пора ли нам перекусить чем бог послал, господа гласные?

3

На Егория-теплого, в последнюю неделю апреля, Иван Архипович Волков должен был разменять пятый десяток тяжкого земного существования, но, видно по всему, навряд ли мог он дотянуть до этого дня.

Разместился он уже как покойник — на лавке под образами, в том углу, что по давнему обычаю зовется красным, хотя был он, как и вся изба, сумрачен, замшел, попахивал гнильем. Избу давно следовало перекатать, сменить нижние венцы, вконец иструхлявленные, однако лес дорог, не укупишь и бревна единого, да и работа, даже с подмогою сыновей, оказалась бы Ивану Волкову не по силам, еще с зимы наладился помирать, а известно, что для чахоточных весеннее солнышко почему-то не отрада — погибель.

Уходя спозаранок, Прасковья Емельяновна жарко протопила печь — сухой хворост носили с Талки вязанками,— напоила мужа отваром из липовых почек, укутала тряпьем горшок с несколькими вареными картохами — авось в обед пожует. Поутру Иван Архипович есть ничего не мог, ему только до судорог в желудке хотелось топленого, с коричневой пенкою, молочка, но высказать вслух он и не помышлял, зная, что жена по гривеннику насобирает в долг у соседей и станет его ублажать, ровно малого, а он уже на свете не жилец, и лишние траты вовсе ни к чему.

Было душно, однако и под овчинной шубейкой Ивана Архиповича колотил озноб и волнами накатывал едкий, липкий пот. Пробовал укрыться с головой, чтоб не трясло, но становилось нечем дышать и сильнее тянуло на кашель, а в черепке на полу скопилось уже изрядно кровяных ошметков.

О неотвратимо близкой смерти думал он без махонького даже страха и только жалел Прасковью да сыновей, Никиту и Петра. Старшему оставалось еще два года в реальном училище. Отец с матерью надрывались. Шутка сказать, в классе одни господские сынки, только Никите и Кокоулину Сеньке посчастливилось, шибко усердны оказались в учении, никак нельзя их было, видно, повернуть от училищных дверей. И вот шесть лет родители во сне и наяву мечтали увидеть Никитушку либо конторщиком, либо — поднимай выше! — приказчиком, а то и, дай бог, у самого Дербенева или в «Товариществе» Куваихи. Правда, сам Иван Архипович запретные грамотки почитывал и с «бунтовщиками» Федором Афанасьевым и Семеном Балашовым был знаком и потому высказывать мечты насчет Никитушкиной жизни стеснялся. Но про себя думал так: когда еще там царство небесное на земле настанет, а жить-то надо бы молодым полегче, почище, посытней. Теперь он понимал, что до светлых тех деньков, когда Никита станет на ноги, ему, отцу, не дотянуть, но мать крест целовала, клялась, что костьми ляжет, христарадничать пойдет, а выдюжит, даст Никите завершить учение.

Понадобилось до ветру, и, превозмогая себя, он встал, сунул ноги в растоптанные валенки. Голова сразу поплыла, чуть не грохнулся, еле успел опереться о стол. Трясясь, накинул женину шубейку, натянул на лысину драный малахай. Долго, надрывно кашлял.

После избяного сумрака пасмурный день показался ослепительным, апрельский же ласковый ветерок — ле-

дяным. Сковыляв куда надо, Волков присел на завалинку и скрутил цигарку. Доктор курить не велел ни под каким видом, да что теперь, все одно помирать.

А жизнь текла своим чередом. Прытким скоком проскакал, горлапя, соседский тощий, гребешок склеван, петух. На ветру моталось чиненое бельишко. Скрипел вдалеке ворот колодца. Надсаживался где-то ребятенок. Привычно, без гневности, а так, по заведенному обычаю, лаялись на задах две лихие ругательницы — как вернутся с ночной смены, так и сцепятся.

Подумав о смене, он представил себе красковарку, где протрубил «с мальчиков» без малого три десятка годков. Двужильным оказался,— другие и половины того срока не выдерживали, отправлялись на погост. Мудрено ли: красковарка, что преисподняя: потолок давит, воздуху вовсе нет, одни пары, только что через открытую дверь и подышишь. Кругом котлы, в них булькают растворы, вонь адова. Из бутылей, из каменных колб — тоже смрад. Разъедает легкие, разъедает кожу, все красковары костливые, изморщиненные, серые, не разберешь, сколько лет кому: и молодые и старые все на одно лицо — плешивые, беззубые, до самых позвонков пропитанные отравой.

И у Прасковьи в отбельной не лучше. Повыше, посветлей — это да. Но тоже несет поташом, известкой. А пуще всего там худо от воды. Со всех сторон каплет, сочится, льется. Ни одежи, ни обутки не напасешься, работают босые, а мужики да ребятишки — те и без рубах. Кожа у всех преет.

Ладно еще Петьку довелось полегче приспособить — подручным к граверу. Ноздрин Авенир Евстигнеевич, бог дай ему здоровья, удружил. Граверы — они середь рабочих вроде бы чуть не господа, хоть и с кислотами возятся, но помещения у них чистые, свету вволю, воздух свежий. Хозяева с ними за ручку, наше почтение! Ну и денежки, конечно,— каменными домами обзавелись. Петь-

ка этому ремеслу не обучится, к рисованию негож, но покуда подрастет — нынче тринадцать ему — ничего, подходяще. Вся-то забота — принеси-отнеси, туда-сюда сбегай. Крутится весь день без отдыху, однако ж и на вольном воздухе бывает, и, глядишь, за водочкой-закусочкой слетает — мастер сдачу велит себе оставить, иной день и пятиалтынный набежит...

Он досмолил цигарку, выкашлял кровавый сгусток, сунулся в избяную прель.

4

И в самом деле, «Правительственный вестник» он читал сперва без особого интереса — давние события, и еще вдобавок уголовщина какая-то: «В пруде Петровского парка, принадлежащего Земледельческой Академии, случайно найдено было мертвое тело, в котором приглашенными к осмотру лицами узнан был слушатель той же Академии Иван Иванов. По всем признакам первоначального осмотра, Иванов оказался убитым огнестрельным оружием, на шее его затянут был красный шерстяной шарф, на концах которого оказался привязанным кирпич. При этом, однако ж, никаких признаков грабежа замечено не было, так как даже часы оказались в кармане».

Непонятно, почему Полина Марковна так суетилась, так радостно-таинственно улыбалась, вручая ему два газетных комплекта с заботливо всунутыми закладками. Быть может, просто вспомнила молодость и впечатление, произведенное на людей того времени загадочным убийством? Но если так, почему улыбка у нее радостная и волнение тоже радостное? Поразмыслив так, Андрей стал читать дальше и не пожалел: случай оказался вовсе не простой и не уголовный.

Оказывается, злосчастный Иван Иванов состоял членом тайного общества, созданного петербургским учите-

лем Сергеем Геннадиевым Нечаевым, каковое общество, гласила его прокламация, имело целью беспощадное разрушение монархического строя. «Да, мы не будем трогать царя, если нас к тому не вызовет преждевременно какая-либо безумная мера или факт, в котором будет заметна его инициатива. Мы убережем его для казни мучительной и торжественной перед лицом всего освобожденного черного люда, на развалинах государства... А теперь мы безотлагательно примемся за истребление его Аракчеевых, то есть тех извергов в блестящих мундирах, обрызганных народною кровью, что считаются столбами государства...»

Странно было видеть подобные слова в правительственной газете, у Андрея захватывало дух. Он второй год занимался в подпольном кружке реалистов, но там больше изучали экономическую теорию. Трудно было сообразить, почему, собственно, кружок нелегальный,— труды Маркса продавали в книжной лавке, стояли они и в библиотечных шкафах, дозволенные цензурою. В кружке было *слово*, Андрей же все отчетливей жаждал *дела*, еще не совсем ясно представляя, каким оно может оказаться. Он догадывался, что Володя, старший брат, революционному движению причастен, однако на сей предмет с «меньшим» откровенностей не заводил, да и нет его, Володи, в Питере он.

Библиотекарше не терпелось, она выглянула в читальный зал: Андрей что-то быстро писал в тетрадку и не услыхал даже, как она приблизилась, уселась рядышком.

— Ах, Андрюша,— сказала она страстно,— какие люди были, какие чистейшие души, какие сердца, какое благородство! Я ведь знала их почти всех — и Сонечку Перовскую, и Андрея Желябова, и Гесю Гельфман... И об Александре Ульянове слышала. Это были... Это люди были необыкновенные, они... они опередили свой век, им бы жить столетием позже, когда — вы, Андрюша, ве-

рите? — не будет ни убийств, ни малого даже насилия, когда весь ум свой, талант, волю, благородство могли бы они применить для счастия человечества... Знаешь, Андрюша,— незаметно перешла она на «ты»,— мне доверяли немногое, я была девчонка, я выполняла лишь простые поручения, но я горжусь, что удостоена была...

Было невежливо так вот, в упор, глядеть на собеседницу, но Андрей не мог отвести глаз. Сухонькая, маленькая,— сколько ей лет? Старая, за сорок наверное, в лоснящейся юбке, в застиранной блузке, в сваливающемся пенсне с высокой дужкой, Полина Марковна была сейчас не такая, не повседневная, глаза блестели, голос то прерывался, то звенел по-девичьи, сперва оглядывалась на двери, потом перестала, говорила в полную силу.

— Да, вам, конечно, диковинно, что я, такая вот, как теперь, провинциальная, старая дева, книжный червь, синий чулок, была народоволкой, революционеркой. Пускай я ничего не сделала важного, значительного, но я научилась думать, нет, даже мыслить, и видеть невидимое прежде, и я тоже была готова к подвигу, право, и не моя вина... Нет, моя: не хватило размаха, полета души, не хватило мужества... А после — после я надломилась, Андрюша, все казалось бесполезным, на место убитого царя пришел другой, на место казненных цареубийц тоже сперва приходили другие, но их становилось меньше и меньше, и ничего, ничего не менялось в России, Андрюша... И наверное, изменится не скоро... Ты умный мальчик, Андрюша, не сердись, что я тебя называю так, и дай тебе господь не потерять веру, не потерять мужества. Таким, как ты, наверное, и принадлежит будущее России...

Слушать это казалось неловко: слишком выспренне и в то же время лестно для него. И Андрей сделал то, чего не делал никогда: он приподнялся и поцеловал сухонькую ее руку, а библиотекарша коснулась губами

его виска, и оба засмущались, и Андрей спросил, чтобы перебить неловкость:

— И Нечаева вы знали?

— Нет, нет,— слишком поспешно сказала Полина Марковна,— не знала Сергея Геннадьевича, для меня *это* началось позже. Но газеты, которые перед вами, читала и многое слышала о Нечаеве впоследствии. Между прочим, он родился здесь, в Иваново-Вознесенске. Я расскажу еще о нем, Андрюша, если захотите. А пока... Я не осмеливалась с начала самого... Извольте подождать минуточку...— Тотчас вернулась, протянула тетрадку в травянисто-зеленом сафьяне: — Вот. Но будьте, ради бога, осторожней. Это было напечатано, да. Но теперь времена иные.

5

К дому Сергей Ефремович неспешно катил на гнедом жеребце Ваське, заложенном в ландо. Если признаться по совести, была обыкновенная, только подрессоренная пролетка, с откидным верхом, с изогнутыми крыльями, без дутых резиновых шин, а так себе, на тряском железном ходу, кузов плетеный. Но Бубнов попусту деньги распылять не желал и, завидуя толстосумам, все-таки выезда настоящего, с рысаком, с элегантнейшим экипажем, с возницею, обряженным по-столичному, не заводил. Однако пролетку свою именовал ландо и кучера выбрал с увесистым прозванием — Алексей Дормидонтович, при посторонних только так и кликал. Без чужих же звался он Алешкой.

Еще не стемнело. Сергей Ефремович себя воздвигал посередке стеганого кожаного сиденья, пальто нараспах, чтобы всем видна была на сюртуке серебряная цепь — отличительный знак одного из троих членов городской управы. Ответствовал проходящим — кому поклоном,

кому этаким кивком. Алешка на козлах причмокивал, понуждая коня без страху топтать неистребимую грязину, и, растолкав ее широкими копытами, Васька выволок на Первую Борисовскую к собственному Сергея Ефремовича Бубнова дому.

Всякий раз Сергей Ефремович испытывал радость, видя усадьбу, обширную и пригляДную. Еще бы: дом не хуже, чем у прочих владельцев, с мезонином, и пазьмо пространное, и флигелек для прислуги. А неподалеку второй дом, каменный, об один этаж, сдаваемый внаем немцу-коммерсанту. Ничего живем, как надобно.

Старательно тряпкою — Алешка подал — обтерев глубокие калоши, он ступил на крыльцо и тотчас услыхал суматоху, столь ему неприятственную. Как при нем — все ходят смирнехоньки, а хозяин со двора — и пошла карусель.

Навстречу с крутой, полувинтом, лестницы скатился Андрюшка, распояской, волоса набок, больно уж развеселый, отцу оказать почтение бы.

— Папенька! — возопил Андрей.— Папенька, Володя у нас!

— Чему ликованье,— отвечал Сергей Ефремович не вопросом, а скорее утверждением и, отстранив сына, проследовал в свои покои.

Литературы Бубнов-старший не был чужд, в ряду иных и Чехова, в прибавлении к «Ниве», почитывал, и, памятью усердной обладая, помнил из рассказика словеса: «Володя приехал! Володичка приехали! Ах, боже мой!»

«Боже мой!» — передразнил сочинителя Сергей Ефремович, ступая по широким, надежным половицам.

Кругленькая, теплый колобочек, Анна Николаевна заспешила навстречу, загодя виноватая вроде.

— Ефремыч, сынок наш приехал. И с внучкою и супругой...

— Приехал, так и приехал,— отрубил глава семейства.— Знать не желаю и видеть не хочу.

— Ишь, раскипятился,— отвечала супружница, меняя тон.— В Кострому соберусь нынче.

Это водилось у нее для муженька самая-пресамая угроза: к родителям убраться. Никуда не тронется, конечно, и она понимала, и хозяин, а все ж таки Сергей Ефремович на пристращиванья такие, себе во вред, поддавался. Сухонький телом и душой не распахнутый вроде, он ранимостью отличался и потому почел за благо сейчас помалкивать.

Через гостиную, плотно уставленную мебелью, через супружескую, сладко притемненную спальню проследовал в кабинет, приказав на ходу, чтобы обедать туда подали. Был голоден с утра, теперь же, после известия о приезде сыночка, еще сильнее: природе вопреки, в расстройстве чувств испытывал Бубнов алчный аппетит.

Даже наедине с самим собою Сергей Ефремович малость лицедействовал и потому вправил за ворот несгибаемую салфетку, передвинул чуть подальше столовый прибор, местами поменял вилку и нож — никак не приучишь, чтобы вилка слева, нож справа, у Пашки Дербенева небось знают... Настроил себя на сдержанность, предвидя, что сдержанности достанет ненадолго.

— Погодить, что ли, не могли с обедом? — выговорил он, когда Анна Николаевна самолично подала графинчик с травником, зеленый лук из собственного парника, непорезанный, перьями, как любил хозяин, и суповую миску. Видела, что супруг не в духе, прислугу не послала.— Все не как у людей,— присовокупил хозяин, давая (рано, рано!) волю раздражению.

— Отобедали, Ефремыч,— старательно и покорно молвила жена.— Володенька и Тонечка притомились с дороги.

Мужа она бояться ничуть и не думала, но понимала: он семейство содержит, семеро детей, да еще прислуги

четверо, да вот и Тоня с крохотулей Лидочкой. И гостей принимать надобно — в городе на виду их папенька. Расходы немалые, и деньгам он добытчик. Значит, уважение оказывать надо. Мужчины, они ведь какие? Их покорством только и ублажай, они себя за властителей полагают, а на сам-деле женщина — вот кто в доме голова.

— Притомились, притомились,— пробурчал он.— Эту, стриженую, видеть не желаю. А сын с отцом поздоровался бы, коли прибыл.

— Я счас, я счас позову,— быстренько, по-костромски сказала Анна Николаевна.— Ты кушай пока, отец, не то застынет. Жаркое принесу...

С первенцем не сладилось, тягостно повернулось, нехорошо.

Родился Владимир в добрую пору, отец уверенно стоял на земле. Служил поначалу конторщиком у своего дядюшки Варсонофия Варлампиевича, бывшего крепостного его сиятельства графа Дмитрия Николаевича Шереметева. Еще до крестьянской реформы дядюшка, мужик оборотистый, ударился в торговлю, сколотил капиталец и не только всею семьей откупился от барина, но и ткацкую фабрику взял у графа в аренду, а когда милостию государевой крестьянам вышла воля, как принялись его сиятельство распродавать владения, Варсонофий Варлампиевич тут как тут, не сплоховал, тряхнул мошной, заделался фабрикантом. Вскоре укатил в Питер, большими делами там заворачивал по купеческой части, фабрику же сдал на попечение племяннику Сергуне, конторщику, произведя его в управляющие. Сергуня бойкий был и башковитый, жалованье выделил ему дядюшка изрядное, да и от иных, не всегда безгрешных, доходов Сергей Ефремович себя не ограждал. Невелик, да ухватист, перенял от дядюшки толковость в деле. Единым махом

приобрел два дома на Первой Борисовской и еще прицеливался на землицу — словом, прочно себя определил.

Тогда вот, двадцати одного году от роду, сочетался законным браком с Анной Николаевной, купеческой дочерью из Костромы, и в богом обозначенное время явился на свет сынок.

Володенька рос на загляденье. Уж и красавчик, и умница, и послушен родителям. И, возрадовавшись, Сергей Ефремович друг за дружкою дал жизнь и Катеньке, и Лизоньке, и Мише, и Андрею, после некий передых наступил, следом Коленька появился и Ванятка. Но первый-то, первый всех пригожей оказался, и хоть сердце родителево болит о каждом одинаково, но и для него ведь, сердца отцовского, хошь ты не хошь, а не все дети равны: к Володеньке пуще, нежели к другим, тянулась душа.

Реальное училище окончил Владимир с отличным поведением и прилежанием, с отличными же успехами. Зачислен был незамедлительно в студенты столичного Лесного института. На радостях Сергей Ефремович лобызал Анюту, за сыночка благодарил. А трех месяцев не минуло — от Владимира письмецо: «Папенька, маменька, не гневайтесь: без вашего родительского благословения решился учение здесь оставить и почел за необходимость перевестись в имени Государя Императора Николая I Санкт-Петербургский Технологический институт».

Письмо с почтением надлежащим, но Сергей Ефремович не то что за голову — за сердце схватился, валериановой настойкой отпаивали. А знать бы ему истинную причину — по тракту бы, по тракту пехом, ползком бы дополз или коней в мыло, на ступеньки бы лег: только через мое тело переступишь!

Однако подоплеки сего переметства Бубнов-старший не ведал. По счастию для себя не слыхивал, что на Руси,

в Питере, образовалось тайное сообщество с злостными, супротив батюшки-царя, намерениями, прозываемое «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», и к тому окаянному «Союзу» приобщился Володенька. Одно название чего стоит! Правда, с дядюшкиной фабрикой Сергей Ефремович к тому времени распростился — задушили Гарелины, выписали из-за границы новомоднейшие аглицкие машины, бубновское предприятие зачахло, прикрыть вынуждены были,— но Сергей Ефремович и капитал сбил, и в городской управе очутился, и государю преданный был слуга,— каково ему про борьбу за освобождение рабочих слышать! А если б про Володино пропагаторство знал, мог в одночасье предстать перед всевышним. Не предстал, однако, в неведении пребывая.

Да и вообще это ведь так оно говорится: помер бы от горя... Человек — он терпелив, иной раз волком воет, по земле катается, а — живет себе и живет, утешаясь евангельскою заповедью: «Господь терпел и нам велел». А может, и не утешаясь, а просто натура у него живучая, у человека. И Сергей Ефремович выдюжил, и паче того выдюжил, когда прошлогод опять его порадовал сыночек — на сей раз бракосочетанием. Уж ни в какие ворота не лезло! Давно ему невесту сговорили — из почтеннейшего семейства Гарелиных (обида на конкурентов у Бубнова прошла, и невеста пригожа, неглупа и с приданым, само собою). Знал ведь, знал про то стервец Володька! А объявился и, в ноги не ударив, этаким фертом: «Папенька, маменька, прошу любить и жаловать — Антонина Федоровна Бубнова, урожденная Никитина!»

Ух и свирепствовал папенька, громы и молнии! Володька-нехристь на цыпочках к нему приближался, мать-потатчица юлой юлила, невестка же новоявленная — та и вовсе на глаза старалась не попадать, отсиживалась в мезонине.

Через несколько деньков глава семейства отмяк,— коли свершилось, надо свадьбу играть, иначе засмеют люди добрые. Отгуляли как заведено. А не лежала, не лежала душа у Сергея Ефремовича к этой: стриженая, из курсисток, у какого-то Лесгафта гимнастическими выкрутасами занимается, «физическое воспитание» — объяснила робконько. Да и родом так себе, отец — фельдшеришка военный в крепости Кронштадт (на свадьбу приглашали, как обойти...)

Молодые уехали обратно в Питер, на покров разрешилась Антонина от бремени, дочку нарекли — тут согласья испросили-таки — Лидией, и договорено было, что, как оправится Антонина после родов и внучка к дороге станет мало-мальски годна, приедут в отчий дом на побывку. Ну ладно, ждали. И тут опять батюшке презент.

В управу протелефонировал Кожеловский, покорнейше просил господина Бубнова наведаться в полицию. Встретил у порога, лошадиная морда, улыбочка гнусная, папироской угощал, знал ведь, что не балуется Сергей Ефремович зельем. Разговор затеял пустой, турусы на колесах, про дожди, про вистишко (случалось, закладывали оба по малой). Так бы и плели словеса, если б Сергей Ефремович не спросил напрямую, для какой надобности зван. Кожеловский глянул значительно, крутанул казенный солдатский ус и неспешно, удовольствие растягивал, щелкнул замочком, достал бумагу, в руки не дал, а, глазенапы туда запуская, втолковал, что Бубнов, Владимир Сергеев, подвергнут аресту за принадлежность к противуправительственной, преступной, крамольные цели вынашивающей группе, именующей себя Российской социал-демократической рабочей партией.

Услыхав устрашающее — «противуправительственная», «преступная»,— Бубнов охолодал, отчего-то заискивающе улыбнуться хотел, да не получилось, только гримаска выжалась, зато полицмейстер, скотина безрогая, ухмылки

почти не таил. Себя понуждая, Бубнов справился, какая может быть предписана кара в таковом случае. На что Кожеловский вкусно этак, со смаком изложил: и смертной казни государственных преступников подвергают, как известно... Но, будто кошка с мышью забавляясь, утешил: да вы унынию не предавайтесь, достопочтеннейший Сергей Ефремович, и вольпую шуточку подпустил, в тех смыслах, что-де бог не выдаст — свинья не съест. А может, ему в лапу, окаянному, сунуть, подумал Бубнов, но тотчас эту мысль отверг: иваново-вознесенский-то полицмейстер с какого тут боку, не его собачье дело.

С тем и расстались. Запершись в спальне, он все, как есть, жене рассказал, про смертную казнь только умолчав, поскольку сам в то не верил, зная, что в покушении на цареубийство не заподозрен Владимир, не было на государя Николая Александровича, слава богу, покушений, случись таковое — в газетах бы известили... Анне Николаевне строго-настрого наказал: детям про Володин арест — ни гу-гу, а корреспонденцию всю лично ему чтоб почтарь передавал, не через прислугу, а если дома не застанет хозяина, то пакеты ей, Анне Николаевне, принять и положить в этот ящик бюро, и чтоб пальцем никто не смел...

В недоумении, в печали существовал Сергей Ефремович. Все мерещилось: каждый в спину пальцем тычет, подхихикивает заглазно, любой сопливец знает про его позор. И от должности могут уволить — как тогда? Фабрики нету давно, долго на сбережения протянуть не протянешь, семья-то — шутка сказать, и прислуга, и дочерей, гляди, замуж скоро, приданое готовь... Ох, грехи, грехи наши тяжкие.

Встречая Кожеловского, Сергей Ефремович виновато потуплялся или, как сегодня вот, делался вдруг развязен. Сегодня-то в бок толканул полицмейстера, желая по-

делиться соображениями насчет Пашки Дербенева. Страх и стыд маяли Бубнова, но, коли разложить по ступенькам да полочкам, главное заключалось не в позоре и не в страхе, а в боли сердечной, в думах о Володеньке. Вот повсеместно, повсечасно талдычат: материнская святая любовь, материнская забота, слезы материнские... Будто бы отцовская душа не болит... И, разметывая подушки, простыни, сбивая пуховое стеганое одеяло, метался каждую ночь Сергей Ефремович, молился при лампадке, пил холодный квас — ничего не помогало...

Он услыхал шаги на лестнице, пересел за письменный стол, придвинул какие-то бумаги, принял загодя суровый вид. Подождал стука в дверь, помедлил, сказал громко:

— Взойди.

— Здравствуйте, папенька,— молвил сын приличествующим тоном и даже шаг вперед сделал, чтобы пообниматься, но взглядом отец его остановил.

— Объявился, вишь,— сказал Бубнов-старший, здороваться не желая.

Сын перед ним стоял высок и красив и не потупился в смущении, каторжанин такой-сякой.

— Ну вот, папенька, вы — гласпый городской управы, а я теперь — гласный поднадзорный полиции,— весело сказал Владимир, тряхнул длинными волосами. Ах, шельмец, он еще шуточки отпускать смеет!

— Ступай,— велел отец.— Видеть не желаю. И внучку видеть не желаю. И ту, стриженую.

Сын повернулся — спина прямая, ничуть не виноватая, и походка уверенная, ах, прокурат, каторжник, неслух, да пропади ты пропадом, словечка не оброню, по Владимирке этапом погонят с каторжным тузом на спине — копейки в дорогу не дам, прокляну!

Дверь закрылась. И тогда Сергей Ефремович, сухонький, сорокапятилетний, в полосатом, нынешней куцей моды костюмчике, член городской управы, домовладелец, в семье для всех грозный судия,— он тогда уткнул в ладони лицо, сронил на пол ненужные бумаги и тихо, для себя, чтоб не донеслось к домашним, заплакал.

6

Побыть наедине с Владимиром в тот день Андрею не довелось: брата освободили из петербургской «предварилки» четверо суток назад и Антонина его не отпускала ни на шаг, словно боялась, что вот-вот заберут опять. То и дело плакала взбудораженная дорожной суматохой Лидочка, писк ее слышен был не только здесь, в мезонине, а и внизу. Договорились с Володей потолковать утречком. Дом постепенно затихал, угомонилась наконец и Лидочка. На соседней кровати, рядом с Андреем, посапывал Николка, что-то приборматывал. Андрею не спалось.

Кукушка на часах пропела одиннадцать. Светила высокая луна, дымилась во дворе молодая травка. Окно распахнуто — нынче потеплело рано. Андрей оделся, взял шинель, через окошко, приставной лестницей, спустился. Чтобы не брякать щеколдой, перемахнул забор.

Ни один огонек не горел в домах на Первой Борисовской. Вдалеке повизгивала гармошка, слышались пьяные голоса. Весна выдалась на диво дружная, и вчера, на иринин день, Ирины Разрой Берега, 16 апреля, прежде сроку отыграли овражки и будто к Володиному приезду по заказу раскрылась и смородина, и бузина, и черемуха, и фиалки зацвели. За городом сильно пахло зеленой свежестью. И уже сморчки несли бабы из лесу, и, если не соврала нянька, над Уводью прошмыгнули

негаданные ласточки. Утихли, понастроив гнезд, грачи. Отгремел в четверг первый, перекатами, гром. Весна...

Фонари — на каждый квартал по единственному — погасили. Андрей перешел на освещенную луной сторону. Куда он отправился и зачем — не знал сам. Такое с ним приключалось нередко с тех пор, как начал взрослеть: срывался с места и брел без всякой цели. Сейчас он двигался в сторону Талки и, поняв это, решил: а что, и в самом деле пойти туда, подышать чистым запахом недавно раскованной воды. Недалеко. Посидеть на бережку, наломать черемухи, она в домашнем тепле распустится, маменька будет рада и сестренки, а особенно Тоня, любящая музыку, стихи, цветы.

Кто-то бежал навстречу — прямо по лужам, по грязи. Андрей на всякий случай прижался к забору. Но и тот переменил бег на опасливый шаг. Андрей узнал Никиту Волкова, училищного товарища. Выглядел тот странно: без шапки, в одной рубахе распояской, брюки мокрые,— кажется, чуть не по колено.

— Никита,— позвал Андрей.— Ты что?

— Слушай, у тебя деньги есть?

— В кабак тебя все равно не пустят, вид неподходящий,— сказал Андрей; он пьяных не терпел.

— А,— Волков махнул рукой и снова кинулся бежать. Андрей догнал, ухватил за плечи:

— Да ты что, Никит?

— Отец помирает. Кровь горлом хлещет. За доктором я. Денег в доме ни гроша, думал — завтра у кого займем, отнесу. А ведь без денег может и не пойти доктор-то.

— Три рубля хватит? — Андрей заторопился, полез в карман форменной куртки. Отец деньгами не баловал, на книги, однако, давал.

— Я побег,—сказал Никита. В училище он привык говорить правильно, даже чрезмерно книжно, а тут вырвалось.

— Мне с тобой? Или к вам, помочь?

— Чем поможешь, не ходи... Ладно, я побег...

— Шинель хоть мою возьми, застудишься,— крикнул Андрей вдогонку.

Никита не услышал.

Через несколько минут, забрызгавшись грязью, Андрей стоял у избенки Волковых.

Он ожидал, что будет отчаянный вопль Прасковьи Емельяновны, плач Петьки, но стояла тишина, и это показалось Андрею страшней любого крика. В единственном, незанавешенном окошке теплилась желтая лампешка, но сквозь мутное стекло ничего не видно, только двигались тени. Войти Андрей не решался. Присел в сторонке на трухлявый, фосфорно посвечивающий обрубок, решил дождаться Никиту с врачом.

Такая хорошая, весенняя выпала ночь, и было невозможно представить, что рядом, совсем рядом умирает человек, хорошо знакомый, близкий Андрею. Помнил он Ивана Архиповича с тех дней, когда поступали Бубнов и Никита Волков в реальное. Никита чем-то на товарища нового походил — тоже лобастый, с крупным носом, повадкой медлительный и, как Андрей, мог ни с того ни с сего выкинуть фортель. Держался он сперва наособицу, разговаривал только с Сенькою Кокоулиным (у того отец — ткач, остальные же барчуки). Но вскоре подружился с Андреем, и Бубнов частенько забегал к ним в избенку,— здесь, в бедноте, в скудости, порою казалось ему теплей, нежели в чинном, благопристойном, набожном отцовском дому. Иван Архипович моралью никакой не докучал, балагурил, как с равными, молитв перед трапезой не творил, от семьи не отъединялся. И даже пшенка, едва приправленная зеленым льняным маслом, нравилась Андрею не меньше, чем жирные маменькины кулебяки. А главное, у Волковых все говорили не тая —

и про домашние дела, и про фабричные порядки. Здесь, пожалуй, и начал Андрей постигать жизненную азбуку.

И вспомнилось теперь: под рождество, в девяносто седьмом, сидели, как всегда, в классе, за окнами раздался непонятный шум и, сколь ни отличался строгостью учитель математики, надворный советник Шестаков, реалисты рванули с мест, облепили подоконники. По Александровской, посередине мостовой, оттеснив и экипажи, и подводы, распирая, казалось, стены домов, шествовала толпа. Не гомонили гармошки, не взвизгивали, как заведено во время гулянок, подвыпившие бабы, не слышалось матерных выкриков: толпа шествовала безмолвно, и в безмолвии ее, наверное, и заключалась неведомая, неугадываемая сила, и ее, этой силы, устрашился надворный советник Шестаков, он взывал: «Господа, господа, прошу по местам», но «господа» третьеклассники Иваново-Вознесенского реального училища, каждому по четырнадцать лет,— за учебные столы не торопились. Кто-то — кажется, Кокоулин Сенька — с бумажным треском рванул на себя оконную раму, влетели снежинки, донеслось дыхание тысяч людей. И тут в коридоре затрещал звонок.

Училищный дядька — по обыкновению, конечно, отставной унтер — вознамерился удержать, но куда там — двери бы сокрушили.

За чугунную ограду не выйти, к ней вплотную, с той стороны, двигались фабричные. Ученики смотрели сквозь решетку. Рядом с Андреем оказался Евгений Гандурин, смуглый, похожий отчего-то на татарина, стоял прямо, навытяжку, не хватался руками за прутья ограды. Он процедил какое-то короткое слово — не то «хамы», не то «рабы». Андрей обернулся: Гандурин глядел сощурясь, лицо взрослое и злое.

А толпа шла мимо. Зипуны, армяки, овчинные шубейки, у некоторых пальтишки грубого седоватого сукна. Картузы, треухи, платки. Опорки, лапти, валенки, редко — сапоги. И ни выкриков, ни песен, ни перебранки.

Тогда вот Андрей увидел Ивана Архиповича Волкова и не вдруг узнал. Отец Никиты — пригорбоватый, немного суетливый, в часы отдыха безобидный балагур — показался Андрею высоким, плечистым. Иван Архипович смотрел прямо перед собой, он слегка опередил своих, ляпушинских, и получалось так, будто ведет он остальных товарищей.

Течение людское замедлилось, остановилось, и тотчас на расширенное основание фонарного столба вспрыгнул, обнял столб левой рукою, а правую распростер молодой мастеровой обыкновенного вида (короткое пальтецо, косоворотка, сапоги), и сюда, к ограде училища, его слова донеслись четко:

— Товарищи. По требованию народа правительство приняло закон — сократить рабочий день до одиннадцати с половиной часов. Это не сладкий пряник, а все-таки уступка. Но фабриканты наши гнут свое, ищут себе лазейку. Они зато решили уменьшить число праздничных дней в году. Рабочие у Гарелина первыми подняли голос, чтобы восстановить праздники. Но этого мало. Надо всем требовать, чтобы перед праздниками работу заканчивать в шесть часов вечера, чтобы, когда женщина рожает, ей давали свободный месяц и платили за него не меньше восьми рублей...

— Верно говорит!

— Держи карман шире, так они тебе в карман-то и...

— Городского голову сюда!

Оратора на столбе сменил другой, Андрей его знал немного, жил неподалеку, тоже молодой, как и предыдущий, с усиками, а когда скинул картуз, обнаружилась широкая лысина.

— Я вот стих про нашу жизнь составил, послушайте,— объявил он и принялся декламировать:

— Жмет рабочего контора,
Как в тюремном замке вора;
Цен сбавляют, пишут штраф,
На защиту нету прав.

Отставной училищный унтер тряс колокольчиком, в классы возвращались только немногие. Теперь толпа гудела, разбивалась на кучки, и в каждой кто-то карабкался на столб, других поднимали на плечи, говорили всюду, стало почти ничего не разобрать, и Андрей — без шинели — выдавился на улицу. И вскоре очутился рядом с Иваном Архиповичем.

Волков его не заметил, он объяснял товарищам примерно то же самое, что и парень в косоворотке, но проще объяснял, с прибаутками, вокруг смеялись, и снова Андрей удивился перемене, которая произошла с отцом его одноклассника.

Демонстрацию не разогнали: полицейских сил в городе недоставало, и митинги, сходки продолжались на каждой фабрике, на каждом заводе, проходили мирно, сдержанно. Каждый день после занятий Андрей бежал на гарелинскую фабрику — она стояла рядышком, на задах отцовского дома,— а вечерами спешил к Волковым. В ту пору Иван Архипович кровью еще не харкал, да и забастовка его, как и многих, взбодрила, балагурить он перестал, всерьез разговаривал с Никитой, с Андреем — и малолетний Петька тоже прислушивался,— и многое перед Андреем стало представать в ином виде, нежели прежде.

Нет, папенька Сергей Ефремович не был ни кровососом, ни деспотом, когда управлял фабрикой и теперь, ставши членом городской управы. Не в меру вспыльчивый, он, однако, рукам воли не давал и даже во гневе не употреблял бранных слов, рабочих не почитал за быдло, вовсе нет. Просто верил он в то, что каждому чело-

веку божьим провидением определено занять на земле то или иное место. Вот хотя бы ихний, Бубновых, род. По семейным преданиям, и каторжники среди предков Сергея Ефремовича водились, и, слышно, даже фамильное прозвание от бубнового туза, пришитого «ворам» на спину, повелось. Но те Бубновы памяти о себе не оставили, сгинули без следа. Дядюшка же Варсонофий Варлампиевич господней милостию одарен был и смекалкою, и хваткою, из грязи — в князи, мало того, что фабрику откупил, крупной торговлею в Питере занялся, но еще и щедростью перед богом и людьми наделен был отменной: Крестовоздвиженскую колокольню в городе на свои средства вознес и в сооружении зимнего храма немалое участие принимал. Да и Сергей Ефремович, из мальчика на побегушках — в конторщики, из конторщиков — в управляющие, а ныне член городской управы, один из отцов города — это каково? А те, кому предназначено краску варить или полотна отбеливать, значит, на большее негожи, роптать не на кого,— вот как рассуждал Бубнов-старший. И до какой-то поры ему Андрей верил, как верил, о будущем задумываться начав, и в собственный «талан»: быть ему, Андрею Сергееву Бубнову, сперва инженером, потом и владельцем, а там, глядишь, сановное кресло уготовано в столице...

...На пятый день мирной забастовки в город, по приказу владимирского губернатора, вступили два батальона — 700 человек! — пехоты и сотня казаков. Через сутки — еще казачья сотня. Все предприятия оцепили. Через две недели приступили к постылой работе...

За калиткой послышались — шлепали по грязи — шаги. Андрей кинулся туда.

— Почему один? — спросил Никиту, и Волков, не удивившись, что Андрей здесь, ответил:

— Не схотел доктор. Говорит, до утра потерпит отец, а там пускай в больницу является, невелик барин. Как отцу-матери об этом сказать-то...

— Давай вместе,— сказал Андрей.

Тело Ивана Архиповича вытянулось на лавке, в изголовье оплывала тонкая свеча.

— Только ты за ворота — он и преставился,— ровно, без слез, как о чем-то совсем обыкновенном, объяснила Прасковья Емельяновна сыну.— К мертвому, вишь, доктора-то звал, к мертвому...

Бывало и пострашней...

«Возмутительный и в то же время характерный для наших порядков случай произошел на Полушинской фабрике. Одна работница очень сильно захворала; она не раз заявляла о своей болезни и просила отпуска — поправиться здоровьем, но получала отказ. Когда однажды, уже совсем больная, она обратилась с тою же просьбой, ей пригрозили расчетом. На слова, что нечем кормиться, был короткий ответ: «Черт бы тебя ободрал, дохни». Шатаясь, пошла она с фабрики, но, задыхаясь, села на лавке, а минут через пять умерла; об этом доложили табельщику. Тот, испугавшись, тотчас же оповестил всю фабричную администрацию, и вот собравшаяся стая, с целью выгородить себя из этой истории, придумала гнусную вещь: написала отпуск для лечения, положила его в карман покойницы и отправила ее в больницу».

«Искра», 1 октября 1902 года

7

Во дворе Бубновых прытко, сильно пробивалась тимофеевка, по ней так славно, так ласково бежать босиком к колодцу. Едва сгоняло снег, Андрей мылся до пояса

чуть зеленоватой студеной водой. Поливал обыкновенно из ковшика брат Николка, сам он, завидуя, на такое омовение отважиться не мог.

В хорошую пору года родился Андрей, в конце марта. Накануне по неписаному народному календарю — Василий-парник, Василий-солнечник, Василий-капельник. Всегда к этому дню пригревает, льются с крыш веселые, звончатые струйки, падают, дробясь, перестарки-сосульки, и, если солнышко покажется в кругах, значит, быть урожаю. А нынче и вовсе теплынь, и раньше прошлогоднего отметил Андрей обливанием из колодца наступление весны — в свой день рождения, в восемнадцатилетие, принял, как он выразился, очередное «святое крещение».

А в самом деле крещен был младенец во субботу светлой седмицы, и, как у гоголевского Башмачкина, выпадали в ближайшие дни по святцам заковыристые всякие имена: Протолсон, Пасикрат, Евсевий, Евлогий, Иакисхол. Пользуясь правом от прозваний таких отказываться, велел Сергей Ефремович окрестить Андреем — в память святого, князя Андрея Боголюбского, а по-гречески, знал родитель, обозначает «мужественный». Бубнов же старший во всякие божии предопределения, как уже сказано, верил и потому имя выбрал неспроста.

Надо признаться, что поначалу Андрей имя свое не очень оправдывал, был хиловат и плаксив, боялся, как Володя ни поддразнивал, спрыгнуть с крыши погреба, простужался от сквозняков. Но, вычитав однажды про детство Александра Суворова, а затем и о Рахметове, решил себя закаливать. Правда, на голых досках, тем более на гвоздях, не спал, но вместо пухового покрывался тканым, дерюжным одеялом, в комнате ходил босой, форточку, к неудовольствию Николки, не затворял и, начав с холодных обтираний памятной весною 1898-го (после той забастовки!), обливался у колодца, ни к чему особенному себя еще не готовя, а так, ради телесного здо-

ровья. И в постели не залеживался, поднимался спозаранок.

Сейчас вдобавок близились переводные экзамены, их препорядочно: и закон божий, и языки — русский, немецкий, английский, история, математика, физика, естественная история, черчение, рисование... Только по гимнастике и пению экзаменов нет. А если б и были... На всех аппаратах не робеет — и на турнике, и на шведской стенке, и на кольцах, и через деревянного, кожею обтянутого коня прыгнуть — пожалуйста. Даже Тоня, Володина жена, хвалила, глядючи, как на турнике упражняется, а уж Тоня понимает, на курсах знаменитого Петра Францевича Лесгафта училась. С пением — хуже, медведь на ухо наступил, но, как и многие лишенные музыкального слуха, Андрей петь любил.

Выскочил на крыльцо босой, до пояса голый. Доски за ночь отсырели. По мокрой траве пробежал к турнику. Подпрыгнул, ухватился за перекладину. Вис, подтягивание. И напоследок — «солнце». Мускулы перекатывались под кожей, тело упругое, легкое.

Сейчас Николка увидит, что Андрей заканчивает гимнастику, примчится. В отличие от брата, он поспать мастак, выгадывает лишние минуты. Нет, не появляется, лодырь. Это и к лучшему: хочется побыть одному. Ночь прошла в бодрствовании — много событий свалилось. Газета с процессом Нечаева. Сафьяновая тетрадка Полины Марковны. Приезд Володи. Смерть Ивана Архиповича. Слишком для одного дня.

Тяжелая бадья ухнула вниз, Андрей подергал цепь из стороны в сторону, зачерпывая. Приналег на выбеленную рукоять. Слышно было, как тенькают капли.

— А здорово ты за год повзрослел, братик,— сказал Владимир сзади.— Спартанствуешь по-прежнему? Ну, с добрым утром, Дедка. Изволь я тебе водички полью, раз уж ты у нас такой селезень.

Он сбросил с плеч накинутую студенческую тужурку, остался в свежей нательной сорочке. Шея худая, грудь белая.

— Неважно выглядишь,— сказал Андрей. Пожалуй, он впервые себя с братом чувствовал на равных; разница в пять лет, конечно, сказывается, но ведь и он вступил в совершеннолетие и, кроме того, изрядно передумал, пережил с тех пор, как не видались.

— Не с курорта прибыл, не из Карлсбадена,— Владимир зло покривился.

— Трудно пришлось?

— Да как сказать... Предварилка — она, конечно, не Петропавловка, даже не «Кресты», и Шпалерная улица — не Владимирский тракт... Понятно, младый вьюнош?

Да, было понятно: на Шпалерной в Петербурге размещался знаменитый Дом предварительного заключения, «предварилка». Ну, а Владимирский тракт, Владимирка, с печалью воспетая ссыльными, увековеченная в полотне Исаака Левитана,— так это ж здешние, совсем неподалеку, места...

— А впрочем, не жалуюсь,— присовокупил Владимир.— Знал, на что иду.

В прошлый свой приезд он, как бы признав брата за взрослого, рассказал, как в 1895 году вступил в марксистский кружок реалистов. Потом примкнул к иваново-вознесенскому «Рабочему союзу», который возглавляла Ольга Афанасьевна Варенцова. А после образования в 1898 году Иваново-Вознесенского комитета социал-демократической партии, в июне, слушал речь высланного в Кохму студента Горного института Рябинина,— тот рассказывал о I съезде партии, читал «Манифест» его, и Владимир без колебаний заявил, что с манифестом согласен. С того дня и числил себя в партии.

Рассказал он это не сразу, а постепенно, слово за слово, и всякий раз предупреждал: смотри, молчок, никому.

И Андрей, гордый доверием, решил в свою очередь поразить брата, слазил на чердак, выложил на стол две книжки «Русской мысли» — в оглавлении подчеркнуты имена Максима Горького, Короленко, Глеба Успенского, Мамина-Сибиряка — и еще томик Богданова «Краткий курс экономической науки»... «Ну, это прятать нет необходимости,— сказал Владимир немного покровительственно,— в шестернинской лавке, поди, приобрел?» — «А я от папеньки утаиваю,— признался Андрей.— А кружок-то в училище и по сей день, и я в нем». — «Если бы про то не знал, не стал бы с тобою откровенен»,— ответил брат.

Андрей растирался холщовым длинным полотенцем, вышиты крестиком на концах малиновые петухи. Брат спросил:

— Ты чем собираешься заниматься сегодня? Науку одолевать, к экзаменам готовиться?

— Да ну,— Андрей отмахнулся.— По закону божию послезавтра экзамен. Вытяну на три балла — и ладно.

— Между прочим, революционеру и закон божий надо знать,— не в шутку сказал Владимир.— Пропагаторство придется вести разное, в том числе и против религиозного дурмана.

Он говорил по обыкновению отчасти наставительно, Андрей, однако, не обиделся, напротив, воссиял: брат назвал и его революционером.

— Ладно, согрешим тогда,— сказал Владимир.— Отвлеку тебя от праведных трудов, потолкуем основательно. Мне только надо кое-куда отлучиться, вернусь не поздно.

— И мне,— сказал Андрей.— У Никиты Волкова отец ночью умер...

— Иван Архипович? Вон оно что... Чахотка?

Поговорили о Волковых. Владимир достал золотой червонец.

— Передай им.

— Я еще у маменьки спрошу денег, — сказал Андрей.— Не откажет, думаю.

Из внутреннего кармана тужурки Владимир вынул в несколько раз сложенную газету.

— Держи. Это прячь как следует. Даже в мезонине читать не рекомендую, вдруг ненароком папенька заглянет. В хибарушке читай. Это — «Искра», знаешь?

— Нет.

— Об Ульянове слыхал?

— Тот, который на царя покушался, на Александра Третьего?

— Того казнили. Я — про младшего его брата, Владимира. Псевдонимы — Ильин, Тулин. Он издает «Искру» — с декабря прошлого года.

На крыльцо выкатилась шариком кухарка, позвала, голос у коротышки почти басовой:

— Владимир Сергеич, Андрей Сергеич, завтракать пожалуйте.— И добавила потише: — Папенька ваш гневаться изволят.

8

«Папенька гневается» — привычная формула, и только. Не так уж и страшились в семье родительского неудовольствия, но считалось: папенька — глава, папенька — высший судия, и, повзрослев, дети с папенькой играли в эту, ему приятную, игру. Хотя, правду сказать, когда Сергей Ефремович и в самом деле приходил в недоброе настроение, все в доме маялись.

Завтрак похож был на поминки в самом их начале, когда еще не успели подвыпить, а только приняли по единой и налегли молча на закуску.

Как всегда, овальный стол застелен белейшей крахмальной скатертью, приборы выстроены по ниточке, садиться всем определено по старшинству, на постоянное

место, и одетому быть без небрежности. Сам выходил в пиджаке и при галстухе, мельком оглядывал, все ли собрались, каждый ли благопристоен, истово крестился на образа, внятно творил молитву, благословлял семейство.

И сегодня по случаю приезда старшого не отступил от заведенного порядка, даже нарочно его усилил. Молился долго, но кроме того не обронил ни единого слова, даже внушения делать не стал, когда горничная ему салфетку не развернула, лишь глянул этак.

Остальные и подавно молчали, даже певунья и хохотушка, старшая из дочерей — Катенька и самый малый — Ванюшка. Впрочем, за столом вообще разговаривали редко, разве что папенька оказывался в добром настроении.

Как и должно наследнику, Владимир сидел возле отца, вытянутый в струну, двигался напряженно. Глаз при этом не опускал и старался быть натурален. И Тоня ему подражала. Тоня нравилась Андрею: красива, одета всегда к лицу, непричесанной из своей комнаты не покажется.

Ели, как положено, неторопливо, но, вероятно, каждый думал одно: скорей бы кончилось, скорей бы прочь из-за стола.

Более всех томился Андрей, одолевало нетерпение газету, врученную Володей, хотя бы бегло просмотреть. Он глотал, не замечая вкуса. Маменька глазами указывала: ешь достойней, сиди спокойно,— Андрей осекался, но через секунды забывался опять.

Наконец, сызнова прочтя молитву, Сергей Ефремович отпустил домочадцев, первым несуетно вышел. Все поднялись, опередив шустрого Ванюшку, выскочил из столовой и Андрей.

В дальнем углу сада, там, где у забора высились тяжелые от старости липы, давно придумал Володя строить

занятные сооружения — «пзбушки-хибарушки». Всякий год заново. В дело шли горбыли, клепка от рассохшихся бочек, дровяные полешки. Летом возводили для тени — легонькие, зимою — почти капитальные, внутри обивали старыми попонами, веретьем. Папенька не запрещал: оно и баловство, а с другой стороны, и уменье сыновья обретают, приучаются к рукомеслу.

Еще не сломали хибарушку зимнюю, с тусклыми оконцами. Через несколько дней примутся ее крушить, благо и Володя, главный выдумщик, приехал, а пока стоит себе хибарушка в глубине сада. Андрей продрался меж кустов едва зазеленевшего вишенья и окунулся в ее душную полутьму.

Газета оказалась непривычного виду, не похожая ни па «Петербургский листок», ни на «Биржевые ведомости», получаемые в их дому. Без смешных — а чаще не смешных — карикатур, без афишек торговых заведений, без обещаний за рупь-целковый выслать книгу о том, как разбогатеть или в двадцать четыре урока стать писателем,— газета была какая-то сухая, напечатанная вся одинаковым шрифтом, ни единой картинки, бумага тонкая, чуть ли не папиросочная. И рядом с крупным заглавием — давно знакомая строка ответа декабристов Пушкину: «Из искры возгорится пламя!»

Рассмотрев это все, Андрей принялся читать.

«Русская социал-демократия не раз уже заявляла, что ближайшей политической задачей русской рабочей партии должно быть ниспровержение самодержавия, завоевание политической свободы... Многие представители нашего движения выражают сомнение в правильности указанного решения вопроса. Говорят, что преобладающее значение имеет экономическая борьба, отодвигают на второй план политические задачи пролетариата, суживают и ограничивают эти задачи, заявляют даже, что разговоры об образовании самостоятельной рабочей пар-

тии в России просто повторение чужих слов, что рабочим надо вести одну экономическую борьбу, предоставив политику интеллигентам в союзе с либералами...»

Посмотрел на часы: пора, пора к Волковым. Запрятал газету под кошму в хибарушке. На кухне рассказал маменьке о случившейся там беде, прибавил к Володиному червонцу две пятирублевые ассигнации.

9

Полицмейстер Кожеловский и Отдельного корпуса жандармов ротмистр Шлегель сидели в удобных креслах визави и тихо ненавидели друг друга. Со стороны могло показаться, будто расположились для приятного, душевного разговора сердечные приятели. Но мало ли что кажется людям со стороны.

Юлиан — впрочем, он себя называл почему-то Эмилем — Людвигович Шлегель, из остзейских немцев, полагал, и по справедливости, коллежского асессора Ивана Ивановича Кожеловского бурбоном, вахлаком и пьянчугой. Спору нет, кой в чем этот охламон и пообтесался: дамам к ручке подходить обучен, за столом рыбу с ножа не трескает, вилочку держит левой, в соус хлеб не макает. Но застань его ненароком в присутственной конторе — такую непотребную словесность услышишь, что, доведись тут быть городским барыням или барышням, бочки нашатыря не хватило бы в чувство привести. И шуточки сальные, а рассуждения — ни дать ни взять Держиморда гоголевский.

На взгляд же полицмейстера, опять по-своему небезосновательный, немчура этот, выкрест (специально к нему прикладывал словечко, лишь к жидам, мусульманам и язычникам, принявшим христианство, относимое), в славянолюбие ударился напоказ. В трактире расстегаи себе велит подавать, ботвинью, кашу полбяную, квасом

запивает, немчура окаянная. А несет от него тончайшими дамскими духами, платочек батистовый, как у барышни, мундир в рюмочку — слыхать, корсет напяливает! — и шпоры подточены до малинового звону. Однако всю фанаберию Кожеловский фитюльке ротмистру и простил бы, коли б не главенствующее. Перво-наперво, фитюлька этот, поелику жандарм, а не полицейский, и в должности значится помощником начальника Владимирского губернского жандармского управления, наделен правомочиями сноситься непосредственно с Министерством внутренних дел, а он, Кожеловский,— не далее как с губернатором. Засим глазами шныряет ротмистр завсегда лукаво, будто и про тебя нечто ведает предосудительное. И еще: окромя шампанского, да рюмашки шустовского, да квасу,— ничего не приемлет из напитков. А ведь на Руси кто не пьет? Либо шибко больной, либо скаред отъявленный, либо — себе на уме. До болестей немчик дожить не успел, денег на иное, кажись, не жалеет, отселева заключить можно, какова причина трезвенности...

Разные они были, коллежский асессор Кожеловский и ротмистр Шлегель (правда, чинами равны, оба соответствовали армейскому капитану), но связал их черт — тьфу, виноват, прости господи,— связал их департамент полиции одной веревочкой. Вот и восседали они сейчас в удобных кожаных креслах, подымливали — он, полицмейстер, славным жуковским табачком, трубочкой, а этот — модной из листьев крученной сигареткой, и от нее духами вроде воняло. И вели разговор — с виду приятельский, а на самом деле с подковыркою.

— Так вот-с, милейший Эмиль Людвигович,— молвил Кожеловский, протянул отстуканную на «ремингтоне» бумагу.—Вот-с.

«Милейший» — лакеям, приказчикам, «ванькам» адресуется, оба то знали.

Но и Шлегель оказался не промах.

— Благодарю вас, достопочтеннейший Иван Иванович,— старательно, буквочка в буквочку, выговорил, понимал, что «достопочтеннейший» — купчишка, не более того.

Любезностями обменявшись, остались оба собою довольны и привычно злы, засим Шлегель прочитал бумагу.

«Его высокопревосходительству господину Владимирскому губернатору.

Честь имею донести, что апреля 16 дня 1901 года в вверенный мне безуездный город Иваново-Вознесенск прибыл из Санкт-Петербурга сын мещанина, члена городской управы С. Е. Бубнова — Владимир Сергеев Бубнов, определенный под гласный надзор полиции за принадлежность к Российской социал-демократической рабочей партии, а такожды за противуправительственную...»

Пробежав — не до конца — казенные, навсегда затверженные чиновным людом словеса, Шлегель пыхнул сигареткой, мизинчиком стряхнул пепел, допустил на лицо улыбку, сказал:

— Презент Сергею Ефремовичу к святой пасхе.

— Да уж,— полицмейстер от души хохотнул, явственно припомнил, как прошлый раз Бубнов ерзал в кресле, где сейчас восседает ротмистр, поглядывал по-собачьи, с заискиванием.— Вырастил сыночка себе на радость. Как изволите полагать, господин ротмистр, не... тово-с этого шкубента? (Нарочно сказал — «шкубента», пускай финтифлюшка позлобствует: мол, с невеждою разговаривает, ан и мы непросты, господин Шлегель, мы сами с усами. А чтоб ясней было «тово-с», пальцы скрестил решеткою.)

— Поживем — увидим, Иван Иванович, — ответствовал Шлегель.— Покамест забота ваша, а мы поглядим...

Решительно весьма стукнули в дверь. Так стучаться мог кто-то неподначальный.

— Под гласный надзор полиции определенный Владимир Сергеев Бубнов имеет честь доложиться господину полицмейстеру...

Ну, глянь, глянь, бунтовщик, пропагатор, а тоже гнет из себя. Мог бы и благородием потитуловать, не обломился бы язык-то. Ладно, мы тебе сделаем намек, как обращаться приличествует.

— Присесть извольте, Владимир Сергеевич, милости прошу.

Бубнов маневр этот разгадал.

— Благодарствую,— отвечал он.— Прикажете каждонедельно отмечаться?

— Батенька,— сказал Кожеловский,— помилуй бог, к чему таковы формальности, да в нашем городе и так любой человек на виду.

«Ах ты,— подумал он,— упеку, упеку я тебя, окаянного».

10

— «Перед нами стоит во всей своей силе неприятельская крепость, из которой осыпают нас тучи ядер и пуль, уносящие лучших борцов. Мы должны взять эту крепость, и мы возьмем ее, если все силы пробуждающегося пролетариата соединим со всеми силами русских революционеров в одну партию, к которой потянется все, что есть в России живого и честного. И только тогда исполнится великое пророчество русского рабочего-революционера Петра Алексеева: «...подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!»

Как стихи прочитал. И в самом деле, похоже на стихотворение в прозе, стиль великолепный, подумал Владимир. Младший брат стоял раскрасневшийся, волосы набок сбились, он вообще увлекающийся юноша при всей-

то своей внешней сдержанности. Нам такой и нужен. Однако зелен, зелен еще, придется с ним повозиться.

— Правда, хорошо сказано? — спросил Андрей.

— Да,— ответил Владимир,— сказано сильно и красиво. Но знаешь, Андрейка, в одном, принципиальном, я с этой статьей не согласен. Уж не знаю, кто автор, может и сам Ульянов,— похоже на то,— но заблуждения присущи всякому. Я убежден: пролетариат российский не созрел до самостоятельных политических действий, крестьяне — тем более. Пойди на любую фабрику, попробуй произнести речь против «царя-батюшки». По шее могут накостылять. Гандурин виноват, Бурылин виноват, Гарелин виноват, управляющие виноваты, конторщики, мастера, подмастера, табельщики, а государя ты не тронь, ему, наместнику божию, за всем не углядеть... Не поймут премудростей наших. Жалованье прибавить, рабочий день уменьшить — это понятно. Штрафы отменить, мясо во щи — это все понятно. А политикой заниматься не станет рабочий, не дорос. Правда, есть, конечно, и среди рабочих начитанные, политически грамотные. Но ведь их мало. И они, оставаясь мастеровыми, в то же время уже интеллигенты — не происхождением, не положением, а по сути своей. Вот они станут опорой в революции... Основную же массу можно всколыхнуть, поднять лишь лозунгами, понятными ей, конкретными, житейскими, а не отвлеченными...

— Нет,— неожиданно резко возразил Андрей.— Ты не прав, Володя. Вот я сегодня был у Волковых. Хоронить будут завтра Ивана Архиповича, а сегодня полна изба народу, и, представь себе, не только о покойном говорили, не одних только фабрикантов ругали, которые рабочих губят, Ивана Архиповича до срока загнали в могилу. Нет, Володя, ты не прав...

Хибарушка наполнилась дымом, Владимир курил почти не переставая.

— Остаюсь при своем мнении,— сказал он.— Вот что. Завтра поедем в Шую.

— С чего бы вдруг?

— Надобно. Там узнаешь.

— Завтра не могу. Хоронить Ивана Архиповича...

— Тогда послезавтра.

— Экзамен.

— Ах, да. Закон божий! Веская причина. Ради такого случая отложим путешествие до пятницы...

11

Итак, революционер есть человек обреченный. Не имеет ни личных интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. В нем все поглощено единым исключительным интересом, единою мыслью, единой страстью — революцией. Он разрывает всякую связь со всеми законами, порядками и приличиями. Он враг образованного мира и живет в нем лишь для того, чтобы вернее этот мир разрушить. Революционер презирает и ненавидит нынешнее общественное мнение и общественную нравственность. Нравственно для него то, что способствует торжеству революции, безнравственно и преступно — мешающее. И снова, и снова: революционер — человек обреченный, беспощадный для государства и всего сословно-образованного общества и от них не ждет ни малейшей пощады. Война не на жизнь, а на смерть. Готовность выдержать любые пытки.

Суровый для себя — будь суров и для других. Все изнеживающие чувства — родство, любовь, благодарность, даже честь — задави в себе единою холодной страстью революционного дела. Одна нега, одно утешение, вознаграждение и удовлетворение — успех революции. Одна мысль, одна цель — беспощадное разрушение. Никакого романтизма, никакой чувствительности, восторженности,

увлечения. Только холодный расчет. Мера дружбы и привязанности определяется степенью полезности общему делу. Когда товарищ попал в беду, решая вопрос, спасать его или нет, никаких чувств, только трезвые соображения: выгодно для революции спасать арестованного, приговоренного или нет. Невыгодно,— значит, не спасай.

Террор. Все поганое общество должно быть раздроблено на категории. Кому — немедленная смерть, кому — некая отсрочка, притом отсрочка не из жалости к ним, а для того, чтобы они зверскими поступками довели народ до бунта. Высокопоставленных скотов или же личностей, не отличающихся ни умом, ни энергией, но пользующихся богатством, связями, влиянием, отнести к третьей категории. Их надо опутать, сбить с толку, и, овладев по возможности их грязными тайнами, сделать своими рабами. А дальше — еще категории. Государственные честолюбцы, либералы — скомпрометировать их донельзя, их руками мутить государство. И доктринеры, конспираторы, праздно глаголющие — толкать их, тянуть вперед, в практичные заявления,— большинство бесследно погибнет, а немногие придут к настоящей революционной деятельности.

И еще — женщины. Важная категория. Одни — пустые, обессмысленные, бездушные; этих можно включить в дело, как мужчин третьей и четвертой категорий. Другие — горячие, преданные, способные, но — не наши, приравнять их к мужчинам-доктринерам. Наконец, существуют женщины и вполне наши — драгоценнейшие сокровища...

Революция не по западному образцу, когда движение останавливалось перед собственностью, перед традициями общественных порядков, заменяло одну политическую форму другою. Нет! В корне уничтожить *всякую* государственность путем страшного, полного, повсеместного и беспощадного разрушения. Надо соединиться с диким

разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России...

Библиотекарским, полупечатным почерком Полины Марковны было это выписано в тетрадке с обложкою зеленого сафьяна. «Катехизис» Сергея Нечаева. Сколько страстности, какой фанатизм! И как... отвратительно, бесчеловечно!

Вторую ночь Андрей не спал. В голове полный сумбур. Газеты с описанием нечаевского процесса. Тетрадка Полины Марковны, «Искра», привезенная Владимиром. Рассуждения брата о пролетариях. Смерть Ивана Архиповича и разговоры у гроба. Предстоящая поездка в Шую, будет знакомство с Афанасьевым,— кто же он, толком Володя не объяснил. Зато сказал: «Ты — *революционер*». Значит, *обреченный*? Так получается, если верить Нечаеву. Смутно все...

12

Выехать следовало пораньше: и чтоб не заподозрил неладное папенька (ускользнуть, покуда не пробудился), и чтоб по возможности не попасть на глаза полицейским и филерам, и чтоб, наконец, вернуться вовремя, поскольку гласный надзор обязывал Владимира не отлучаться из города, не появляться после восьми пополудни в общественных местах, не принимать у себя гостей и так далее.

До малой малости запомнилась Андрею эта первая в его жизни *нелегальная* поездка.

И то, как, оба по-мальчишески радуясь, удрали незамеченными из дому; город еще не очнулся, вернее, почивали обыватели да именитые, фабрики же гнали ночную смену; на пустынных улицах повстречались только деревенские мужики да бабы, тянущиеся на базар; и в деревянном, затейливой резьбы, вокзале не попался

дежурный унтер,— подремывал, наверное, этот исправный служака после бессонной ночи.

И то, как точно успели, чтобы на перроне людям не мозолить глаза. «Максимка», самый что ни на есть дешевый поезд, стоял на пути под парами; очереди у кассы спозаранку не оказалось; кассир из окошечка глянул пристально, Андрей тревожно-радостно подумал: а что, если кассир — полицейский доносчик? Но служитель тотчас отвел взор.

И то, как на дощатом, усыпанном лузгою дебаркадере захотелось Андрею выкинуть какую-нибудь штуку, ну, допустим, встать на руки, пройтись таким вот манером несколько сажен. Ничего подобного, понятно, Андрей себе не позволил, но в зеленый обшарпанный вагон вскочил-таки озорно: ухватился за поручни, подтянулся, не касаясь ногами ступенек, перекинул тело на площадку; там кондуктор покачал головою неодобрительно — балуется барчук. Владимир поднялся неспешно, степенно, билеты были у него, кондуктор приложил пальцы к фуражке, приветствуя молодого, в чистой одежде, господина, щелкнул щипцами, просекая билетную карту, присовокупил: пожалуйста, дескать, ваше благородие, народу невелико, славно доехать изволите.

И запомнил Андрей полупустой вагон. Неловко приткнувшись к откидному квадратному столику, бородач в подпоясанном веревкою зипуне обмакивал фиолетовую луковку в соль на тряпице, вкусно хрустел, сильно, тепло пахло ржаным хлебом. Двое парнишек на лавке дулись в карты, возле них, в проходе, лежала продольная пила, обернутая мешковиной,— ясно, на заработок направились. Отворотясь к окошку, грудью кормила ребенка женщина фабричного облика. Дремал, привалившись к стенке, старичок-лесовичок в свежих, пахнущих лыком, незамаранных лаптях. И еще вскоре за Бубновыми, лихо поигрывая тросточкою, заявился молодой человек, ско-

рее всего конторщик — сюртучишко, воротничок, галстучек.

Андрею не сиделось на месте. Он было устроился рядом с братом, но тотчас перебрался напротив, поднял столик, снова опустил. Владимир поглядывал с усмешкой старшего.

Тронулись. В пыльном оконце возникали прилепленные друг к другу лачуги, трепыхалось на веревках убогое бельишко, безголосо верещали грязнобрюхие козы и так же безголосо кричали вдогон поезду оборванные ребятишки. Привычная картина эта успокоила Андрея. Он думал о скорой встрече с Афанасьевым, личность его со слов брата представлялась значительной, необычной.

Оно и в самом деле было так.

Родился Федор Афанасьевич в крестьянской семье за два года до отмены крепостного права, с малых лет гнул спину на помещика, а когда ему минуло двенадцать, пошел в люди, стал учеником ткача. Каторжный, четырнадцатичасовой рабочий день, голод, побои, измывательства. Но все-таки сумел научиться грамоте, примкнул к народникам, однако вскоре в них усомнился,— после убийства Александра II ничего не переменилось на Руси... Услышав, что в столице созданы рабочие кружки, где не о бомбометстве идут речи, а о том, как сообща бороться за то, чтобы свергнуть самодержавие, Афанасьев решил перебраться в Питер. Вошел в группу, организованную студентом-технологом Михаилом Ивановичем Бруснёвым, а затем и сам, по его совету, создал кружок. Участие в демонстрации на похоронах известного революционного демократа, публициста Николая Васильевича Шелгунова — Афанасьев нес венок от рабочих,— выступление на первой маевке в 1891 году, первый арест, высылка под надзор, побег и нелегальная жизнь в Петербурге, где он

посещает немногочисленный, тайный кружок рабочих Невской заставы, руководимый Ульяновым, новый арест и годичная отсидка в «Крестах», снова нелегальная жизнь, высылки, скитания. И наконец, в 1897 году — Иваново-Вознесенск, устроился на фабрику Бурылина. Через некоторое время Бурылин по требованию полиции представил отзыв, в котором писал, что Афанасьев был «одним из самых старательных рабочих. Он всегда относился к работе за станком серьезно, со вниманием. Редкостный рабочий, всегда трезвый и аккуратный». Через конторщиков отзыв этот стал хорошо известен друзьям Федора, они посмеивались: знать бы фабриканту, сколь старателен восхваляемый им ткач в делах революционных! И здесь кружок, организатором его был Семен Балашов, а сам Афанасьев вел занятия. И опять преследования, опять скитания, надзор, угроза ареста... В конце 1900 года судьба снова свела Афанасьева и Балашова в уездном городе Шуе...

— Господа, прибываем на станцию Шуя, благоволите приготовиться к высадке.— Кондуктор был немолод, вышколен — не иначе прежде служил в классных вагонах, а теперь, до пенсиона, обретается здесь, в задрипанном «максимке». — Остановка двадцать минут, к услугам господ пассажиров буфет с продажею горячительных напитков.

— Дельно,— похвалил бородач, тот, что вкусно хрустел фиолетовым луком.

А кто-то весело удивился:

— Глянь, господами нас величают!

...Бубновы не придали никакого значения тому, что следом за ними вышел тот, франтоватый, похожий на конторщика. Владимир в конспирации не был силен, Андрей же вообще о ней не задумывался, его переполняло предвкушение чего-то важного, радостного...

Город показался Андрею невелик, но по сравнению с Иваново-Вознесенском благоустроен. Издалека виднелась колокольня, водруженная, сказал Владимир, в память о 1812 годе. Почти все улицы, какими шли, замощены, фонарные столбы понатыканы всюду, фасадами пригожи дома.

И Первая Нагорная собою хороша. Правда, без мостовой, но и не в рытвинах, заросла подорожником, ровным, как бы подстриженным. Дом Личаевой — узнали по голубенькой жестянке с именем владелицы — ладный, недавно покрашенный, с узорными наличниками.

Конечно, в прорези на калитке болталась деревянная ручка, и, едва за нее дернул Владимир, со двора, как и следовало ожидать, забухал старательный, серьезный лай. Видно, придется долго ждать, а после испуганный женский голос примется выспрашивать, кто, да к кому, да за какою надобностью. Придумали заранее: к Федору Афанасьевичу племянник из Питера со своим товарищем. А если Афанасьев окажется на смене, то узнать, когда возвратится.

Но калитка отворилась неожиданно быстро — шагов не услыхали, расспросов не последовало. Поблескивая залысинами над высоким лбом, распояской, босой, предстал перед ними коренастый усач.

— Зачем пожаловали, господа хорошие? — спросил он, хмурясь.

— Странник! Не узнаешь разве? — спросил Владимир в растерянности, посунулся было вперед, но коренастый едва заметно подмигнул на растворенное в доме окошко, дернул хохлацким усом, громко ответил:

— Не похожи вы на странников, господа.

Если Семен Балашов посчитал нужным Владимира не признавать, надлежало подхватить игру.

— Странствуем, странствуем. Из Питера, надумали родственников проведать, вот к дядюшке, Федору Афанасьевичу.

— Проходите, коли так,— неласково отозвался Балашов и, мягко шлепая босыми ногами по чисто вымытой, как в горнице, тесовой дорожке, двинулся вперед. Андрей так и не понял, кто этот человек и что за разговор о странниках.

Тесовая дорожка вела, понятно, к высокому, с точеными балясинами крыльцу, но хозяин — или кто? — туда не пошел, а свернул за угол и здесь остановился.

— Ну здорово, Техник,— сказал он, Андрей с удивлением услышал такое обращение к брату, сообразил: наверное, потому, что учится в Технологическом институте. — Давай поручкаемся, давненько не виделись. А конспиратор из тебя хреновский. И принесло тебя середь белого дня, и сразу — «Странник». Не видишь, окошко расхлебянено, ты откуда знаешь, кто там есть?

— Ладно, ладно, сразу ворчать... Виноват, ваше благородие.— Владимир явно смутился.— Лучше познакомься, это мой брат, Андрей. А это — Семен Иванович Балашов, Странник.

Рука у Балашова оказалась, как у большинства потомственных ткачей, узкая, длиннопалая, в сухой коже. Все исподлобья — видно, манера привычная — оглядел Андрея, спросил:

— Тоже студент?

— Нет, в реалке,— сказал Андрей и уж в который раз в эти дни почувствовал себя польщенным: наверное, совсем взрослым выглядит.

— Так,— припечатал Балашов.— Из кружка, поди?

И, не дожидаясь ответа,— он был и медвежевато-неуклюж, и как-то странно, искусственно взвинчен, порывист — сказал:

— Идемте к Отцу. Он в баньке расположился, там повольготнее.

Банька — недавно сложенная, от сосновых бревен еще густо и сладко тянуло смолой.

В предбаннике висели пучки прошлогодней полыни, шуршала под ногами прочная, не тронутая гнильцою, солома. Дверь в мыльную открыта. Едва переступили порожек, Афанасьев поднялся навстречу.

Вот он какой, Отец: худой, сутулый, борода во всю грудь, круглые, в железной оправе, очки, острый нос. Он показался Андрею очень старым (Афанасьеву шел всего сорок третий год), и впечатление это усилилось, когда Отец заговорил,— голос глуховатый, надтреснутый, как бы подпорченный.

— Здравствуй, здравствуй, Володя, — говорил Афанасьев быстро. Андрей отметил, что беглая его речь не похожа на здешнюю, владимирскую, с приокиваньем, с некой тягучестью,— Отец говорил глуховато, даже не очень внятно, однако мелковатой россыпью, по-питерски, родом он был из-под Ямбурга, чего Андрей, конечно, знать не мог.— Давно ли объявился, Володя? В «Крестах», слышно, побывал?

— Да нет, бог миловал,— Владимир рассмеялся.— Предварилкою обошлось. И выдворен под гласный надзор.

— С чем и поздравляю,— Отец тоже улыбнулся.— Пекутся о тебе голубые мундиры.

— Это уж так,— в тон отвечал Владимир.—С их благородиями Кожеловским и Шлегелем на другой день по прибытии общался, рукопожатия удостоен — из почтения к папеньке моему.

Разговор этот продолжался у порога, Андрей порог не переступил, оставался в предбаннике, и, видя, что брат о нем забыл, Афанасьев, кажется, вообще его не заметил, а Балашов куда-то исчез, Андрей почувствовал, как вспотели у него ладони, дернулось левое плечо,— верный признак близкой неразумной и безудержной вспышки; он знал за собою подверженность таким приступам чуть ли не бешенства и, не желая сейчас поддаться мимолетной

и, быть может, неправедной обиде, круто развернулся и выскочил наружу.

— Кипятком ошпарился, что ль? — сердито спросил чуть не сбитый с ног Балашов.— Этак и меня обварить недолго.

Вытянутыми вперед руками он держал медный, еще булькающий самовар. Ничего не оставалось, как молча повернуться, идти назад.

— Хозяюшка дивуется,— приговаривал Балашов, собирая «трапезу».— Мол, не парились, а чай в баньке пьете. Однако даже варенья выделила от щедрот своих. Вишневого, без косточек. Тобой не нахвалится: и степенный, и непьющий, и читает все время — Библию, Библию читает, праведной души человек. В общем, ты не просто у нас Отец, а отец святой...

Хорошо пахло смолою, березовым листом, полынью, каленым кирпичом. Сидели на приступочке полка́. Самовар приборматывал, никак не мог успокоиться.

— Положение в организации трудное, Володя,— рассказывал Афанасьев.— Вот Странник только из Царицына вернулся, год там отбыл под надзором, в Иванове показываться ему пока что нельзя, жена и та не видела его (Балашов кивнул молча). Недавно Ольга Варенцова ссыльный срок отбыла, тоже сюда ей — ни-ни, обретается в Ярославле нелегально. Покамест всеми нашими делами в Иванове заправляет Глафира Окулова. Комитет ей удалось восстановить, но единства там нет. Наши земляки Евдокимов, Кондратьев да Махов из Харькова писульки шлют, в «экономисты» нас тянут, и кое-кто поддается, даже Евлампий Дунаев, и тот... Леванид Кулдин нос выше головы задрал: я-де вместе с Федором Кондратьевым здешний «Рабочий союз» начинал, я да я, мне «Искра» не указ, политикой пускай интеллигенция занимается, а рабочему первая забота — хлебушек насущный. Мол, до массовой агитации мы не дозрели, у нас нет

сильного ядра. А откуда этому ядру быть, ежели как в басне дедушки Крылова про лебедя, рака да щуку...

Свернул цигарку, закашлялся.

— Не курить бы вам, Отец,— сказал Владимир.

— Пустое. С малолетства дымлю, теперь уж не отстану... Ну вот. Единственно, чего добились толком за всю зиму,— на бакулинской фабрике в январе забастовку сыграли. Условия там были подходящие: Бакулин расценки снизил, получку задерживал, штрафовал нещадно. Фабричный инспектор у него, Капица,— холуй из холуев. В общем, наши ребята постарались там. Не скажу, чтобы сильно удалось, но кое в чем пришлось господину Бакулину идти на попятный.

Андрей сидел в углу, старался держаться неприметно: может, про него забыли опять, если Отец так откровенно говорит. Вдруг спохватится, велит: выйди-ка, сынок, погуляй, молод еще, не дорос наши разговоры слушать. Андрей старался казаться меньше ростом, не кашлянуть и не протянул чашку вторично, когда Балашов наливал всем. Однако сбылись опасенья — Афанасьев повернулся к Андрею:

— А ты, сынок — (вот сейчас выпроводит),— ты на ус мотай. Ежели тебя нам твой брат рекомендовал, мы тебе доверяемся. Ты еще у полиции не на примете, может, придется и тебе скоро в настоящее дело вступать. Мы, глядишь, на волоске висим, новые люди нам ох как надобны.

— Это ладно,— сказал молчавший до того Балашов.— Побунтовались у Бакулина, верно. Так ведь у одного Бакулина. Остальные пищат, да терпят. Первое мая, братцы, на носу, вот когда самое время листовки подбросить да на всех бы фабриках разом народ взбулгачить.

— Надо бы, оно так,— согласился Афанасьев.— Ан ведь и жандармы да полиция тоже не дураки, хлеб даром

не едят, и они к празднику нашему готовятся. С Глафирой Окуловой я недавно тайком, в лесочке, повидался. Говорит, прохаживаются у нее под окошком некие известного сорта людишки. Как бы не пришлось Глафире улепетывать загодя. Человек она ценный, ей проваливаться ни к чему... Да, еще к нам Бабушкин наведывался, Иван Васильевич, знаешь, чай, такого по Питеру?

— Не довелось как-то,— сказал Владимир.

— А ты в Питер-батюшку в каком году поехал учиться-то?

— В девяносто седьмом.

— Тогда понятно. Его чуть ране в Екатеринослав отправили «голубые». Только из-под надзора освободили там, принялся по Центральной России колесить как агент «Искры». Рассказал, между прочим: есть ему от Ульянова задание выйти в газете со статьею против Дадонова, понял?

Владимир сконфузился, Андрею стало жаль брата.

— Господин Дадонов прошлый год, декабрем, в журнале «Русское богатство» фельетон тиснул, заглавие «Русский Манчестер»,— как по написанному, видно, что не впервой, втолковывал Странник.

— Я в эту пору под арестом состоял,— пояснил Владимир, оправдываясь.

— Погоди, не перебивай,— ни с того ни с сего огрызнулся Балашов.— И в оном, как говорится, клеветоне слезу пустил, нас, ивановских ткачей, жалеючи.

— Пожалел волк кобылу,— вставил Афанасьев: он крутил опять цигарку, отказавшись от Володиной папиросы.

— Они, мол, разнесчастненькие, в нищете духовной закоспели, весь интерес — мяска бы во щи да водочки штоф.

— Приблизительно верно излагаешь, Семен,— одобрил Афанасьев.— Слова иные, а суть такова.

— Еще бы его словесами паскудными заговорить.— Балашов, приметил Андрей, был мужик с норовом, самолюбив.— Значит, мы Иван-то Василичу все порассказали: про книжную торговлю, про марксистский кружок, про то, как мастеровые петицию составляли, чтобы в гарелинскую читальню доступ нам имелся. Бабушкин сам рабочий человек, ему лишку объяснять без надобности. Сулил быстренько в «Искру» отписать. Да ты про «Искру» хоть знаешь? Или тоже, сидючи за решеткой, прозевал?— не удержался, подколол Балашов.

Тут Андрей не вытерпел за брата, едва не рывком достал мелко сложенный газетный лист, протянул напоказ.

— Ишь прыток, — сказал Афанасьев. — Зря такие штуки не держи, неровен час.

Вот как обернулось: хотел Володю защитить, себя отчасти показать, а вышло...

— Теперь вот что слушайте,— сказал Афанасьев...

13

Давно стемнело, но Шлегель не покидал служебного кабинета.

Еще сравнительно молодой — в январе исполнилось тридцать шесть,— он с давних пор испытывал потребность, свойственную обыкновенно людям пожилым: провести несколько вечерних часов в одиночестве, и предпочтительнее не дома, где могут в любой момент войти, перебить покойное течение мыслей. Здесь же, в жандармском управлении, сейчас пусто и тихо, лишь, отделенный еще одною комнатой, мается от безделья дежурный унтер. Барышня на телефонной станции знает, что господин ротмистр у себя, но без крайней надобности не обеспокоит, позовет к аппарату сперва дежурного.

Кабинет обставлен — усердием самого Эмиля Людвиговича — никак не казенно. Пришлось не раз в губернии

угощать кого следовало, средства наконец ассигновали. Теперь у него дубовый, с бронзовыми украшениями, письменный стол и под стать шкаф для книг, не для конторских папок, а именно для книг — вся канцелярская премудрость хранится в других помещениях. Кожей обтянутые диван и кресла. Ковер не такой, правда, как желалось бы, но пристойный. И тяжелые, непросвечивающие портьеры. Все располагает и к трудам, и к отдыху и внушает почтение сторонним своей солидностью.

Эмиль Людвигович зажег свечи в тройном серебряном канделябре, погасил электрические лампы — ими тоже тешился, поскольку в Иваново-Вознесенске они пока наперечет. От свечки — так почему-то вкуснее — закурил душистую сигаретку. Раскрыл дверцу шкафа, прижмурился, загадывая: а ну, что выпадет? Выпало приятное: томик сочинений графа Алексея Константиновича Толстого. Ну-с, продолжим игру, снова наугад. Ишь забавное попалось, как же, помню чуть не наизусть:

Сидит под балдахином
Китаец Цу-Кин-Цын
И молвит мандаринам:
«Я главный мандарин!
Велел владыко края
Мне ваш спросить совет:
Зачем у нас в Китае
Досель порядка нет?»
Китайцы все присели,
Задами потрясли,
Гласят: «Затем доселе
Порядка нет в земли,
Что мы ведь очень млады,
Нам тысяч пять лишь лет;
Затем у нас нет складу,
Затем порядку нет!»

Остер был граф на язычок и смелости не лишен: дураку ясно, про что побасеночка. Да и словца-то сугубо российские, даже славянские: владыко, досель, гласят,

в земли, млады... Куда уж как по-китайски. И написано, заметим, не в самые либеральные времена. Не побоялся: титулом заслонен. Однако это еще как сказать, заслонен ли. Средь осужденных декабристов и князья были. На Руси титулы да чины еще никого не спасали от тюрьмы, от каторги, от петли. Государь — помазанник божий, а перед богом все равны... Особенно в этой варварской стране.

Родившись, выросши в России, Шлегель никогда не забывал: в жилах его течет благороднейшая кровь германца. Еще в Михайловском воронежском кадетском корпусе он вожделенно, до сладострастия, впивался в учебник Иловайского, в труды Ключевского и Соловьева, заглядывал и в старинные томы «Истории» всеподданнейшего Карамзина и выписывал, выписывал в тетрадки запечатленные на скрижалях российских столь родные ему, потомку баронов Шлегелей, немецкие имена.

Не будь немцев, по сей день только что не в звериных шкурах оставалась бы Русь, нищая, темная, пьяная, сермяжная. Все лучшее, что есть в ней, привнесли, со времен Петра Великого, мы, германцы, — рассуждал Шлегель и теперь, покуривая в своем благолепном кабинете.

Одна свеча оплыла, снял нагар старинными, бронза с платиною, щипцами. Красивые вещи он любил. Но воистину красивой жизни пока что не получалось.

Карьера его складывалась отнюдь не блестяще. После кадетского — в Павловское военное училище, выпущен по первому разряду, однако не в гвардию определен был, как предполагал, а в пехотный Бутырский полк. Через три года произведен в поручики, на том и застрял — десять лет в одном чине. И как знать, до сей поры мог бы тянуть постылую лямку, не будь осенен благою мыслью подать по команде рапорт о зачислении в Отдельный корпус жандармов. Что из того, что почти все однокашники

перестали руку подавать, что из того, что офицерские собрания жандармам большинство начальников военных округов запретили посещать, презирая «голубые мундиры». Что из того... Не прогадал в главном: сразу сделался штаб-ротмистром, год миновал — ротмистром, переведен в Иваново-Вознесенск. Не столица, конечно, но хоть по штату город и безуездный, а размерами и значением изряден, и по должности числится Шлегель помощником начальника Владимирского губернского жандармского управления. Жалованье вполне пристойное. А главное, тут есть на чем себя показать, в этом «Русском Манчестере», населенном, как выражаются социал-демократы, *пролетариями.* Гм, гм. Пролетарии...

«...Немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ». Прав поручик Лермонтов. Так было, так и есть. Вечные и навечные рабы. Читал где-то выразительную историю. На коронационном шествии государя императора Александра I мужичонко бросился под копыта царева коня. «Чего тебе?» — вопросил император. «А ничего... Надёжа-государь, наступи на меня!» Так-то вот. Они покорствуют власти, испытывая не униженность, не гнев, а чуть ли не восторг. И, помнится, кто-то из энциклопедистов сказал: рабы становятся бессильными, как только разбивают их цепи... Нет, кажется, философ выразился несколько иначе: бессильными или жестокими. Именно так. Бессильными или жестокими. Вот почему стране рабов, как никакой другой, столь надобна прочная, уверенная, ни с чем, кроме себя, не считающаяся власть. И только в четком, без градаций, разделении на господ и рабов, на белую и черную кость — основа незыблемости государственного строя России...

В кабинете объявился, постучавшись, новенький, сверх меры усердный унтер — харя исполнительная, тупая, выправка наиотличная — раб-сверхсрочник. Таращась бессмысленно, завопил:

— Ваше высокое благородие, извольте...

— Не извольте, а позвольте. И не ори,— оборвал Шлегель.— Ну?

— Дозвольте доложить, так что к вашему высокому благоро...

— Кто еще там? Зови,— велел Шлегель, превосходно зная, кто может явиться к нему под покровом темноты.

Вмазался филер Кокоулин.

Он, видно по всему, готов был бухнуться в ноги, облизать длань господина ротмистра, однако не бухнулся и не облизал, а, пользуясь тем, что время вроде бы и неслужебное, позволил себе нахально-льстивую улыбочку, запел:

— Ваше превосходит...

Не установлено было для особы восьмого, по табели о рангах, класса «превосходительное» титулование, следовало — «ваше высокоблагородие». Шлегель, холуйства не терпя, и этого обормота прервал на полуслове:

— Чего тебе?

Он знал, конечно, зачем объявился филер, амеба, слизняк без определенных занятий, продажная шкура, Василий — как его там? — Кокоулин.

— Позвольте доложить, — Кокоулин вытянулся по-солдатски, даже тросточку свою дурацкую приставил к бедру.— Так что состоящий под надзором студент Владимир Сергеев Бубнов вкупе с младшим братом Андреем сегодня посетили в Шуе известного смутьяна Афанасьева по кличке Отец и пробыли у него без малого три часа, опосля чего возвернулись чугункою домой.

Единым духом выпалил,— видно, затвердил в дороге. Выпалил и замер — истукан истуканом, баранья башка.

— Хорошо, ступай,— велел ротмистр, отлично понимая, что филер так не уйдет; и в самом деле, полагается ему за труды праведные соответственная иудина мзда. Понимал Шлегель и то, что заскочил Кокоулин этот

к полицмейстеру и там успел отхватить «гонорарий». Однако Эмиль Людвигович не мог отказать себе в удовольствии поизмываться над продажной шкурой, он филеров терпеть не мог, хотя без их усердной подмоги как обойдешься...

Не посмев перечить, Кокоулин дрыгнул ногой, повернулся по-строевому (отслужил срок в государевом войске, животное!) и взялся было за дверную ручку (липкий след останется, велеть унтеру, чтобы тряпкою начисто протер); тогда господин ротмистр окликнул, словно бы припомнив:

— Эй ты, постой, поди сюда.

На кошачьих лапах Кокоулин приблизился не дыша — все равно воняло сивухою и чесноком. Принял за уголок рублевую кредитку, отскочил на два шага и, забывши на радостях, что не с панельною девицей разговаривает, нежненько этак пролепетал:

— Мерси!

— Что-о? — лениво и грозно протянул господин ротмистр, тот мигом опомнился, гаркнул:

— Премного благодарны, ваше превосходительство!

— Пшел вон, — приказал Шлегель.

Значит, опять за свое принялся Владимир Бубнов, урок не впрок, подумал он, почти сожалеючи. Этот молодой человек нравился ему. Доводилось встречаться и в летнем театре, и два-три раза на семейных пикниках в Рябинках, у речушки Молохты. Владимир Бубнов отличался веселой скромностью, открытостью, и, несмотря на разницу в летах — пожалуй, этак лет на двенадцать, — Эмиль Людвигович с удовольствием с ним беседовал. Жаль, вступил на пагубный путь, и, главное, путь бессмысленный. Да еще младшего брата за собою потянул, тоже вполне симпатичный юноша... Кожеловский радрадехонек, разумеется, поскольку к Сергею Ефремовичу питает явную неприязнь. Легко представить, как сейчас

полицмейстер потирает ручки. Ну, аресты — это преимущественно его забота, хотя и жандармам приходится заниматься неприятным и грязным сим делом. Будь его, Шлегеля, воля, он жандармов освободил бы от подобной мелкости, производства арестов,— наше дело выявлять государственных преступников, а уж забирала бы их пускай полиция...

Напольные часы пробили десять. Пора, однако, домой.

14

Как условились прошлый раз, к Афанасьеву за листовками поехал Андрей: Владимиру не стоило рисковать.

Калитку отворил сам Отец — значит, дожидался, польщенно отметил Бубнов,— в той же косоворотке, перехваченной витым шнурком, дымил «козьей ножкой», то и дело прокашливался.

— Явился не запылился,— почему-то недовольно сказал Афанасьев.

Провел Андрея в горенку, сам вышел. Стены выбелены, пол недавно покрашен, из мебели деревянная кровать, стол, две табуретки. Библия на самом виду, Андрей на нее покосился, вспомнил сказанное тогда Балашовым.

Вернулся Отец с бумажным пакетом.

— Клади в баульчик. Там у тебя что?

— Пустой.

— Не годится. Погоди, придумаем. У хозяюшки спрошу чего-нибудь.

Принес ранних сморчков.

— Гостинец, мол, племяннику. Евдокия Ивановна и денег не взяла, добрая душа.

Пакет уложили на дно, завалили грибами.

— В поезд сядешь — баул на полку и в случае чего—



не признавай, не твое, забыл кто-то. Владимиру скажи, половину листовок пускай Глафире передаст, Окуловой, она сумеет пристроить. А другую часть Володя сам... Нет, ему нельзя, под надзором. Слышь, а у тебя дружков из фабричных не водится? Чтоб надежные?

— А как же,— Андрей обрадовался.— У нас в кружке Сеня Кокоулин, его отец у Бурылина работает. И Никита Волков, тоже фабричный. И еще...

— Хватит, этак ты весь Иваново-Вознесенск приплетешь. Надежных надо, понял?

— Эти надежные, Федор Афанасьевич,— заверил Андрей.

— Гляди не обмишурься. В первую голову брата подведешь. Ладно, езжай с богом, да будь пооглядчивей.

Листовку Владимир одобрил, а Глафиру Окулову — к ней пошел Андрей, чтобы и познакомиться и Володю обезопасить,— сочинение это явно не порадовало, даже не смогла скрыть. Как и все, она относилась к Афанасьеву с огромным уважением, но при этом понимала: недостаток образованности сказывается у Отца (читал много, но без определенной системы) и возраст, в общем, тоже. Он, кажется, не слишком разобрался в том, что после создания «Искры» (Окулова была ее агентом) рабочее движение вступило в качественно, принципиально новый этап, какого еще не знала российская социал-демократия, а в лице Ульянова она приобрела руководителя, непохожего на остальных.

Да, Отец ошибки «экономистов» признает, на словах осуждает, а сам продолжает действовать по старинке, уповает на кружки только, на пропагаторство, а пора, пора и нам здесь подниматься выше ступенью. Не колокольный перезвон, а набат — вот к чему пора призывать. Нынешним январем в брошюре, изданной «Искрой»,

Владимир Ильич (в предисловии, без подписи, но Глафира Ивановна по стилю определила автора) говорит, что сказка о том, будто русские рабочие не доросли еще до политической борьбы против всего политического строя России,— эта сказка решительно опровергается харьковской прошлогодней маевкой. А иваново-вознесенский пролетариат вряд ли уступит харьковскому по сознанию своему, думала Окулова.

То и дело вскидывая четкие, темные, соболиные, как в песнях поется, брови, слегка раздувая крупные ноздри,— луковка длинного носа не портила ее чистого, открытого лица — Окулова говорила это Андрею, правда, смягчала выражения насчет Афанасьева, поскольку Бубнов молод еще, только-только принимается за революционную работу, незачем перед ним подрывать авторитет старших (себя Глафира полагала опытной функционеркой, да так оно и было в ее двадцать три года) и не заслуживает Отец слишком резкой оценки, да. Но все-таки некое раздражение у Окуловой прорывалось, Андрей это видел.

— Печатали там, в Шуе, рисковали,— говорила она.— И ты рисковал, когда вез. А получается — понапрасну. Что ж. Мне и так, вероятно, придется отсюда лыжи вострить. Рискнем еще разок.

Аптек в городе три. Чтобы не вызвать подозрений, Андрей за глицерином сходил в каждую. А желатина продавалась в бакалейной лавке Растатурина, приказчик Андрея узнал, весело моргнул: понятно, к пасхе готовится Анна свет Николаевна.

Как изготовить смесь для гектографа, объяснила Окулова, но Андрей с присущей ему педантичностью еще раз проверил, прибегнув к постоянной палочке-выручалочке — энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Мастерить

Бубнов любил. В училище вот уже третий год верно служит им придуманный телескоп не телескоп, а хорошая подзорная труба. Самолично сконструировал простенький телеграф, перестукивался с Николкой из мезонина в избушку-хибарушку, покуда тому не наскучило. Возился с телеграфом долго, но удался на славу. А уж с гектографом справиться было не мудрено: одна часть желатины, столько же воды и две части глицерина. Старый противень, ржавый, нашелся в кладовке у маменьки.

Варили смесь втроем — с Никитой и Сенькой, за высоким забором сада торчало нескладное, почти разваленное сооружение — бывшая фабрика Бубновых. Из бросовых кирпичей сладили очажок, смесь воняла рыбой и видом смахивала на заливное. Прокламацию печатными буквами, крупно переписал Никита, у него был отличный почерк.

«Товарищи рабочие! Мировой пролетариат отмечает свой трудовой праздник — Первое мая. В этот день мы, социал-демократы, зовем вас, товарищи, едино стать на борьбу за священные свои права. Не за копейку драться надо, не только за отмену штрафов, не только за то, чтобы перестали над нами измываться фабриканты и наемные холуи. Конечно, добиться какого-то послабления можно, только разве дело в том? Пройдет немного времени, снова Бурылины, Гарелины, Калашниковы, Гандурины и прочие накинут тугую петлю, откажутся от уступок, как было уже не раз. А нам не мелких подачек надо, а надо, чтобы царя долой, и фабрикантов долой, самим надо становиться хозяевами и фабрик, и заводов, и всего Российского государства!»

Сочинив листовку, Глафира весьма радовалась, но следом за Отцом, только по-иному, ошибалась и она: рановато было звать к восстанию. Горячились они по молодости лет. Многие тогдашние революционеры не всегда

правильно оценивали обстановку — что поделаешь, возраст есть возраст...

Прокатали сотню оттисков, приходилось дважды смывать со слоя текст, наносить заново, иначе получалось неясно, «слепо».

— Значит, Никита — у себя, на фабрике, а ты, Семен, у Бурылина. Я — к Гарелину, меня там сторожа по-соседски пропускают,— говорил Андрей, по-мальчишески гордясь не только своим революционным поручением, но и тем, что сам теперь дает задания.

Семен — характером попроще — ничего не заметил, Никита же разгадал Андрея, как тот ликует, и Андрей это понял, малость сник. Но все-таки не удержался от наставления:

— Только поосторожней!

15

Усердствующего платного подонка принесло спозаранок. Ведь приказано раз и навсегда, чтобы не смел являться до сумерек! Но тот знал, что хоть выговор заслужил, однако грех победою перекроется. Лихо преподнес бумагу.

— Хм,— Шлегель наметанно пробежал, улавливая суть.— Где раздобыл?

— Так что у братца своего, Сеньки, виноват, Семена Кокоулина, под тюфяком нашарил, в гости к нпм забегал. Ровнехонько двадцать семь у него штук. Все никак не мог конфисковать, одну взял.

Ишь, мразь, «конфисковать» говорит, обучился. Родного брата продает, Иуда.

— На,— Шлегель кинул кредитку.— Как думаешь, от кого он получил?

— В точности не могу сказать, ваше высокоблагородие (ага, ввиду собственного успеха титул убавил!), однако есть такое вероятие — от Бубнова.

— Владимира?

— Никак нет, от меньшого, мой-то Сенька, виноват, Семен с ним давно дружбу водит.

— Ступай,— велел Шлегель.

Покурил, подумал. Написал несколько строк, вложил вместе с листовкой в пакет. Подумал еще. Андрея пока трогать ни к чему. Молод и в предосудительном не замечен. Может, и ввязался, но по глупости. А Владимир... Жаль, конечно. Приятный молодой человек. Впрочем, он, Шлегель, не собирается настаивать. Пускай решает Кожеловский.

У Бубновых пили чай.

В кои-то веки семья вся оказалась в сборе. Сергей Ефремович отмяк быстро — отходчив по натуре — и с Володенькой ласков сделался, и к невестке снисходителен. Отпраздновать бы сегодня, да пост — и не повеселиться, не побаловаться рюмашечкой, зато угощались хоть и не скоромной, да обильной и вкусной снедью. К столу позвали и челядь — няньку, горничную, стряпуху и, понятно, любимца своего, кучера Алешку, которому, правду сказать, вся эта благодать — тьфу, стаканчик бы.

А тем временем экипаж полицмейстера Кожеловского прокладывал злодейский путь на Первую Борисовскую. И коллежский асессор, отлично себе представлял, как обухом по голове ошарашит члена городской управы Бубнова. Еще издали он увидел во всех окошках свет: радость в дому, сынок приехал... Подпортим тебе светлый вечерок, Ефремыч.

Хозяин сам вышел на копытный стук,— думал, гости припожаловали, полицмейстеру, ясно, не взвеселился, однако пригласил в комнаты. Но Кожеловский шинель не скинул, твердо протопал в столовую и сразу провозгласил во всеуслышание:

— Именем государя императора арестованию подлежит Владимир Сергеев Бубнов!

Звякнула оброненная ложка, Ванюшка, самый младший, заревел, испугавшись грозного вида полицейского. Заплакала и Анна Николаевна.

— Не горюй, Тонечка,— сказал Владимир; он в лице не переменился.— Маменька, папенька, извините уж.

Попрощался с каждым, Андрею шепнул:

— Тотчас к Окуловой беги, немедля чтоб уезжала.

Обыска не делали: Кожеловский, не хуже филера Кокоулина, щегольнул словцом, пояснил, что арест превентивный.

— А вы куда изволите, молодой человек? — остановил он Андрея.

— На любовное свидание, господин полицейский надзиратель,— с нарочитой дерзостью понижая «фараона» в чине, ответил Андрей.

У Окуловой все оказалось к отъезду готовым: полиции она ждала в любую минуту. Провожать себя Андрею не позволила, он только сбегал за извозчиком.

Глава вторая

1

Памятная Андрею весна 1901 года, определившая навсегда его жизненный путь, событиями в городе оказалась весьма скудной. 1 Мая не удалось отметить, как предполагали, стачками и забастовками, даже листовки не удалось распространить — почти все перехватили полицейские и жандармы. Окулова уехала, Афанасьев и Балашов — на фабриках работали, однако до поры до времени открытой политической агитацией заниматься не могли, «фараоны» к ним присматривались. Леванид Кулдин по-

степенно стал отходить от активной деятельности. Словом, почти до самого конца лета в Иваново-Вознесенске господствовало некое затишье.

В августе Владимир — сидеть в тюрьме пришлось недолго, выпущен был за недостаточностью улик — исчез на несколько дней из дому. Папеньке и маменьке объяснил: надумали «холостяцкой бражкой» прокатиться на пароходе от Кинешмы до Нижнего. Что втолковал жене — известно было самой лишь Тоне. Но Андрею брат сказал истинную правду: путь держит в Кинешму, там состоится совещание всех организаций, входящих в «Северный рабочий союз».

— Кинешму по той причине избрали,— говорил Владимир,— что полиция там не шибко свирепствует, эсдеков нет в уезде, вот и блаженствуют стражи порядка тамошние. Но, чем дьявол не шутит, могут и очнуться. Если к субботе не вернусь — иди к Екатерине Васильевне Иовлевой, знаешь такую?

— По кличке Баба Мокра, — подтвердил Андрей.— Она у нас в кружке выступала.

— Вот-вот. У нее конспиративная квартира. Подпольные связи держим через нее. Она знает, как передать сообщение в Москву и Питер. Дело предстоит серьезное, я имею в виду совещание, и, в случае провала... Ну, будем надеяться на лучшее. Как говорится, бог не выдаст — свинья не съест...

2

Купаться ходили на Талку.

В отличие от провонявшей, мерзкой Уводи, речушка Талка кое-где еще сохраняла первозданный вид. Выше по течению, за фабрикой, она узенькая, зеленоватая, как и всюду, небыстрая, обнесенная с правой стороны крутым, с левой — пологим бережками. На Талке — и пло-

ские, прогретые заводи, и плесы с песчаными окружьями, и даже, словно на большой реке, темные, тугие на вид бочаги, в них-то и любил нырять Андрей.

Ныряльщиком он слыл отменным, это признавал даже Сенька Кокоулин, а он страх как не любил, когда его в чем-то превосходили. Барышни — Нина Куваева, Оля Гарелина и София Шлегель,— распустив кружевные зонтики, поглядывали со взгорка издали, как Андрей разбегался по хлипким, гулко стонущим мосткам, втыкался головою в неспешную воду. Пофырчав, поплескавшись, похватав за ноги увальня Волкова, он вылезал на бережок, отжимал обеими руками густые, закинутые назад светло-русые, от влаги потемневшие волосы, ложился на спину, принимался декламировать стихи. Знал их Андрей превеликое множество, а Никита и Сенька готовы были слушать хоть до вечера, особенно всем троим нравился Некрасов и еще Тютчев.

Но в последнее время отношения меж друзьями сделались какими-то напряженными. Сперва — после похорон отца — стал угрюмым и неразговорчивым Никита Волков, потом, как бы глядя на него, присмирел и бойкий Сенька. Все чаще они уходили вдвоем, оставив Андрея на берегу или опередив по дороге. Сколько ни пытался Андрей выяснить, что, собственно, случилось, оба отмалчивались или переводили разговор на пустяки.

Вот и сегодня...

— Лениво дышит полдень мглистый,
Лениво катится река,
И в тверди пламенной и чистой
Лениво тают облака,—

проговорил Андрей, наступила пауза, и, чтобы как-то снять напряженность, Андрей сказал первое пришедшее на ум:

— Удивительно жить на свете, право! Вот и солныш-

ко, и вода, и земля пахнет... Чем она пахнет? Землей, наверное...

Он и внимания не обратил, как Никита и Сенька переглянулись, одинаково покривились,— ничего не заметил, покуда Волков не сказал придавленно:

— Землей она, слышь, пахнет... Ты бы на фабричном дворе обнюхал, чем она воняет.

— Андрей Сергеич воспитания нежного, им та вонь вовсе ни к чему,— подхватил Сенька.

— Да вы что, белены объелись? — Андрей даже подскочил, облепленный песком.

— Белены не белены,— сказал Никита,— а разговору этому рано иль поздно, а быть. Ты, Андрей, неплохой парень, это понятно. И читал побольше нашего, и от брата, наверное, много слыхал. Только вот какая получается закавыка. Ты говоришь — неправильно, дескать, если рабочие будут бороться только за то, чтобы свою жизнь улучшить, от фабрикантов уступок добиться. Вот и листовку мы печатали, не стал я тебе тогда возражать, а я с ней не согласен. В нашей бы шкуре посидели, похлебали пустых щей. Поди, каждый день мясо трескаешь, кашу с топленым маслом, пироги всякие-разные. Вам, господам, хорошо талдычить: революция, революция, долой самодержавие... А мастеровому бы синичку в руки, не журавля в небе. Уж там царь или не царь, Бурылин не Бурылин — зарабатывать бы дали, пожрать бы вволю. А про всякие государственные перевороты — это вы толкуйте, господа...

— Да какой я господин, опомнись, Никита!

— А то нет? — вступил Сенька.— Папаша твой с кучером раскатывает, серебряная цепь на пузе. Два дома у вас, и холуев сколько в горницах? Пятеро, поди? Чего молчишь?

— Холуев у нас нет,— сказал Андрей неуверенно.— У нас... кучер, да. И нянька старая. Горничная, кухарка...

— Во-во! — Сенька обрадовался.— Четверо, значит?

— Так ведь у нас семья-то какая,— совсем жалко — сам понимал, что жалко,— принялся оправдываться Андрей.

— Гляди, семья у них! — Никита притворно захохотал.— А у рабочих не семьи, что ли? И матери с ребятней не сидят, на фабриках спины гнут. А, да с тобой толковать... Сытый голодного не разумеет.

Выпалив это, Никита достал кисет, подумал, протянул сперва Андрею — не хотел, видно, полного разрыва. Андрей понял, закурил «трубку мира», хотя к табаку питал отвращение. Над Талкою возвышались облака, вода казалась зеленоватой. Таловые кусты — не от них ли название речки? — неслышно пригибались, окунали в струю сизые ветки.

Понемногу все трое успокоились.

— Зря нападаешь,— сказал Андрей.— Дети родителей себе не выбирают. Что прикажешь — из дому, что ли, уходить? Надо будет — уйду, а пока в том не вижу необходимости. Хотя бы реалку закончить надо. А что касается главного — кругом ты неправ. За копейку борьба — это и есть копеечная борьба. Хорошо, была стачка у Калашникова. Ну, добились кой-чего. Штрафы снизили, баню хозяин обещал выстроить. А на прочих фабриках и заводах как было, так и осталось. И еще поглядим, как на покров обернется дело.

— А как обернется? — вставил Сенька, он отличался непостоянством, переимчивостью, легко соглашался, легко подхватывал.— Как всегда, бумажонки вывесят: снижаются расценки, поскольку зима, день, мол, короче. Хошь — оставайся, хошь — на все четыре стороны. У ворот «запасных» из деревни полным-полно. А непокорных и сами хозяева запросто выпибут.

— Вот и получается, что я верно говорю,— сказал Бубнов.— Не за мелкие уступки драться надо — за глав-

ное. А пока не все рабочие грамотны и сознательны, пока они главного-то еще и не поняли, тут вот и нужны образованные пропагаторы из интеллигенции.

— Здесь, на бережку, тебе рассуждать нехитро,— Никита снова озлился.— А ты в казарму рабочую поди, там речи закатывай. Тебе в ответ и выложат: а ты, господин хороший, в отбелке газом не травился? В сушилке нагишом не парился? Прессовальщиков, которые крепкой водкой рельефы работают,— видал, как у них зубы вываливаются? Тухлую рыбу жевал?

Все это было несправедливо и обидно. Сколько лет сидели вместе в училище, последние два года занимались в марксистском кружке, и Никита, и Семен частенько заходили к Бубновым, ничем не выказывая ни зависти, ни презрения к «богачеству», и держались на равных, без скованности, маменька угощала чаем с пирогами, не делая никакого различия между рабочими пареньками и барышнями, что заглядывали в гости к дочерям. И Андрей бывал у Кокоулиных и Волковых, сперва испытывал неловкость при виде нищеты, это вскоре прошло, потому что и его там встречали радушно, как своего, не как «барчука». И читали они вместе почти «крамольные» книги, спорили в мезонине у Андрея и здесь, на Талке, но спорили как товарищи, как единоверцы,— почему же сейчас такая открытая враждебность? Андрей почувствовал себя растерянным, скомканным. И — смятенным: была, была в словах Никиты некая почти неощутимая, неоформленная правота.

Надо было что-то отвечать, Андрей сказал через силу:

— Я, конечно, пока в казармы не пойду, есть кто постарше, поопытней в делах житейских и революционных. Но вот прокламации мы пораскидали,— пускай их полиция частью перехватила, да что-то и осталось, кто-то да и прочитал. Была польза? Была. И то, что в кружке своем уму-разуму набираемся,— пригодится? Пригодится.

От прямого ответа на упреки он все-таки ушел. И Никита понял его уклончивость, отвернулся, принялся разгребать рукою песок. А Сенька, характером помягче, сказал:

— Хватит лаяться. Давайте скупнемся еще, да и по домам.

3

Совещание в Кинешме было созвано по инициативе Ольги Афанасьевны Варенцовой. Уроженка Иваново-Вознесенска, она в гимназические годы посещала народнический кружок, а затем, учась в Москве на высших женских курсах Герье, с 1893 года стала убежденной социал-демократкой. Находясь в Уфимской губернии, в ссылке, она познакомилась с Владимиром Ильичем Ульяновым и Надеждой Константиновной Крупской, стала агентом «Искры», поселилась в Ярославле и энергично взялась за создание «Северного рабочего союза». Чтобы оформить «Союз» организационно, определить его политическую платформу, Варенцова предложила провести совещание...

Осторожности ради иваново-вознесенцы сели в разные вагоны, и только в Горкине, уже Костромской губернии, собрались втроем: чернобровый, невысокий, ладный, в косоворотке и сапогах, Николай Панин, звали его подпольной кличкой Гаврила Петрович, худенькая, слабая здоровьем (сказались недавние восемь месяцев тюрьмы) Елизавета Володина и Владимир Бубнов.

В захолустной Кинешме их никто не знал, опасаться особенно не приходилось, но понимали, что всякий новый человек здесь, как и в любом малом городишке, мигом примечается. Притворились отдыхающей компанией. На постоялом дворе Лизу приютила в нумере Варенцова — еще накануне приехала. Вскоре явился из Мурома Ми-

хаил Багаев, тоже родом ивановский, с шестнадцати лет революционер. Последними приехали костромичи — Заварин и Миндовский.

Весело отужинали в трактире, и водочки выпили ради встречи да знакомства,— не все друг с другом прежде общались, костромские вообще поначалу держались стесненно, вскоре обвыкли.

С вечера запаслись провиантом, поднялись пораньше. На левый берег Волги доставил их паром. Сразу от воды начинался лес, еще не тронутый желтизною, хотя листья как бы припустали, сделались к осени грубей, а лес был приветлив, тих. Углубились в него версты на четыре — необходимость не заставляла, просто решили прогуляться, это Варенцова предложила, сколько-де можно отсиживаться по всяким лачугам, свету вольного не видим. Еще по дороге, без споров, уговорились о порядке дня: доклады с мест, отношение к «Искре», организационный вопрос ну и текущие дела, коли найдутся таковые.

Выбрали полянку. Трава после ночи не просохла, мужчины поснимали тужурки, расстелили, а Лизу Володину посадили на пенек — то и дело кашляла, но, чтоб не проявить по сему поводу неделикатности, сказали: быть председателем тебе, Елизавета Аркадьевна, вот и устраивайся на возвышенье.

«Доклады с мест» прошли быстро, положение повсюду оказалось примерно одинаковое. «Северный союз» к практической работе пока не приступал, несколько месяцев устанавливали связи с социал-демократическими организациями губерний, с «Искрой» и ее агентами. Все понимали: пора переходить к практическим действиям.

— Я в Уфе встречалась с Ульяновым,— говорила Варенцова.— Знали бы вы, какой человек! Энергии сгусток. Ум непостижимый! Ясность цели. Не так ли, Гаврила Петрович?

Панин лежал, покусывал травинку. Подумал.

— Мне-то с Владимиром Ильичем побольше приходилось общаться. Рядышком в Минусинске таежных комариков кормили. Довелось мне и на совещании семнадцати быть, составленный Ульяновым «Протест российских социал-демократов» против «Credo» мадам Кусковой подписывать. Ты Ульянова характеризуешь верно, Ольга Афанасьевна. Я бы еще сказал — не просто энергичный, но и с потенциальным зарядом. Человек сложный, импульсивный, в общении бывает иной раз труден. Перемена настроений чуть не моментальная, сверх меры, случается, резок.

— Не знаю, не знаю,— Варенцова покачала головой.— Мне таким не показался. Напротив: очень вежлив, деликатен, приветлив.

— Разве я спорю? — отвечал Панин.— Однако, мне с ним, говорю, приходилось побольше твоего встречаться. Он противоречив. Не во взглядах, тут он последователен до конца, но в поступках, в общении. Я не в укор говорю. Наверное, чем сложнее человеческая натура, тем она и противоречивее. И насчет деликатности — послушала бы, как он «деликатно» о Кусковой и «экономистах» высказывался! Если б среди нас там женщин не было, думаю, и похлеще бы выразился...

— Хорошо, мы как-то отвлеклись,— сказала Варенцова.— Я о другом начала. Так вот, Владимир Ильич был в Уфе. У Осипа Васильевича Аптекмана собрались политические ссыльные, местные функционеры. Тогда я впервые и услышала об идее создания общероссийской политической газеты. Все без долгих рассуждений Владимира Ильича поддержали. Никто не усомнился: только таким путем и сможем преодолеть разброд и шатания, создать истинную, не на бумаге, партию пролетариата. У Владимира Ильича невероятная сила убеждения...

— Под гипноз, что ли, попали? — спросил костромич Заварин. Лениво так спросил...

— Ирония твоя неуместна,— взорвалась Варенцова.— О деле говорю, о серьезнейшем, хиханьки-хаханьки оставь при себе...

— Успокойся, шуток не понимаешь,— сказал Заварин.

Солнце стало пригревать, передвинулись в тень, одна Лиза Володина осталась на своем пеньке. Время бы и позавтракать, но про еду не вспоминал никто.

— «Искра» родилась и делает великое дело,— продолжала Варенцова.— Владимир Ильич, как мне сообщили, весьма одобрил организацию «Северного союза», даже прозвище придумал для конспирации — «Семен Семенович». А Надежда Константиновна рекомендовала, чтобы к нам перебрался Николай Николаевич Панин, вот он, перед нами, наш Гаврила Петрович. В переписке с Бауманом, насколько я знаю, Надежда Константиновна очень интересуется, как у нас и что. Думаю, мы вправе сообщить: ядро у нас организовалось надежное. И предлагаю вынести резолюцию: признать политическую линию и организационный план «Искры» единственно верными, сообщить редакции о нашей безоговорочной поддержке.

— Да что разглагольствовать долго,— Панин, сидя на траве, поднял, голосуя, руку.— Для иваново-вознесенцев нет вопроса. Так, Лиза? Так, Владимир?

— Было б о чем спорить,— сказал Бубнов.— Давно обспорили-переспорили, правда, Лизок?

И тоже поднял руку.

Но костромичи возражали. Особенно упорствовал Заварин. Он вытащил спрятанную в потайном кармане «Искру», четвертый, майский номер со статьей «С чего начать?»; все знали, что ее написал Ульянов. Принялся было читать, его остановили: знаем, знаем. Ну а коли знаете, так подумайте, ощетинился Заварин. Основные силы революционеров сейчас в эмиграции, единства между ними нет, против «Искры» выступает «Рабочее Дело», и к этой газете прислушаться не грех, но и не в

том суть, а в другом: утверждение Ульянова, что газета есть не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но и коллективный организатор,— это пока только призыв, а не совершившийся факт, и непонятно, чего ради нужно выносить резолюции о поддержке «Искры», чем она важнее и существеннее «Рабочего Дела».

Чтобы газета стала организатором, возражала Варенцова, нужны общие усилия, в том числе и наши, если будем заниматься бесплодными разговорами, а не конкретными делами — кто их сделает за нас?

Однако Заварин стоял на своем, Миндовский поддакивал: покуда не прояснится обстановка в заграничных организациях, покуда там не произойдет объединение, нам от окончательного присоединения к «Искре» следует воздержаться. Долго спорили, костромичей не убедили, в конце концов Панин предложил: хватит словопрений, давайте решать голосованием, признаем «Искру» руководящим органом партии. Заварин взорвался: диктаторские замашки, насилие, с какой стати вы, пятеро, заставляете нас двоих себе повиноваться, у нас тоже головы на плечах, мы в принципе не против, только надо повременить. Наконец Ольга Афанасьевна сыскала компромиссный ход: в резолюции записали, что признают правильным политическую линию «Искры» и ее организационный план. О том, чтобы считать эту газету руководящим органом партии, в резолюции не упомянули. Костромичи поколебались и, наконец, с предложением Варенцовой согласились.

Без споров решили поручить ярославцам выработать проект устава «Северного союза», Варенцовой установить прочную связь с заграницей, во всех организациях приступить к налаживанию типографий, а пока их нет, листовки общие печатать в Ярославле, в других же случаях пользоваться гектографами. Утром разъехались по домам.

4

На совещании зашла речь и об Андрее: нужны новые активисты, а в Иваново-Вознесенске эсдеки наперечет, опытных и того меньше, и все — нелегалы.

А события назревали. В город пожаловал не кто иной, как сам господин министр внутренних дел и шеф жандармов Сипягин, особа весьма и весьма значительная, до недавнего времени главноуправляющий канцелярией его императорского величества. Жить Сипягину оставалось недолго: 2 апреля 1902 года двадцатилетний студент, член боевой организации эсеров Степан Балмашев у входа в здание Государственного совета выстрелит в министра из револьвера и через час его высокопревосходительство отправится в мир иной, а Балмашева после суда скорого, продолжавшегося, по точному подсчету, всего-то сто восемьдесят минут, повесят в Шлиссельбургской крепости. Разумеется, егермейстер свиты, а по-военному — генерал-лейтенант, Дмитрий Сергеевич Сипягин уготованной ему судьбы не знал и кнутобойствовал вовсю, и визит его в Иваново-Вознесенск не замедлил сказаться.

Что первого октября на фабриках и заводах снижаются расценки — это знали и прежде, и сколь бы ни ворчали, а смирялись,— нынче же владельцы, сговорившись и заполучив благословение министра, ударили особенно сильно: вместо десяти процентов, обычных, срезали расценки на одну треть.

К этому дню социал-демократы готовились заранее. К Андрею заявился какой-то мальчонка, горничная не хотела впускать в дом, Андрей услышал, спустился из мезонина в прихожую, мальчишка выпалил:

— Дяденька, ты Бубнов, да? Тебя Гаврила Петрович в гости зовет.

Ишь ты, дяденькой стал. И к самому Гавриле Петровичу, то есть к Николаю Николаевичу Панину, «в гости»...

Где живет Панин, было Андрею известно: у глухого старого чудака деда Аввакума в домишке за казачьими казармами, в овраге, заросшем кустарником. Днем туда, в глухомань овражную, заглянуть страшно, и жилья поблизости никакого нет, и дед глухой, при нем что хочешь говори, и на Аввакума твердо можно было положиться, поскольку лет двадцать назад единственную его дочку изнасиловал помощник мастера, она кинулась в Уводь, а полиция, дознание проведя, определила несчастный случай, и с тех пор старик люто ненавидел и фабрикантов, и прихвостней их, и полицию.

Покупать глицерин в городских аптеках не решились, Панин категорически возражал: на 1 Мая Андрей брал там глицерина слишком много, могли заподозрить. Андрей отправился в Кохму. Вернувшись под вечер, дома сказал, что пойдет к Гандуриным и там, у Леонида, возможно, и заночует,— и они с Паниным взялись за дело.

Противень из кровельного, в кустах найденного листа согнул ничему не удивляющийся дед Аввакум. А варить смесь Андрею казалось теперь штукой нехитрой, не то, что в первый раз. Опять пахло рыбой от желатины, сладковатым душком глицерина. Дед понять не мог, к чему эта кутерьма, пока не прокатали первые оттиски,— тут вот старик вытаращил глаза на такое диво.

«К рабочим фабрик и заводов Иваново-Вознесенска Товарищи!

Скоро наступит 1 октября. С первого октября вводятся новые расценки — более низкие...

Пора нам понять, товарищи, что в одиночку нам всего не добиться... Пора нам понять, товарищи, что враг наш не только хозяин, что за хозяина стоит громадная и беспощадная сила — правительство... Правительству выгодно, чтобы рабочие были забиты, жили, как скоты, чтобы они не могли понять, что им нужно только соединиться

и всем потребовать лучшей жизни, и тогда не устоят ни фабриканты, ни правительство. Наша сила в нашем единении...

Иваново-Вознесенский комитет Российской социал-демократической рабочей партии.

29 сентября 1901 года».

1 октября ранним утром Андрей отправился на фабрику Бурылина. Листовки распространили накануне и ждали, что у Бурылина волнения окажутся сильнее, чем на других фабриках: народ там подобрался более сознательный, грамотный — так желал просвещенный капиталист.

Ворота оказались открытыми, Андрея никто не остановил.

На дворе — толпа. Кричали отовсюду, слов не разобрать, кто-то влез на ящик, пытался говорить, но говорить не дали, никто не слушал никого. Наконец прорвалось отчетливо: «Стачку, стачку!» И тут на крыльце появился управляющий Арнаутов. При виде его смолкли все.

— Стачка? — спросил Арнаутов. Он поигрывал цепочкой от часов.— Что ж, братцы, давайте, давайте.

Он что-то сказал конторщику, и почти тотчас ворота — их перед тем успели запереть — растворились, и во двор хлынули деревенские, они оттесняли фабричных, иные падали на колени перед управляющим.

— Всех немедленно рассчитаю,— объявил Арнаутов.— Вон их, мужиков, сколько. Захочу — еще навербую, а вы катитесь на все четыре стороны.

Теперь фабричные принялись выталкивать мужиков за ворота, и через считанные минуты станки загудели, фабрика ожила.

Андрей помчался к Панину. Того и следовало ожидать, сказал Николай Николаевич. Безработных предостаточно,

деревня мается еще страшней, чем город, крестьяне согласятся и за полцены работать, лишь бы жалованье постоянное. Но духом падать не годится, попробуем еще...

Спешно заказали деду еще два противня, послали за Лизой Володиной, надо было поторапливаться, писать «в три руки». Насчет снижения расценок поручили составить прокламацию Андрею, Панин взялся за обращение к рабочим ситценабивных фабрик, а Лиза принялась за общеполитическую листовку:

«Товарищи! На вашу долю выпала великая историческая задача, и только развитый и организованный рабочий класс может освободить русскую землю от ярма беззакония и полицейского произвола. Все лучшие и мыслящие люди России возлагают на вас свои надежды и в вас видят единственное спасение своей Родины от злейшего внутреннего врага — самодержавия...»

Панин забеспокоился, не слишком ли «по-ученому», попроще бы, на что Лиза возразила: мол, времена лубочных народнических листков прошли, пора с рабочими разговаривать без скидок на их малограмотность, поднимать их сознание до нужного уровня, а не принижать себя до уровня отсталой части. Панину пришлось согласиться.

Очень Андрею не хотелось — после того разговора на Талке — обращаться за подмогой к Волкову и Кокоулину, однако без них не обойтись. Сенька примирению обрадовался, да и любил он всякую опасную игру: хоть с моста головой вниз нырнуть, хоть через костер сигануть, хоть прокламации разбросать — ему все едино, только бы лихость проявить. Никита согласился без особой охоты. Сам Андрей привычной дорожкой отправился на гарелинскую.

И едва не попался.

На проходной рядом со знакомым сторожем восседал городовой, — как и полагается, глыбистый, тупорылый,

исполненный важности. Объявил, что сторонних пускать не велено, кинул глаз на слегка оттопыренную Андрееву шинель (хорошо, что Володя надоумил на случай обыска для отвода глаз сунуть за пазуху книгу невинного содержания, листовки же упрятать в голенища, а брюки надеть навыпуск). Андрей книгу предъявил с готовностью, а сторож пояснил городовому, что барчук в приятелях, а то и в женихах у хозяйской дочки; почему-то довод возымел действие.

Прокламации Андрей прилепил в отхожих местах; казалось оскорбительным, да что поделаешь, туда зайти можно без подозрений, а холуи всякие в общие ретирады не заглядывали. Удалось и в трех цехах незаметно листовки подложить. Андрей остался доволен собою, и Панин похвалил.

Но забастовка так и не удалась. Кожеловский расставил повсюду верных своих держиморд и конных из казачьей сотни, расквартированной в городе. Шлегель призвал собственную явную и тайную рать и, получив шифрованный нагоняй от начальства из Владимира, сунул каждому филеру авансом по трешке, те ночи не спали, великомученики, и по их усердным доносам за сутки схватили человек около ста. Жизнь потекла обычным порядком. Только злости прибавилось в людях, но до поры ее затаили.

5

Как дружной и ранней случилась весна, так и морозы ударили до сроку. На казанскую, когда полагалось быть лишь первому зазимку, прочно залубенели Уводь и Талка, стала и Волга, сбылась поговорка: «ранняя зима и о казанской на санках катается»; по календарю это четвертого ноября. А уж о декабре и говорить нечего, сполна оправдал свое древнее прозвание — стужайло.

Шли своим чередом занятия в реальном, Андрей, всегдашний первый ученик, огорчал теперь наставников неприлежанием и, по их суждению, леностью. Сам возглавлявший училище действительный тайный советник Сыромятников, волею судеб единственный в городе носитель генеральского чина, изволил призвать Сергея Ефремовича на душеспасительную беседу, вспоминал и успехи Владимира, и самого Андрея, взывал к родительской настойчивости, напоминал о видном положении Бубнова-старшего... Папенька вернулся в ярости, через горничную был призван виновный, глава семейства кричал так, что стекла тоненько ему отзывались. Андрей же стоял молча — садиться не велено было, — набычил грешную голову, выждал, пока иссякнет отцовское красноречие, и сказал решительно:

— Папенька, вы на меня кричите в последний раз. Как учусь, так и учусь. Ежели вам не по нраву — могу вообще училище оставить и уйти из вашего дома.

Это походило на знаменитое «в Кострому уеду», но что позволено Анне Николаевне, то уж никак не допустимо тут. Родитель обомлел от неслыханного, невиданного — ни в какие ворота не лезет — супротивства, чуть ли не бунта, задышал подобно рыбе, хотел крикнуть «вон!», однако слова даже вымолвить не мог. Андрей, не спросив позволения, повернулся и отправился восвояси, и — то ли папеньке померещилось, то ли на самом деле — сын даже примурлыкивал на ходу какую-то песенку.

Мелкой дрожью тряслись руки, из графинчика плескалось. Редко Сергей Ефремович, праведный человек, позволял себе так вот, в одиночку, приложиться к стопке, а сегодня вынудил, вынудил-таки драгоценнейший сынок.

И опять (одна беда за другой): арестовали Владимира.

Вместо Кожеловского приехал почему-то начальник конно-полицейской стражи Колоколов, простецкий такой мужичонко, собою не грозен и невзрачен, глазенки уклончивые. Их упрятывая вбок, — получалось такое у него! — Колоколов стеснительно как-то пояснил: старое дело, видите, подняли, двухлетней давности, а, однако ж, срок наказания не миновал. Административная высылка, не столь уж и страшно, и семью, ежели господин Бубнов пожелает, не возбраняется взять с собою.

Очень это стыдливо Колоколов объяснял.

Деликатный он был, скромный, тихий.

В пятом году Колоколов мотал шашкой направо и налево, палил из револьвера.

Застенчивый он был, Колоколов, конфузливый очень.

Утром прибыла казенная карета — так именовалось, а на самом деле обыкновенный крестьянский возок. Тоня решила ехать с Володей. Только что отнятую от груди Лидочку оставляли на попечение бабушки с дедом — везти ребенка в дикую глухомань (таким представлялся неведомый Глазов) казалось чистым безумием.

Быть может, именно в ту ночь, когда брат собирался в ссылку, папеньку била нервная безудержная лихорадка, маменька с уксусной примочкой на лбу силком заставляла себя ходить по дому и помогать Володе с Тоней, когда и флегматик Николка ворочался с боку на бок, а сестры шептались меж собой и лишь малолетний Ванюшка да Лидочка мирно спали, — может быть, именно в эту глухую, долгую и суетливую ночь Андрей Бубнов осознал до конца, какой путь он себе выбирает — нет, уж выбрал — тернистый и гордый путь.

В доме на Первой Борисовской той ночью никто не ложился.

Зато сном праведным дрых Васька Кокоулин, тупо и тяжко хмельной.

Пил Васька хорошо, подробно, просыхать не успевал, такое уж ему выпало счастье — задарма, если прикинуть.

То, что выдавал он людей направо и налево, — даже собственного брата не пощадил — это Ваську нимало не тревожило: тем и жил, что продавал, а продавая, жил. В том и заключалось его существование, паскудное, как ливерная тухлая колбаса под названием «собачья радость».

В любые времена — и в те, о коих Васька по темноте своей и понятия не имел, во времена древнегреческие, древнеримские, половецкие, татарские, — водились этакие шкуры, как он, испокон веку числили себя верными слугами властей предержащих, бестрепетно принимали мзду и, совестью не давясь, на иудины монеты жрали, пили, обнимали дешевок, — а чего, собственно, им было желать еще.

Верный слуга престола и отечества, господина ротмистра Шлегеля покорный пес Кокоулин Васька дрых, сил набирался к завтрашнему дню.

6

В девятьсот втором, весною, Иваново-Вознесенскую организацию социал-демократов разгромили.

Сперва, еще зимой, провалился кружок в Кохме, прочный, хорошо налаженный. Выдал его, как впоследствии выяснилось, местный лавочник Черкасов, привлеченный в кружок самими эсдеками. Черкасов согласился, но тотчас повстречался со Шлегелем, сделался доброхотным агентом, и через несколько дней на конспиративную квартиру нагрянули полицейские чины и «голубые». Случайно уцелел один только рабочий-кружковец; он-то ночью, по

январскому снегу, по морозу, больной, пришел в Иваново и, не зная, где искать Варенцову, явился к Андрею, — тот раза три бывал в Кохме на занятиях. Вел себя этот кохминец с неожиданной догадливостью и осмотрительностью: по случаю позднего времени стучаться в калитку не стал, а перелез через ограду, высмотрел в окошке Андрея, кинул неувесистым снежком, Бубнов мигом смекнул, вышел во двор, обменялись короткими фразами. Не возвращаясь в дом, Андрей поспешил к Варенцовой.

Уже за полночь собрались вчетвером у Панина. Мнения разделились: Варенцова (она наезжала из Ярославля), годами всех старше и потому осторожнее, полагала, что в предвидении дальнейших арестов следует работу до времени свернуть, переждать опасность. Ольгу Афанасьевну поддержала тихая, болезненная Лиза Володина. Но двадцатипятилетний, склонный к горячности Панин возражал с резкостью и категоричностью, прямо стал обвинять Варенцову чуть ли не в трусости. Напротив, говорил Николай Николаевич, не по щелям расползаться, а ответить на аресты привлечением в организацию новых членов, активным распространением литературы и прокламаций — вот что необходимо. Андрей сперва помалкивал, прислушивался, не торопился высказаться. С одной стороны, Варенцова, конечно, пожилая и многоопытная, но ведь женщина, слабому полу и присущи слабости. О Лизе и говорить нечего, в чем душа держится, бледная, кашляет непрестанно, ей тюрьмы не выдержать. Панин, пожалуй, слишком кипятится, зря нападает на Ольгу Афанасьевну, но по сути, кажется, прав-таки он. Андрей поколебался еще и решительно стал на сторону Николая. «Что ж, — сказала Варенцова устало, — может, я и в самом деле старею и проявляю излишнюю робость, пускай будет по-вашему...» Андрей ощутил себя победителем, даже, прощаясь, с мужским покровительством тронул зябкое плечико Лизы.

Знать бы им, что в эти же часы перед оживленным удачею ротмистром Колоколовым давал откровенные показания руководитель кохомского кружка Иван Китаев. Вот уж кто действительно оказался трусом из трусов, его и допрашивать особо не пришлось: выбалтывал безудержно.

Здоровье Афанасьева пошатнулось. Андрей застал Отца в постели. Бледный, осунувшийся, он кашлял непрерывно и почти непрерывно курил, дым слабо вытягивало в печную вьюшку, форточки не было. Андрей сказал, что послан товарищами, поведал о событии в Кохме, о разногласиях на вчерашнем ночном совещании. Вопреки ожиданиям, «старик» — так его мысленно обозначал Бубнов — стал за них с Паниным, — Андрей-то думал, что поддержит Ольгу Афанасьевну. Однако Отец предупредил, посоветовал не лезть на рожон, а действовать осмотрительней. Андрей слушал уважительно, а думал о том, что на осторожности далеко не уедешь и Варенцова с Афанасьевым твердят об этом лишь по причине своего возраста, усталости, нездоровья... Андрея распирала несвойственная ему, почти беспечная удаль. Приехав к Отцу в Шую, на вокзале он так просто, из лихости, подошел к жандармскому унтеру, спросил, где тут почтовая контора, и еще покалякал о чем-то, каждосекундно помня, что в кармане у него несколько номеров «Искры» для Афанасьева. Потом, идя по улицам, Андрей устыдился мальчишества, и в то же время игра с опасностью ему нравилась.

И до упрятанного в овраге домишка деда Аввакума, где квартировал Панин, жандармы добрались. Это случилось 28 февраля. Решительность Николая Николаевича обернулась-таки непростительным легкомыслием: при обы-

ске изъяли слишком много улик: и программу «Северного союза», и устав местной организации, и только что оттиснутые листовки, и «Манифест Коммунистической партии», и четыре выпуска «Искры», и нелегальный паспорт, и письмо «крамольного» содержания (Колоколов определил почерк известной жандармам Варенцовой, но Панин, от прочего не отпираясь, — отпираться бессмысленно, не деду же Аввакуму нелегальщина принадлежит — от знакомства с Ольгой Варенцовой отрекся категорически).

В тот же день взяли в Иванове человек около пятидесяти. Варенцова успела вернуться в Ярославль, напоследок серьезно попеняв Андрею. Он и без того чувствовал себя виноватым, поскольку события подтвердили, что права-то была Ольга Афанасьевна, а не он с Паниным.

Ждал ареста и Андрей — вот-вот, с минуты на минуту. Пожалуй, он даже *хотел* этого ареста: казнил себя, что не послушал тогда Варенцову, испытывал угрызения совести от того, что многие товарищи оказались за решеткой, а он гуляет на воле, и еще, пожалуй, как это ни странно, арест словно официально бы подтвердил его причастность... Правда, умом он понимал, что мечтать о тюрьме не резон и здесь может принести хоть какую-то пользу, — впрочем, после разгрома организации никакой практической пользы ни он, ни кто-либо другой на его месте не мог принести. Удар по организации был нанесен сокрушительный. И — не последний. К следующему, весьма ловкому и крепкому удару приложил руку сам начальник Московского охранного отделения Зубатов.

7

Звезда Сергея Зубатова тогда восходила, пускай с некоторым опозданием, но зато неуклонно.

Прелюбопытнейшие личности встречались среди жандармов, Сергей Васильевич — в их числе.

Еще чуть ли не гимназистом он принимал активное участие в революционном движении, состоял в рабочем кружке города Шуи. Учился в Москве, там организовал нелегальную библиотеку, ею заведовала невеста Зубатова. Вокруг библиотеки собралось много прогрессивной молодежи. И образованный, и начитанный, и умный, Зубатов правильно расценил значение новой нарастающей силы — пролетариата. Он писал:

«Рабочий класс — коллектив такой мощности, каким в качестве боевого средства революционеры не располагали ни во времена декабристов, ни в период хождения в народ, ни в моменты массовых студенческих выступлений. Часто количественная его величина усугублялась в своем значении тем обстоятельством, что в его руках обреталась вся техника страны, а сам он, все более объединяемый самым процессом производства, опирался внизу на крестьянство, к сынам которого он принадлежал. Вверху же, нуждаясь в требуемых знаниях по специальностям, необходимо соприкасался с интеллигентным слоем населения. Будучи разъярен социалистической пропагандой и агитацией, направленной к уничтожению существующего государственного и общественного строя, коллектив этот мог бы казаться серьезной угрозой существующему строю».

Куда как неглуп.

Насколько искренними были его марксистские убеждения в юности — судить трудно. Что привело его на путь провокаторства — страх ли, заранее ли продуманная подлость или, так сказать, «идейное разочарование» — кто может установить теперь. Факт остается фактом: в конце 1884 или в начале 1885 года двадцатилетний Сергей Зубатов, участник освободительного движения, вместо ссыльного оказался чиновником телеграфного ведомства. Это уж не случайность: ссылку назначением в государственную должность не заменяли.

Вероятно, ему выдали своего рода аванс, и Сергей Васильевич Зубатов его отработал достаточно скоро: весной 1886 года выдал охранке народовольческую группу Соломона Пика и Софии Гуревич (обоих убили в Якутске через три года), а осенью — Фундаминского и Гоца. Затем подпольный иуда продал еще одну организацию народовольцев (Соломонов, Богораз, Данилов и другие).

Вскоре Зубатов из жандармского «подполья» вышел, стал помощником начальника Московского охранного отделения и сделался самым обычным агентом-провокатором, только более ловким и интеллигентным.

В общем, путь достаточно прямой, если только подобного рода кривизну можно определить как прямую линию.

Посидев тихо-мирно семь лет в помощниках у начальника охранки Бердяева и заняв наконец его место, Зубатов сделал не шаг, а прыжок. Обычная жандармская деятельность — слежка, аресты, допросы — это все чепуха — так, вероятно, решил поднаторевший, помудревший — ему скоро должно было исполниться сорок — Сергей Васильевич.

В начале 1902 года он подал московскому обер-полицмейстеру Трепову программную докладную записку.

Идея принадлежала Зубатову. В бумажную плоть ее облек годами старший Лев Александрович Тихомиров, тоже из народовольцев, тоже из отрекшихся, автор брошюры «Почему я перестал быть революционером», ярый впоследствии монархист. Кстати, журнальная деятельность Тихомирова была высочайше вознаграждена пожалованием серебряной чернильницы. Вот оно как. Не тридцать сребреников даже, а чернильница. Высочайше пожалованная...

В записке говорилось, что рабочий вопрос в Европе развился при таких обстоятельствах, которые его сплетали с идеями социализма. У западных мыслителей рабочие рассматриваются как орудие будущего социального

переворота. Дабы этого не случилось в России, Зубатов и Тихомиров развили обстоятельный план отвлечения рабочего движения от революции, превращения его в силу консервативную, в прочную опору царизма. Население фабрик и заводов, по утверждению авторов записки, самое беспокойное: всевозможные недоразумения, разгромы, стачки постоянно нарушают порядок на предприятиях. Умиротворение и трудно, и хлопотно. Поэтому в области экономической необходимо защитить интересы рабочих, а с другой стороны, и хозяев оградить от «бесчинств».

Была выдвинута обстоятельная программа реформистского профессионального движения, основанная на трудах Бернштейна, Веббов, Вигуру, Зомбарта, программа воспитания пролетариата в духе «православия, самодержавия, народности», в духе сохранения консервативного уклада недавних выходцев из деревни. Усилия Зубатова были направлены на изоляцию рабочих от революционно настроенной интеллигенции.

Словом, как писал Владимир Ильич Ленин, «обещание более или менее широких реформ, действительная готовность осуществить крохотную частичку обещанного и требование за это отказаться от борьбы политической, — вот в чем суть зубатовщины».

На первых порах Зубатов в своей затее преуспел, его организации распространились практически по всей Европейской части России. Своего рода апофеозом зубатовщины явилась манифестация 19 февраля 1902 года, когда сорок — пятьдесят тысяч (!) рабочих Москвы возложили венок к памятнику «царю-освободителю» Александру II.

Однако именно этот апофеоз и стал началом краха и самого Зубатова, и его политики. Цензурным циркуляром от 26 февраля правительство запретило газетам толковать манифестацию «как выражение пробуждающегося общественного сознания в трудящихся массах и офици-

альное признание у нас существования класса рабочих». Даже верноподданническая демонстрация казалась опасной. Даже само существование рабочего класса пытались признать недействительным. Даже «полицейский социализм» Зубатова встревожил власти.

Но записки записками, программы программами, а в основной, изначальной жандармской работою Зубатов, естественно, занимался, как и полагалось.

Излишней доверчивостью Варенцова сроду не отличалась, а многолетняя нелегальность еще усугубила прирожденную ее подозрительность, не всегда приятную даже для близких.

Сейчас все концы сходились с концами, все казалось чисто. Явился приезжий. Соблюдая правила конспирации, явился вечером. Хозяевам квартиры представился как сослуживец Ольги Афанасьевны по Воронежу (то, что была она в Воронеже нелегальной и сослуживцев не имела, хозяева, понятно, знать не могли). Войдя к Варенцовой (она слышала весь разговор в прихожей), тоже повел себя как надо: сказал пароль, начал расспрашивать — умело, без акцентации — про здоровье «Семена Семеновича», то есть «Северного союза», ответ, пока что уклончивый, осторожный, выслушал с нарочитой внимательностью, с родственными расспросами — в расчете на то, что хозяева могут подслушивать. Назвался он Иваном Алексеевичем, но едва заметно, не мимически, не интонацией даже, а как-то неуловимо, такое лишь профессиональный революционер умеет, намекнул, что сие — псевдоним. Варенцова подумала, что, если он и ей доподлинного имени открыть не волен, значит, фигура основательная.

Для перестраховки Ольга Афанасьевна главный разговор все-таки оттянула, вышла попросить самоварчик,

гостя в комнате оставила одного. Когда вернулась, книги на столе были нетронутыми, Иван Алексеевич как сидел, так и сидел покуривал.

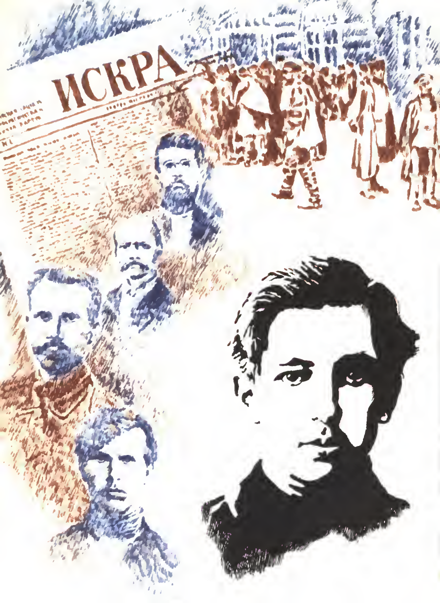
Он отличался обаянием, умел к себе расположить. Вручил свежий выпуск «Искры», признался, что является ее агентом, передал приветы от Надежды Константиновны, расспрашивал об Афанасьеве, о Папине, — ай-ай, неужели арестован, вот жаль Гаврилу Петровича! — о Глаше Окуловой. В общем, надо было или провокатора в нем заподозрить, либо довериться полностью. Варенцова доверилась.

Знать бы ей, что охранка перехватила письмо Крупской к Глебу Кржижановскому в Самару, сумела расшифровать, там был адрес явки и пароль воронежцев, их-то и сумел обвести вокруг пальца Иван Алексеевич, он же помощник Зубатова Леонид Петрович Меньщиков.

Варенцова, не зная еще, что на допросах Иван Китаев выдал чуть не всю Иваново-Вознесенскую организацию, предложила поехать туда. Иван Алексеевич ответил согласием, но попросил отсрочки: дескать, надо сперва побывать в Костроме и Владимире; где было догадаться, что в «русском Манчестере» жандармскому агенту сейчас делать было нечего. Ольга Афанасьевна сказала, что и ей во Владимир надо, только не сейчас, через неделю. Договорились там и встретиться.

И встретились. Там же оказался и Михаил Багаев. Что-то в поведении Ивана Алексеевича ему не понравилось, он поделился подозрением с Варенцовой, но было уже поздно: обоих в ту же ночь арестовали.

Что же касается Меньщикова, то его дальнейшая судьба причудлива и неожиданна. В 1905 году по доброй воле он — правда, анонимно — сообщил ЦК партии эсеров о том, что их активные деятели Евно Азеф и Николай


ИСКРА

Татаров являются провокаторами, платными агентами охранки. Затем, выехав за границу, Меньщиков открыл бывшему народовольцу Владимиру Бурцеву еще нескольких предателей — бундовцев Батушанского-Барита, Гартинга, Каплинского, эсерку Зинаиду Жученко. Дальше — больше: в 1909 году Меньщиков передал соответствующим партийным центрам целые списки изменников числом 255, среди них были и социал-демократы. И, наконец, написал ценнейшие мемуары «Охрана и революция».

А пока что Иван Алексеевич усердствовал на благо престола и отечества. Его стараниями были разгромлены социал-демократические организации «Северного союза». «Искра» в № 23 сообщила, что там арестованы 90 человек...

В эти дни Андрей чувствовал себя одиноким и впал в уныние. Балашова он потерял из виду, ехать к Отцу боялся: как бы не выследили, тогда и Афанасьеву несдобровать. С грехом пополам проэкзаменовался в училище, выслушал по поводу низких баллов очередную папенькину грозную нотацию — давно уже перестал обращать на родительский гнев хоть малое внимание. За все лето собрали несколько сходок, среди рабочих ощущалась растерянность. Хорошо, что вскоре в Ярославль по заданию «Искры» приехал Федор Гурвич, известный под псевдонимом Дан, будущий меньшевик, а пока что сторонник Владимира Ильича. Он привез несколько экземпляров изданной в Штутгарте брошюры «Что делать?», один из них попал и к Андрею. На светло-коричневой обложке значилось незнакомое имя: Н. Ленин.

«Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки, — читал Андрей. — Мы

окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем».

До поры до времени вражеский огонь миновал Бубнова...

Глава третья

1

По кабинету, обставленному тяжелыми креслами, диваном, чуть ли не во всю стену письменным столом, — эту мебель дети прозвали мастодонтами — Сергей Ефремович бегал как молодой. Событие-то какое: и второму сыну учение продолжать настала пора.

Питер нисколько не привлекал Андрея. Там, как и в Москве, довелось ему побывать — недолго, правда. Само название содержало в себе нечто возвышенное: Санкт-Петербург. Град святого Петра. И под стать имени холодноватые, сухо выпрямленные проспекты, равнодушные колонны и, без мысли, мускулы одни, атланты, и величавые мосты, и каменные львы и сфинксы — город-музей. Любоваться им век не наскучит, но жить в музее немыслимо, думал Андрей. И еще он думал, что неспроста в народе его зовут проще, теплее — Питером.

Иное — Москва. Безалаберная, суматошная, говорливая, в подсолнуховой лузге, в ухабистых мостовых, а то — сверни в сторону — вовсе в немощеных дорогах, в кабацких выкриках и перезвоне колоколов, в перекличках раздрызганных гармоник, в призывах сбитенщиков, пирожников, квасников — свойская, уютная, домашняя Москва.

Не сотворив над собою насилия и в то же время теша родительское самолюбие — убедил, дескать, папенька («о Питере и думать не моги, рассадник заразы»), — Андрей смиренно сказал, что готов ехать в «младшую столицу»,

а будь в Иваново-Вознесенске хоть какое высшее учебное заведение, так и здесь бы с радостью остался, под отчим кровом. Насчет последнего Андрей слукавил: в Москву ему хотелось.

Сергей Ефремович отомкнул дверцу книжного шкафа, раздвинул слегка ряд, чтобы не браться за верх корешка, аккуратно вынул девятнадцатый том Брокгауза и Ефрона, — энциклопедический словарь этот папенька весьма ценил за солидный облик, благонамеренность суждений и дотошность в сведениях.

Вычитали, что кроме университета в первопрестольной имеются институты — сельскохозяйственный, восточных языков, учительский, коммерческая академия, училища — техническое, инженерное, живописи, ваяния и зодчества, музыкально-драматическое и так далее. Поразмыслили, решили определяться Андрею в сельскохозяйственный институт, бывшую Петровскую академию: там имелось инженерное отделение и Андрей мог разом удовлетворить свои влечения и к технике, и к природе. Вдруг папенька чтение приостановил, очки вскинул на лоб, снова опустил, присвистнул даже: оказалось, что за содержание и учение полагается плата по четыреста рублей в год. Но тут же Сергей Ефремович успокоился, ибо дальше в словаре пояснялось, что отличнейшие по успехам и поведению от взноса освобождаются, а в прилежности и способностях отпрыска Бубнов-старший не сомневался. И в самом деле, перед окончанием «реалки» Андрей постарался, аттестат получил весь испещренный высшими баллами, за что удостоился похвалы директора Сыромятникова (на выпускном акте папенька таял от гордости, сидючи в зале).

Успокоил Сергея Ефремовича и список учебных предметов: геодезия, физика, химия, геология, ботаника, зоология, строительное дело и прочее. Правда, числилась еще и политическая экономия, — политикой пахнет? — но сын пояснил: политику здесь надо понимать в ином смысле,

как умение экономно вести хозяйство. Папенька в простоте душевной поверил и уж окончательно укрепился в уважении к институту, когда узнал, что окончившие курс получают личное почетное гражданство, если не имеют прав высшего состояния.

Словом, папенька остался доволен, и в тот же день отправились к лучшему в городе, «парижскому» портному Ваньке Сушкову — на вывеске значилось «Жан Сушэ», — тот посулил партикулярное платье соорудить к четвергу, с одной примерки, а был понедельник. Заломил он, правда, несуразную цену, однако скуповатый Сергей Ефремович по такому случаю и торговаться не стал.

Неделю, оставшуюся до поездки в Москву, Андрей провел в одиночестве. Дома суетились: маменька готовилась к отъезду так, будто собирала сына в долгое и дальнее путешествие. Андрей сразу после завтрака брал книгу, скатывал трубкой дорожку-половичок и уходил до самого обеда на Талку.

Он пересекал речку по мостку возле фабрики Витовых, останавливался, прислушивался к журкотне зеленоватой неспешной воды — тянуло выкупаться, но еще прохладно — и по Афанасовскому тракту заходил в сосновый бор. Здесь, рассказывал Владимир, в 1893 году проходила первая маевка.

Сосны тихо гудели — они почему-то гудят и в полном безветрии, — смоляной запах витал над поляной. Андрей расстилал половичок, ложился, пробовал читать.

Грело солнце. Покачивалась трава, упала прошлогодняя переспелая шишка...

Последние месяцы он жил с ощущением неутихающего, тяжкого недовольства собой. Совсем по-иному он чувствовал себя два года назад, когда познакомился с Отцом, с Варенцовой, с Балашовым, с Паниным, когда выполнял поручения, когда ему казалось, что главное найдено, путь определился. Теперь же чувство неприка-

янности, ненужности, подчас даже отчаяния владело им, не отпускало. Социал-демократическую организацию разгромили, почти всех арестовали, тихо-тихо в городе, будто и не было ни маевок, ни стачек, ни прокламаций, ни собраний. Об Отце ни слуху ни духу — тоже не забрали как бы...

На самом деле Афанасьев находился в глубоком подполье, переменил квартиру, затем и вовсе уехал из Шуи в дальнюю деревню. Но — пока еще исподволь, незаметно — и в Шуе, и в Кохме, и в Иваново-Вознесенске накапливались новые силы, делались попытки возродить кружки, — этого Андрей не знал, очутившись в одиночестве.

И уж разумеется, не знал, что между Лениным и Плехановым идут резкие споры, что нет единства и в редакции «Искры», что остатки прежних народнических групп объединились в партию социалистов-революционеров и принялись за свою излюбленную тактику террора, особенно опасную сейчас, когда рабочее движение в России могло бы стать массовым, а эсеры его исподволь подрывали.

Ничего этого Бубнов не знал, как не знал и того, что недовольство собою, неудовлетворенность — обычная болезнь его возраста, но счастлив тот, кто будет ею страдать до гробовой доски. И много позже поэт найдет определение: высокая болезнь.

2

Отпускать Андрея одного папенька ни за что не соглашался: и заплутаться в Москве недолго, и обчистить карманники могут, и в нумерах для приезжих владельцы объегорят... Домашние видели папеньку насквозь, лучше же всех Анна Николаевна: страх Сергею Ефремовичу хотелось увидеть самолично, как в распростертые объятья примут его сынка, быть может, и сам господин директор.

Андрей тоже папенькины мысли понял сразу, но спорить не стал — к чему, пускай потешится.

Едва на дебаркадер вышли в Москве — накинулись носильщики, бравые молодцы, все, как один, широколицые, усищи врастопыр, картузы с высокими тульями, парусиновые фартуки чуть ли не снежной белизны, бляхи размером в блюдце, высветлены толченым кирпичом. Окружили Сергея Ефремовича, и, как знать, может, и не устоял бы он против богатырского натиска, не допусти носильщики промашку: все будто по уговору величали «вашим степенством», а того Бубнов никак вынести не мог, почитая себя за лицо государственное, не купчишку.

Папенькины переживания Андрей понял и — ростом высок, родителя на полголовы обогнал — поднял багаж. Бубновы отринули злодейские покушения носильщиков.

На площади тотчас охватили кольцом торговые люди, продавали бог весть что: и папиросы, и газеты, и сбитень, и грешневики, и прочие уличные лакомства; и еще издали кричали бабы про горячие пироги с грибами, с ливером, с капусткой. Нахальный оборванец чуть не в руки совал «американского черта», опущенного в широкую пробирку: нажми резиновую перепонку — «черт» нырнет, отпусти — всплывет. Верещали свистульки.

Каланчевская площадь походила на базар. Андрей растерялся. А папенька изо всех сил пыжился, выказывал себя, выглядеть старался авантажно.

Извозчики-лихачи торжествующе возвышались на облучках. Жеребцы, как один, в яблоках, свирепоглазые, дым из ноздрей, переминались, закидывали морды набок, копыта их туго долбали обестравленную землю. Андрею очень хотелось прокатиться на таком извозчике, но папенька, известно, жадничал. И лихачи, его быстро взглядами окинув, помалкивали, — впрочем, они помалкивали всегда, привычные не заманивать ездоков, их сами ездоки выбирали, важных лихачей.

Зато «ваньки» всех калибров и всякого достатка — и те, у кого лошаденки порезвей, и вовсе захудалые — гоношились меж прибывших пассажиров, бормотали привычное «васьсиясь», хватали за полы чуек, «спинжаков», льстиво поглядывали на господ прапорщиков, на студентов, на купчиков, оттирали прохудившимися локтями сермяжное мужичье.

Покуда папенька торговался, делая это столь вдумчиво, будто навсегда упряжку с конем покупал, случилось некое мало кем замеченное происшествие.

К извозчику — из тех, кто поплоше, — сунулся невзрачный паренек, видом из мастеровых (косоворотка, сапоги, картуз), руки свободны, без клади, назвал, куда ехать, — кажется, на Рогожскую, — спросил цену и примерился было влезть на прямовидную, жесткую «линейку» — так в Москве именовались дешевые экипажи, — тут откуда ни возьмись из толчеи объявились двое городовых, а рядом с ними «гороховое пальто», сыщик, — эту публику Андрей научился различать. Один из городовых, с унтерскими нашивками, сказал изумленно-радостно: ишь, мол, об екипаже заботится, а нет нужды в том, без платы провезем. Другой же «фараон» снаровисто вывернул пареньку правую руку за спину, поддал коленом, понуждая лезть на «екипаж», и той же секундой мастеровой, или кто там он был, исхитрился бросить наземь мелко сложенный листок. Андрей, не успев сообразить, для чего делает, шагнул слегка вперед и наступил на бумажку. Все это произошло мгновенно. Линейка с городовыми, с арестованным тронулась, «гороховое пальто» сгинуло в толчее, и, выждав малость, Андрей нагнулся, бумажку сунул в карман.

Тем временем папенька столковался с извозчиком, подозвал сына, уселись в пролетку.

Потряслись по булыжникам Каланчевки, свернули Домниковкою на Садово-Спасскую. Слышался непонят-

ный гул, Андрей приподнялся, увидел вдали темную людскую массу; она, отсюда заметно, как бы колыхалась, и над нею висела пелена то ли дыма, то ли каких-то испарений. Заметив любопытство барчука, «ванька» пояснил: то Сухаревка, толкучка стал-быть.

Пробиться здесь оказалось немыслимым — конка и та кое-как проталкивалась, непрестанно звеня, — свернули в переулок и лишь после нескольких путаных, сикось-накось изогнутых кварталов оказались опять на Садовом кольце. И снова немилосердно трясло, пылью забивало глаза и ноздри. Москва тянулась нескончаемо, и лик ее был многообразен и разноречив.

Но едва миновали Савеловский вокзал, как все окрест сделалось привычпым, похожим па Иваново-Вознесенск: те же вросшие в землю домишки, темные от ветхости ограды, а местами плетни; и дорога немощеная, пыли прибавилось, но ехать стало уютнее, поскольку не трясло. Из окошек выглядывали старики, ребятишки — в экипажах здесь, наверное, появлялись не часто, Бутырки они и есть Бутырки, захолустная слобода.

Зато дальше начались парки, фруктовые сады, и Петровско-Разумовское шоссе ограждалось деревьями по обе стороны, воздух показался Андрею хорош, чист, не то что в родном городе.

Извозчик для верности переспросил, точно ли к Петровской академии надо, и Сергей Ефремович громогласно, хотя никто посторонний слышать не мог, подтвердил, но с поправкой: да, к государя императора сельскохозяйственному институту. Папенька прихвастнул: институт императорским и не числился, а значился по ведомству Министерства земледелия и государственных имуществ.

Круто, лихо развернулись у парадного подъезда, «ванька», бывалый мужичок, спросил, дожидаться ли господ, Сергей Ефремович, не ведая, много ли времени займет процедура и жалея денег за простой (вроде бы зада-

ром платишь, коли не едешь), рассчитался приготовленным целковым, добавив пятак на чай.

Здание рассмотреть Андрей толком не успел: папенька, по обыкновению, суматошился, тянул за собой. Важный, при георгиевской медали, швейцар отверз перед ними врата в храм науки, — и верно, вестибюль походил на храм, высокий, пустой, гулкий. Привычно угадав, для какой надобности прибыли, швейцар указал, как пройти в канцелярию, был одарен гривенником (ах разбойники, ах воры — Сергей Ефремович мысленно приплюсовал этот гривенник ко всем, еще в Иванове начатым, дорожным тратам, — и чиновнику, поди, совать в лапу, когда пойдет представлять господину директору, его высокопревосходительству).

Никому в лапу совать не пришлось. Чиновник, разумеется, наличествовал — молоденький, не авантажный, без угодливости притом. Любезно усадил в кресла, осведомился, ради чего изволили припожаловать, — деликатен, бестия, ведь ясно, для чего припожаловали, барашка в бумажке ждет. Сергей Ефремович стиснул в кармане кошелек: не облагодетельствую, пока дело не прояснится. Щелкопер этот на безгрешную мзду вроде намеков не делал. Привычною скороговоркой, но без небрежности, уважительно, — изложил так, что вопросов не требовалось задавать: на инженерное отделение имеет быть зачислено двадцать пять человек; вступительных экзаменов не установлено; прошений подано к сему числу шестнадцать; плату за учение вносить надлежит к началу занятий; впоследствии при отличных успехах господа студенты от платы освобождаются; жить предписано в интернате, расположенном с учебными корпусами рядом; сословных ограничений для поступающих не введено, лишь евреи не допускаются.

Завершил чиновник без промедлений: принял из рук Сергея Ефремовича сыновий аттестат, испещренный

отметками о высших баллах, свидетельство о благонадежности (подписал-таки прохвост Кожеловский, в трактире до полуночи пришлось его угощать!), метрическую церковную выписку. В пухлую, крытую кожей книгу внес что полагается. И с этой минуты Андрей Сергеев Бубнов, мещанского сословия, рожденный 23 марта 1883 года, православный, в браке не состоящий, стал студентом Московского сельскохозяйственного института, в стенах коего предстояло ему пробыть без малого пять лет и быть отчисленным по причинам, которые он будет указывать в документах по-разному, истинной причины — участие в революционной деятельности — нигде так и не обозначив.

Когда покинули канцелярию, Сергей Ефремович испытывал и гордость, и ущемленность: с одной стороны, приняли Андрюшу без промедления, с другой — директора не повидали, так, фитюлька зачислял. Но в вестибюле, на глазах ничуть не изумленного швейцара, троекратно родимое чадушко облобызал (и не отстранишься ведь, не обидишь папеньку). И церберу на радостях выдал полтинник. И, торжествуючи и признав сына окончательно за взрослого, отпустил его с миром погулять. Назначил у Ярославского вокзала свидание в десять часов пополудни (теперь отбило два).

На том и расстались. От щедрот своих Сергей Ефремович, не преминув сделать соответствующее наставление, извлек из портмоне золотой полуимпериал — семь с полтиною, сроду Андрей таких денег в руках не держал, — кликнул подвернувшегося извозчика, покатил, собою сверх меры довольный. Покатил в трактир Тестова на Воскресенскую, в трактир, прославленный своими расстегаями.

Андрей же, осмотрев сперва уличный фасад, боковою, запримеченной давеча калиткой отправился в парк.

3

И здание это, розовое с белым, в полуколоннах, при башенке, где мерно, без припрыжки, передвигались стрелки по римским цифрам часов классического вида; и левый, примкнутый к основному, директорский корпус; и литая решетка ограды; и — справа — осанистая церковь; и — напротив — два матерых дуба; и за ними вытянутая в струнку лиственничная аллея; и даже паровичок, с пыхом подкативший к близрасположенной конечной станции, — все это принадлежало отныне и ему, Андрею Бубнову, студенту (да, студенту!) Московского сельскохозяйственного института.

С этим чувством *владения*, сопричастности окружающему, чувством взрослости, уверенности в себе Андрей и вступил в парк.

Раскрылись два просторных цветочных партера, а от них вела в глубь парка главная аллея, там где-то поблескивала вода, — пруд, наверное, прикинул Андрей. Бубнов обернулся.

Дворец предстал отсюда еще краше, чем с уличного фасада, особенно удивительны были выпуклые, наподобие линз, оконные стекла, в них вразнобой отражалось солнце.

В тишине раздавалось цвиньканье синичек, где-то вдали усердствовал дятел, ветерком доносило запах воды. Андрей закурил, ему хотелось чувствовать себя окончательно взрослым — для себя, не напоказ: кругом не было ни души.

Но что-то мешало ему безмятежно радоваться и новому студенческому званию, и этой летней, душистой, только в птичьих пересвистах, тишине, и яркости цветников, и тому, наконец, что находится он сейчас не где-нибудь, а в самóй Москве, первопрестольной, древней, суматошной и милой, и будет здесь, вероятно, учиться долго, если, конечно...

Тут он и сообразил, что́ мешает ему радоваться.

В записке, подобранной у вокзала и теперь извлеченной из кармана, содержалось всего несколько слов: «Соня, передай: копия картины Саврасова отправлена в Женеву. Борис».

Странно. Для чего понадобилось выбрасывать эту записку? А может, для кого-то и важно? Перевернул бумажку обратной стороной, увидел слабо нацарапанное карандашом: «Палиха, дом Шамраевой, для Сони».

4

До Савеловского добрался на паровичке, а от вокзала к Палихе, сказали ему, и пешком недалеко.

Дом Шамраевой — вон, третий от угла, объяснила рослая деваха с ведрами на коромысле. Калитка настежь. Андрей поднялся на крылечко, дернул висячую рукоять звонка. Женский голос — показалось, что с некоторою тревогой, — спросил, кто там.

— Я... Я хотел бы записку передать, — сказал Андрей неуверенно.

Открыла девушка его примерно лет. На грудь перекинута увесистая коса, лицо смуглое, глаза огромные и грустные, а улыбка веселая.

— Вот, — сказал Бубнов. — Извините, случайно это нашел. Быть может, важное что-то. Вы передадите Соне?

— Передам, — отвечала она, мигом развернула мятый листок, быстро пробежала. — Спасибо, ох какое спасибо, — сказала она и спохватилась: — А откуда это у вас?

— Я же сказал — нашел на улице, — объяснил Андрей, не зная, следует ли говорить правду: как нашел, при каких обстоятельствах.

— Где именно? — скороговоркой спросила она.

— Не помню.

— Неправда, — так же стремительно возразила девушка. — Вы говорите неправду. Вы кто?

— Андрей Бубнов.

— Несущественно. Я совсем не о том. Вы студент?

— Да, — сказал опять неуверенно: в самом деле, какой он еще студент?

— Университета?

— Нет. Сельскохозяйственного.

— Глеба Томилина знаете?

— Нет.

— Как же так? Там и студентов-то всего двести человек, а уж Глеба не приметить... — она посмотрела с подозрением, Андрей смешался окончательно. Ничего не поделаешь, надо признаваться.

— Я... Меня только сегодня зачислили, — сказал он и почувствовал, что краснеет.

— Ну спасибо вам, Андрей Бубнов, принесли хорошую весть. Соня — это я. Так где ж все-таки нашли эту записку? Коли начали признаваться, признавайтесь до конца.

Войти в дом не приглашала, стояла на пороге, как бы преграждая путь, смотрела требовательно и настойчиво. Зато Андрей и бежать был готов от ее требовательных, грустных глаз, от этих ямочек на щеках — про такие он только читал, а видел воочию впервые, — и готов был, понимая это, смотреть и смотреть без конца. И конечно, Соня его понимала, как понимает всякая женщина, когда ею любуются, тем более что, в равных годах, она была, как и всякая женщина, куда как старше Бубнова.

— Ну? — потребовала она, поторопила, и, услышь такое от кого-то из училищных товарищей, от сестер или братьев, Андрей непременно — фамильярностей не терпел — ответил бы старым присловьем: «Не понукай, не запряг», но тут проглотил и это, послушно рассказал, как было дело.

— Каков он собой? — быстро спросила Соня.

— Да обыкновенный... Похож на мастерового. Сапоги, косоворотка...

Она перебросила косу за спину.

— Я хочу знать, кто это был. Волосы курчавые?

— Не знаю. Он был в картузе.

— Почему вы подобрали записку?

Андрею хотелось рассказать, что и он приобщен к делам революционным и понимает, что было тут, с запиской, неспроста, но рассказывать незнакомой девушке, пускай даже такой к себе располагающей, разумеется, нельзя, и он ответил в том смысле, что наступил на записку штиблетом случайно, а после подобрал, решил отвезти по адресу, обнаруженному не вдруг.

— Хорошо, спасибо,— сказала Соня.— Спасибо, многоуважаемый коллега с пятичасовым студенческим стажем. Не смею вас больше задерживать, как выражаются в присутственных местах.

Андрей поплелся к расшатанной калитке, и, наверное, спина у небо была сутулая, и походка шаркающая, и весь он был обиженный и смятый, — наверное, так оно и было, потому что Соня крикнула вдогонку:

— Может, еще повстречаемся, коллега!

5

Андрей проголодался. Москву он знал плохо — лишь дважды бывал с папенькой, осмотрели тогда Кремль и торговые ряды — и потому сейчас не придумал ничего иного, как вернуться к Савеловскому, где наверняка должен быть трактир.

Так оно и оказалось, даже не трактир, а, по-заграничному, ресторан в самом вокзале.

Чуть успел туда войти, как подлетел половой — не в холщовой белой паре, не по-трактирному, а во фраке

с крахмальной манишкой, — поклонился чуть не в пояс, провел господина к столику, извинившись: отдельных мест нет, но там сидит всего-навсего единственный барин и в ваших, извините-с, годах-с...

Барин и впрямь выглядел не старше Андрея, в студенческой форме, и, преодолев проклятую скованность, Бубнов решил познакомиться: и неловко сидеть молча, и, наконец, он-то сам тоже студент, не как-нибудь!

Тотчас выяснилось: звать соседа по столику Виктор, со второго курса Петровки (название института он произнес с шиком, по-старинному, — такая, узнал после Андрей, водилась традиция).

По случаю знакомства и потому, как выяснилось, что коллеги, велели принести шампанского.

Пили неумело: шампанское под селянку, Виктор тоже не из аристократов оказался, отец — башмачник, содержит мастерскую с тремя работниками, а деньги у Виктора завелись в этот день по случаю, подарил выпивоха крестный. Виктор — фамилия его Прокофьев, — слегка хмельной, все это поведал новому товарищу и предложил в институтских номерах (бывших Ололыкинских, а после переименованных в номера Благосклонного — похвастал Виктор осведомленностью) расположиться вместе, комната на двоих, сейчас напарника нет, и неизвестно, кого могут поселить, Андрей же, сказал Виктор, ему понравился. Выпили на брудершафт, расстались друзьями — Бубнову следовало спешить на вокзал к назначенному папенькой времени.

Папеньку застал возле вагона, папенька был навеселе, опять облобызал сына и, войдя в купе, мигом заснул. Андрей же лег не сразу. Стоял в покачивающемся коридоре, глядел на редкие за окном огоньки, пил вкусный чай, принесенный проводником. Многое обвалилось на Андрея сегодня: и студентом стал, и нового друга обрел, и...

Он думал о Соне.

6

А в Иваново-Вознесенске тем летом — тишь да благодать. Господа фабриканты поразъехались — кто за границу, кто на Кавказ, в Крым, кто по собственным, неподалеку, поместьям. Оставшись «за хозяев», управляющие порасслабились, не лютовали, лишь бы выполнялся дневной рабочий урок, и ладно...

Отдыхали, как обычно, всею семьею и Бубновы — из году в год снимали в деревне Горино просторный, свежий, не израсходовавший запаха древесины, пятистенок. Владелец его, скупой до чрезвычайности, — Сергей Ефремович, и сам куда как прижимистый, жадностью такой возмущался — на лето загонял чад и домочадцев в амбар, там и ютились до поздней осени. Андрей, когда встречался с детьми хозяина, испытывал неловкость, но вскоре о ней забывал: так в Горине было славно!

Расчудесные места. За околицей виляла чистенькая, убранная красноталом, рыжеватая водою речонка. На одном из поворотов ее желтел песчаный обрыв, там, выставив наружу обмытые корни, чуть не в бестелесном воздухе витали сосны. А дальше начинался тонкий березнячок, и простирались луга, и росли бессмертники — Андрей растения всякие любил и знал, — называемые иммортелями, были они и белые, и розовые. А грибов, а грибов по всем перелескам — хоть косою коси!

В благодатных и лишенных казенной обрядности этих местах даже Сергей Ефремович отбрасывал чинность (впрочем, соединенную с мелкой суетливостью). Ходил в коломянковом костюмчике, в легкомысленной панамке. А весь «женский пол» — в сарафанчиках, весьма откровенных. Андрей же, Миша, вольноопределяющийся (отпустили на побывку), Николай и Ваня закатывали штаны выше колен и, едва миновав околицу, скидывали рубахи, гонялись наперегонки, бросались в речку.

Беззаботно жил Андрей, не зная, что беззаботное лето у него в жизни последнее.

Меж тем в это время «Искра» напечатала письмо из Шуйского уезда:

«...Недовольство рабочих растет с каждым днем все больше и больше. Безработных много. Почва для пропаганды и агитации самая благоприятная, но сил и средств у нас нет... интеллигенция спит в духовном смысле слова, проводит время для себя лично, хотя у нас... приехало на каникулы много учащейся молодежи (студенты и другие), но они проводят время в разговорах с кисейными барышнями или занимаются в виде отдыха псовой охотой...»

Этих строк Андрей не читал, а доведись прочесть, наверное, как говорится, сгорел бы от стыда: за исключением упоминания о псовой охоте, слова эти относились и к нему; но Андрей не видел «Искры» давно и вообще тем летом читал мало, о серьезном почти не размышлял. Просто радовался тому, что живет на земле, испытывал счастье обыкновенное, совсем не возвышенное: теплый вкус парного молока, щекотание босых ног неломкою травою, сладостный ожог утренней воды, тишину деревенских сумерек. И нечаянный, неловкий поцелуй с дачницей по имени Сонечка,— коснувшись губами ее нежных губок. Андрей подумал, кажется, о том, что есть на свете другая Соня, однако первый поцелуй был сладостен и невероятен.

17 июля в Брюсселе открылся II съезд РСДРП.

7

С Виктором Прокофьевым — как и условились, Бубнов стал его сожителем по комнате — долго сближаться не пришлось. Витя отличался нетрудным нравом, был доверчив, ровен, привычки его совпадали с привычками

Андрея: оба трезвенники, не табакуры, оба аккуратисты. От собственной аккуратности Андрей частенько страдал, живя с братом Николкой: тот раскидывал где попало книги, тетради, вещи, Андрей принимался убирать, выбрасывал, что придется — бывало, и нужное, — но поделать с собою ничего не мог: вид захламленного стола, даже вид пустячной бумажонки, валяющейся не на месте, его бесил. На Виктора сердиться не приходилось. Правда, был Прокофьев душа нараспашку, Андрей же скрытен и молчалив, но это несходство не мешало, а скорее способствовало сближению: один любил поговорить, другой — послушать, и, значит, каждый для себя находил нужное.

Имея под боком отчий кров, жил, однако, Виктор в казенных номерах, поскольку полагалось так правилами, чтобы каждый студент был постоянно на виду.

В комнате — все, что надобно: комод в четыре ящика для белья, шкаф, овального вида обеденный стол, две конторки и железные, с цельными спинками, — по ним намалеваны идиллические пейзажи — варшавские кровати; гнутые стулья; и электрическое, не столь уж распространенное, освещение; и даже ковер — истертый, признаться, — на полу. Висели в красном углу иконы — без них не дозволялось. Окошко выглядывало на церковь. В бога и Андрей, и Виктор не веровали, однако, выросши в семьях религиозных, привычно крестились поутру, сами над собою посмеиваясь, и службы церковные посещали вполне исправно — за тем институтское начальство и «педели» внимательно следили.

В институте порядки водились весьма крутые. Причины у властей к тому имелись.

Основанная в 1865 году Петровская земледельческая и лесная академия, Петровка, поначалу славилась либеральностью. Учившийся тут Владимир Галактионович

Короленко писал, что устав академии держался на принципах свободы и веры в молодые силы обновляющейся страны. И тогда принимали в академию без каких бы то ни было сословных ограничений, без вступительных экзаменов, не было и экзаменов переводных. Слушатели — а не студенты, сим как бы подчеркивалось их особое положение — вольны были пройти либо полный курс, либо часть его, либо, возникни такое желание, оставаться в стенах «альма матер» на угодный им дополнительный срок. Правительство надеялось, что слушателями Петровки станут лица с университетским образованием, намеренные усовершенствовать познания в области сельского хозяйства, а также помещики. Однако министерство просчиталось: первыми петровцами оказались преимущественно крестьянские дети, разночинцы, сыновья сельского духовенства. Один из современников писал, отнюдь не восторгаясь: «Собравшаяся толпа молодежи не могла не поразить нас различием возрастов, разнообразием и оригинальностью одежды, нечистоплотностью и странным выражением лиц. Тут были молодые люди в простых блузах и пледах, в красных рубашках и старых сапожищах, в чуйках и грязных нагольных тулупах, были безбородые юноши и совершенно обросшие волосами взрослые мужчины».

Профессура академии состояла из блистательного созвездия имен. Академический совет находился под влиянием прогрессивно настроенной части ученых, и его решения нередко противоречили официальной политике министерства.

Все это не замедлило дать, и весьма скоро, нежелательные результаты. 4 апреля 1866 года Дмитрий Каракозов при содействии Федора Лапкина, Дмитрия Воскресенского и Владимира Петровского совершил покушение на Александра II. Все члены боевой группы — слушатели Петровки. Через четыре года в газете «Русская летопись» —

некролог в память опального Александра Ивановича Герцена, — газету издавали профессор академии Щепкин и управляющий учебной фермой Неручев...

Были приняты решительные меры. По утвержденному в 1873 году уставу академия приобрела статус и облик «нормального» учебного заведения, куда принимались — со вступительными экзаменами — выпускники гимназий и реальных училищ. Слушатели стали теперь студентами. Предписывалось принимать в их число лишь тех, кто имеет «известное общественное положение».

Но вольный дух Петровки не угасал. Вплоть до начала XX века она была застрельщицей студенческих «бунтов». В 1883 году петровцы депешей просили Фридриха Энгельса от их имени возложить венок на могилу Карла Маркса. В 1889 году товарищ министра внутренних дел докладывал: «...получены сведения, что на благодарственном молебствии, отслуженном в церкви Петровской сельскохозяйственной академии по поводу годовщины избавления августейшей семьи от угрожавшей опасности 17 октября минувшего года, присутствовало из всего наличного числа студентов лишь шесть человек (всего училось 204. — *В. Е.*), причем студенческий хор, всегда поющий в церкви, отказался на этот случай петь. Между тем через день, 19 сего октября, в церкви св. Дмитрия Селунского на панихиду по умершем в Саратове писателе Николае Чернышевском собралось до ста человек студентов академии».

Не помог и новый, 1890 года, устав с его строгостями вплоть до введения карцера. В Петровке продолжались волнения. Вскоре последовало тайное распоряжение — академию закрыть. Лекции продолжались, но прием новых студентов отменили. Из числа профессоров был исключен «неблагонадежный» Климентий Аркадьевич Тимирязев.

1 февраля 1894 года Петровскую академию закрыли официально.

Однако через четыре месяца на ее территории основан Московский сельскохозяйственный институт. Но с опаскою: принимать в него предполагалось в основном детей помещиков. Студентов обязывали жить в казенных номерах, постоянно носить форму. Для утверждения на пост директора требовался высочайший указ, все должностные лица назначались распоряжением министра. Студентам запрещались любые «сборища и сходки, принесение коллективных прошений, произнесение публичных речей».

Вольнодумству петровцев, казалось, положили конец.

По крайней мере до осени 1904 года.

Сейчас была зима 1903-го.

Андрей прилежно посещал лекции, особенно те, что читали известнейшие профессоры Василий Робертович Вильямс и Дмитрий Николаевич Прянишников. По вечерам сидел в читальне — там помимо учебной литературы и беллетристики оказались и труды Маркса, и уже знакомых ему отчасти Лафарга, Каутского, Бебеля. Сперва брать их Андрей не решался, но вскоре отважился, и библиотекарь, ветхий старец, — он служил в Петровке чуть ли не со дня ее основания — не удивился ничуть, записал в формуляр «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта».

От библиотекаря Андрей постепенно узнавал историю академии. Сюда приезжал Некрасов. Здесь неоднократно бывал Лев Николаевич Толстой («Как, батенька, не слыхивали разве? Дочка нашего директора за Сергеем Львовичем Толстым замужем»)... Наведывался в сии места Антон Павлович Чехов. Живал на даче поэт Валерий Брюсов...

...Придет время, и к здешнему длинному списку выдающихся ученых, писателей, общественных деятелей прибавится имя Андрея Сергеевича Бубнова...

8

Завернули декабрьские холода. Шинель «на рыбьем меху» грела плохо, и Андрей, вообще-то простудам не подверженный, все-таки старался реже выходить на улицу. Из «нумеров» — в учебный корпус, напротив, через дорогу, после занятий — в кухмистерскую, а затем опять в нумера или в читальню, все впробежку. Болеть не хотелось никак: завершался первый семестр и намерение было твердое — сдать на высшие баллы, избавиться от платы за учение — денежная зависимость от папеньки тяготила. Впрочем, полностью от нее так и так не избавишься, есть-пить надо...

Сегодня пуржило вовсю, по Лиственничной тянулись длинные свеи, никто не высовывал наружу носа. Легкий — навес да боковые стенки — павильон от холода не спасал, разве что от ветра немного загораживал. Ждали полчаса, паровичок не появлялся. Замерзли вконец.

Но вот вдали обозначились тусклые желтые глаза, паровичок подполз, ожесточенно вздыхая. По случаю непогоды пассажиров мало, никто из него не вышел, и сели только двое — Андрей и Глеб. Кондуктор, в дубленом полушубке ниже колен, валенках, малахае с подвязанными наушниками, выпростал из варежек стылые руки, оторвал билеты, глянул на студентов неодобрительно, будто ради них и подали сюда паровичок. Потом, видать, постариковски позавидовал их молодости, тому, что не побоялись в стужу выскочить, а шинелишки-то слабенькие...

Ишь крутит-вертит, господи прости...

Познакомились недавно. Правда, фамилию Томилин, которую назвала та непонятная девушка, Соня, запомнил, однако ведь и о самой Соне ровным счетом Андрей не знал ничего и не знал, с какой стати упомянута была

фамилия. Не придал Бубнов значения и тому, что в один из вечеров крутолобый, с усиками на слегка монгольском лице студент постучался к ним в комнату, попросил одолжить, коли сыщется, свечу,— электрические лампочки, даже самоновейшей конструкции Ауэра, с осмиевой металлической нитью, часто перегорали. Задержался ненадолго, поговорили так, ни о чем. Бывшая демократическая Петровка сейчас отличалась даже некой изысканностью: по неписаным правилам студенты обращались меж собою на «вы», чаще всего и с прибавлением отчества, это сделалось традицией, и почему-то многие гордились ею. Но этот назвался без особых церемоний: Глеб Томилин. Фамилия показалась знакомой. Не сразу сообразил, что слышал ее от Сони, а сообразив, спросить про Соню, однако, не решился. После, встречаясь изредка (Томилин учился на четвертом курсе), здоровались за руку, но разговоров не заводили, хотя Андрею и стало казаться, что Глеб как-то по-особому внимательно к нему приглядывается. Но грехов за собою пока Бубнов не видел, да и на шпика Томилин вроде не походил.

Дело же обстояло так.

В свои двадцать три года Глеб Томилин был уже «старым» эсдеком, ярым приверженцем «Искры». На одной из студенческих сходок он встретился и подружился с Федором Благонравовым, обучавшимся в университете, Благонравова арестовали, выслали во Владимир, где он установил связь с «Северным союзом» и с делегатом I съезда РСДРП Александром Алексеевичем Ванновским — тот жил в Ярославле, ведал подпольной типографией. Зная о том, что Благонравов подал прошение о восстановлении в числе студентов, Ванновский настоятельно рекомендовал заняться вовлечением студентов в социал-демократическое движение: московская учащаяся молодежь активностью не отличалась. Тогда-то вот в разговоре одном с Благонравовым и упомянул Ванновский об

Андрее Бубнове — студенте Петровки, сам он слышал об этом юноше от Ольги Варенцовой.

Некоторое время Томилин к Андрею присматривался: рекомендации Варенцовой, Ванновского, Благонравова, конечно, убедительны, но все-таки хотелось составить и собственное мнение. Оно сложилось: серьезен, вдумчив, сдержан в словах и поступках. Правда, излишне замкнут, держится на особицу, это для революционера не лучшая черта, но ведь не всем быть агитаторами, нужны и пропагандисты, и составители прокламаций, и «теоретики», так сказать. Словом, Томилин решил: пора.

Он как бы ненароком подсел к Бубнову за столик в кухмистерской, после обеда выпили чайку, вместе вышли. Глеб предложил прогуляться в парке, уже голом, слегка прихваченном морозцем. И здесь без обиняков признался, что состоит в РСДРП, рассказал все, что слышал о Бубнове, — весьма польстило! — и без лишних проволочек дал сдвоенный номер (2-3) незнакомой Андрею газеты «Студент», выпущенной, сказал он, в Цюрихе, и посоветовал прежде всего, конечно, прочитать статью Ленина «Задачи революционной молодежи».

Поначалу статья показалась непонятной: Ленин полемизировал с каким-то Струве (фамилия ничего не говорила Андрею), ссылался на неведомое редакционное заявление «Студента». Но дальше оказалось ясней.

Ленин писал, что в современном студенчестве имеется шесть политических групп: реакционеры, равнодушные, академисты, либералы, социалисты-революционеры и социал-демократы.

Интересно, подумал Андрей, а большинство петровцев в какую занести категорию? Пожалуй, равнодушных. Крайних, отъявленных реакционеров, в общем, нет, поскольку, невзирая на усилия начальства, институт не смогли превратить в прибежище для сынков крупных

землевладельцев, студенты преобладают из средних сельских сословий. Однако и не из бедноты. Революционный дух Петровки сумели-таки затоптать. Сумели привить и то, что Ленин называет академизмом... Нет среди профессоров неистово-вдохновенного Тимирязева, нет и других смелых преподавателей-либералов. И эти чинные обращения на «вы» с присовокуплением отчества. И это подчеркиваемое пренебрежение всем, что касается «политики» (наше дело — стать образованными агрономами, инженерами). Попробуй таких расшевели... А ты пробовал, Андрей? А ты сам чем себя проявил? Ну, читаешь Маркса, Либкнехта, Меринга. Ну, спорил с Виктором насчет зубатовских сборищ, даже на одно с ним вместе сходил, — зубатовщина пребывала на последнем издыхании, от просветительства ее, о котором Андрей слыхивал, не заметил следа, пили там чай с бубликами, рассуждали о божественном...

Свеча подмаргивала, Андрей пальцами снял нагар, подошел к окну. Падал сухой снег, деревья четко выделялись на черноте неба. Слышно было, как потрескивали сучья. Он вернулся к столу.

Далее в статье речь шла о том, что упомянутое группирование соответствует политическому группированию во всем обществе, русском обществе «с его зачаточным (сравнительно) развитием классовых антагонизмов, с его политической девственностью, с его забитостью и придавленностью громадных и громаднейших масс населения полицейским деспотизмом».

Призыв эсеров к студенчеству «провозгласить свою солидарность с общеполитическим движением и совершенно отвлечься от фракционных раздоров в революционном лагере», указывал Ленин, в сущности, является «призывом *назад*, от социалистической к буржуазно-демократической точке зрения». Политическая деятельность, разъяснял он, неразрывно связана с борьбой партий и

неизбежно требует от человека сознательного выбора одной из определенных партий.

Андрей думал о том, что для него, в сущности, вопрос о выборе и не стоял: в Иваново-Вознесенске тон задавали эсдеки, представителей других течений там попросту не было. А если б и оказались, он уверен, что пошел бы за Афанасьевым, за Варенцовой, за Балашовым, Окуловой: собственно, и до знакомства с ними Андрей уже соприкасался с идеями подлинной социал-демократии, поскольку идеи эти решительно исповедовал старший брат...

И снова, снова Андрей возвращался к тому абзацу статьи, где говорилось о дифференциации студенчества, где на втором месте после реакционеров упоминались равнодушные. Это слово тут выглядело плевком: по крайней мере, все остальные категории определенны. А эта...

Много лет спустя, в середине тридцатых, попался ему на глаза афоризм:

«Не бойся врагов — в худшем случае они могут тебя убить.

Не бойся друзей — в худшем случае они могут тебя предать.

Бойся равнодушных — они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и убийство».

Как знать, не припомнил ли Андрей Сергеевич тогда далекий ноябрьский вечер 1903 года, слабо освещенную аудиторию, догоравшую свечу, расстеленный на столе номер газеты «Студент» с ленинской статьей и то, о чем думал он тогда.

Жить среди равнодушных и не пытаться их растормошить, расшевелить, огорошить, возмутить, заставить либо пойти за собой, либо переметнуться в противный лагерь, но *определиться,* жить среди равнодушных и не противиться застою, — не означает ли это, что и сам ты постепенно скатываешься на их позиции? — думал Андрей.

Он торопливо вышел из аудитории, пересек дорогу. Отыскал четвертое слева окошко на втором этаже «казенки». Свет там горел. Бубнов постучался к Глебу.

9

У Савеловского им повезло: подоспел трамвай, промерзлый, как и паровичок. Ехали недолго, сошли на Палихе.

Обозначилась луна, высветлила убогие, как в иваново-вознесенских слободах, домишки. Глеб вел уверенно, в одном месте перескочили низкий забор, прошли огородом, оказались в проулке, домик о четырех окнах, теплятся еле-еле. Домик показался Андрею знакомым, и в том он убедился, когда ступили на крыльцо: да, именно сюда приносил он записку, подобранную на Каланчевке. А что, если опять отворит Соня? Не то чтобы Андрей помнил о ней постоянно, и все-таки мимолетная, напряженная встреча не прошла для него бесследной. Он хотел думать, что причиной была таинственная история с запиской, непонятность и самой записки, и поведения Сони, он хотел думать так, не отдавая себе отчета — или не желая отдавать,— что главная причина состояла в другом.

Обмахнули голичком сапоги, Томилин постучал — два раза подряд, пауза, еще дважды. Стук явно условный, но из сеней для верности спросили:

— Кто?

— От Петра Разумовского. Слышно, комната у вас сдается?

— Долгонько собирались. Заходите.

В сенях темно, пахло прелью, кто-то невидимый впустил в крохотный передний закуток. Там горела «семилинейка» с закопченным стеклом, пузырь надколот, заклеен куском бумаги, от нее приванивало горелым. Висели на гвоздях, лежали на сундуке студенческие шинели,

только два неформенных пальто углядел Андрей, одно из них женское.

— И в самом деле запаздываете, — сказал тот, кто их встретил. — Здравствуй, Глеб.

— Паровичка ждали, — оправдывался Томилин, товарищ не слушал, продолжал:

— Здравствуй, — и протянул руку Андрею. — Я — Позерн, Борис. Только что вышибленный с медицинского факультета. А вы, как понимаю, Бубнов? Глеб о вас говорил.

Держался несколько суетливо, в обращении перескакивал с «вы» на «ты». Андрею это не понравилось: не любил ни суматохи, ни панибратства. Но, подумал он, на «ты» — это, видимо, привычка подпольщика.

Зрительная память была у Андрея хорошая, правда с одною особенностью: лица запоминал моментально, как фотографировал, но при следующей встрече не вдруг мог сообразить, кто именно этот человек, при каких обстоятельствах виделись прежде. Так было и сейчас: Позерн ему знаком наверняка, но где, когда, при каких... Не вспомнить...

— Что ж вы топчетесь, товарищи, начинаем! — из комнаты вылетела девушка, даже при «семилинейке» видно — чудо как хороша: темные косы, высокий ясный лоб, ямочки у милого рта... Вот когда у Андрея не оказалось ни малейшего сомнения — она!

— Идем, идем, Сонечка,— откликнулся Позерн.— Ты хоть бы с Глебом поздоровалась, стрекоза. И вот наш новый товарищ — Андрей Бубнов. А это,— он повернулся к Андрею,— наша Сонечка, в миру — Оля Генкина.

— Здравствуйте, — торопливо проговорила она, бегло взглянув, и Андрей, себе удивляясь, откуда взялась прыть, сказал:

— А мы уже знакомы. Я вам записку приносил. В июне.

— Да? — Соня опять кинула быстрый взгляд, прищурилась, — видимо, близорука, но мало кто из молодых женщин носил очки, признак «синего чулка». — Какую, однако, записку?

— Там было про копию картины Саврасова, я не понял...

— И хорошо, что не поняли, — Соня засмеялась необидно. — Еще раз спасибо, вы тогда нас выручили. Товарищи, идемте же, пора начинать.

— Постой, постой,— заволновался отчего-то Позерн.— О картине Саврасова? Как записка попала к вам, Бубнов?

Тут Андрей сообразил: так ведь это ж он, Борис, обронил — или выкинул? — записку.

— А я рядом стоял, когда вас городовые сцапали,— сказал Андрей, подумав: не хвастается ли? Но ведь надо же объяснить...

— Вот оно что,— Позерн схватил его руку, пожал, все движения были порывисты.— Спасибо. Собственно, там ничего «фараоны» и не разгадали бы, но адрес, адрес вот этот. Непростительная была моя ошибка. Спасибо.

— Слушайте, — сказала Генкина.— Вы долго будете предаваться воспоминаниям и распинаться в благодарностях? Время зря уходит, оно и товарищу Полетаеву, и остальным дорого.

— А копия Саврасова опять здесь,— шепнул Борис, когда входили.

Ничего не понятно...

Сколько раз потом Андрей думал: удивительно, все революционеры, с кем довелось работать,— а было их много сотен — выглядели на редкость красивыми. Особенно женщины. И Ольга Афанасьевна Варенцова, и Глафира Окулова, и Лиза Володина, и уж конечно Оля Генкина, и Маруся Мясникова. И даже громоздкая, громогласная

Мария Икрянистова — Труба. Даже Мария Бешенковская — чернявенькая, худенькая, большеносая, с глазами навыкат — и та казалась красивой. Когда-то Андрей удивлялся, почему так, потом, к зрелым годам, понял...

Красив, и не только в представлении Бубнова, но и на самом деле, был и товарищ Полетаев — под этим именем, что знали здесь немногие, всего несколько дней назад опять обосновался в Москве Николай Эрнестович Бауман. Серая визитка, накрахмаленная рубашка с загнутыми уголками воротника, галстук-бабочка. Гладко зачесанные, слегка поредевшие волосы, тщательно подстриженная бородка. Здесь, на подпольном собрании, показалось Андрею, он выглядел, товарищ Полетаев, как-то не слишком уместно, даже чуть ли не барственно. Андрей привык видеть партийных вожаков — Отца, Странника, Панина — одетыми по-рабочему, обликом простоватыми, этот же товарищ имел очень уж изысканный вид.

Посредине длинного, освещенного висячей «молнией» стола кипел самовар, хозяйничала у него Оля Генкина, единственная тут женщина. В тарелках и вазочках — пряники, варенье, колотый сахар. Народу человек двадцать, все в студенческих мундирах.

Встал Борис Позерн.

— Коллеги, — сказал он. — Товарищи. Мы собрались по делу чрезвычайному. С докладом о Втором съезде РСДРП выступит его делегат товарищ Полетаев.

Лишь Позерн и Генкина знали тут, что Полетаев — это Бауман, тоже из студентов, из Казанского ветеринарного института, что в его революционной биографии — дерзновенный побег из киевской тюрьмы вместе с десятью товарищами социал-демократами, что в Москву сейчас Николай Эрнестович направлен, чтобы возглавить социал-демократический комитет. Известно было Позерну и то, что на II съезде, где соблюдалась сугубая конспирация, Бауман числился не под обычными своими партийными

псевдонимами — Грач, Полетаев, а под специальным, съездовским — Сорокин. Познакомился Борис с Николаем Эрнестовичем сравнительно недавно, однако и сам Позерн себя в организации хорошо зарекомендовал, Бауман доверялся ему полностью, Борис же относился к товарищу Полетаеву с юношеским восторженным преклонением — сказывалась в числе прочего девятилетняя разница в возрасте.

Говорил Полетаев негромко, мягким баритоном, трудно было представить его оратором на многолюдном митинге, манера скорее походила на профессорскую. Он даже толстым синим карандашом на листе бумаги, будто на аудиторной доске, по лекторской привычке, набросал нечто подобное диаграмме — расстановка сил на съезде.

Как, видимо, и остальные, Андрей «на слух» не воспринял было разницы между формулировкой Ленина и формулировкой Мартова по первому параграфу устава — звучали вроде бы одинаково. Полетаев это заметил, по записи прочел еще раз, выделяя, подчеркивая слова, и растолковал суть: формулировка Мартова давала возможность включать в партию всех желающих, растворить партию в классе, тогда как по мысли и по формуле, предложенной Лениным, партия должна быть боевым авангардом рабочего класса. Тут же добавил, что, к сожалению, съезд в этом вопросе оказался не на высоте, мартовцы одержали верх. Зато — Полетаев отчасти даже торжественно повысил голос — на выборах руководящих органов победа безусловно принадлежала искровцам.

После окончания съезда, рассказывал Полетаев, сторонники теперешнего «большинства» собрались отдельно. Подводили для себя итоги. Запомнилось, что Ленин говорил примерно так: наш партийный съезд был единственным в своем роде, невиданным явлением во всей истории русского революционного движения. Впервые удалось конспиративной революционной партии выйти из потемок

подполья на свет божий. Впервые нам удалось освободиться от традиций кружковщины, кружковой распущенности и революционной обывательщины в пользу единого целого — партии.

Последнее слово — *партия* — Полетаев особо выделил. И прибавил — Ленин подчеркивает главное: в России не на словах, а на деле создана революционная марксистская партия. Так мы расцениваем значение съезда.

Он отхлебнул остывшего чая — Генкина придвинула другой стакан, с горячим, — сказал, что на вопросы ответит потом, а сейчас хотел бы перейти к делам конкретным, касающимся непосредственно собравшихся здесь товарищей.

— Протоколы съезда скоро увидят свет, они печатаются за границей. Но основные резолюции секретариат успел размножить на гектографе. Среди них специальная резолюция «Об отношении к учащейся молодежи».

Переждал шумок, внятно стал читать.

Приветствуя оживление революционной самодеятельности среди учащихся, партийный съезд предлагал всем организациям партии оказать всяческое содействие этой молодежи в ее стремлениях организоваться. Рекомендовал всем организациям, группам и кружкам учащихся поставить на первый план в своей деятельности выработку среди своих членов цельного и последовательного революционного миросозерцания, серьезное ознакомление с марксизмом, с одной стороны, а с другой стороны, с русским народничеством и западноевропейским оппортунизмом, как главными течениями среди современных борющихся передовых направлений. Съезд предложил молодежным группам и кружкам стараться при переходе к практической деятельности заранее заводить связи с социал-демократическими организациями, чтобы воспользоваться их указаниями и избегать по возможности крупных ошибок в самом начале работы.



Ко Всѣмъ Рабочимъ и Работницамъ гор. Иваново-Вознесенска.
лайте 26 требованій
Ив.-Вознесенскъ гр.
Р. С.-Д. Р. П.

Кое-что в резолюции показалось Андрею знакомым, — ах да, он ведь читал это в газете «Студент». И хотя Полетаев предупредил, что на вопросы будет отвечать после, Андрей не удержался, по-школьному поднял руку — сидел он в противоположном конце стола. Полетаев кивнул, заметив.

— Скажите, а резолюция эта была предложена... товарищем Лениным?

— Да, — ответил Полетаев. И стал пояснять: в проекте был пункт второй. Там Владимир Ильич призывал остерегаться тех ложных друзей молодежи, которые отвлекают ее от серьезного революционного воспитания пустой революционной или идеалистической терминологией, филистерскими сетованиями о вреде горячей и резкой полемики между революционными и оппозиционными направлениями, указывал, что эти ложные друзья на деле распространяют только беспринципность и легкомысленное отношение к революционной работе...

Рядом с Бубновым черноволосый, с усиками, с беспокойными темными глазами студент никак не мог усидеть на месте, позвякивал в стакане ложечкой, это невыносимо раздражало. Андрей покосился, толкнул в бок. Сосед понял, утихомирился, но при этом бешено глянул на Бубнова — ну характерец!

— Против Ленина, — продолжал Полетаев, — и здесь выступил Мартов. Между прочим, — Полетаев усмехнулся, — Плеханов здорово его определил: «Мартын с балалайкой». Да, так вот Мартов заявил сначала, будто проект представляется ему совершенно неудовлетворительным. Доказательств, однако, не привел, а обрушился лишь на упоминание о ложных друзьях: дескать, терминология реакционной печати, дескать, оскорбительно для нас, социалистов, и, кроме того, съезд уже высказал свое отношение к социалистам-революционерам и либералам и незачем это повторять. Мартова поддержали Махов

и Троцкий. Тогда Ленин возразил, что формула «ложные друзья» не одними реакционерами употребляется, а такие ложные друзья есть, это именно либералы и эсеры, именно они уверяют молодежь, что ей не надо разбираться в разных течениях. Мы же, говорил Ленин, ставим главной задачей выработку цельного революционного миросозерцания... Но съезд принял поправку Мартова, — заключил Полетаев.

Вот где была настоящая, бескомпромиссная борьба, думал Андрей. Биться до конца и только в порядке партийной дисциплины подчиняться решению, с которым ты не согласен...

— Но мы, искряки, — говорил Полетаев, — твердо убеждены, что основная в этом плане практическая задача состоит в том, чтобы молодежь, организуясь, обращалась к нашим комитетам. Кстати, и наше сегодняшнее совещание созвано Московским комитетом РСДРП...

— Товарищи,— на правах хозяйки взмолилась Генкина. — Давайте проветрим комнату, накурили — сил нет!

— И то,— согласился Полетаев.— Курильщики — во двор, только не шуметь там, а двери — нараспашку.

Так и сделали. Вышла глотнуть свежего воздуха и Оля, накинула шубку, волосы — тяжелые, густые — оставались непокрытыми, в свете луны они казались литыми. Оля, видимо, сильно устала, не спустилась с крылечка, не присоединилась к разговаривающим вполголоса. И Андрею хотелось помолчать... Но не удалось — Глеб жаждал общения.

— Что это у тебя за разговор был, о какой записке?

— Да так,— Андрей уклонился. — После поговорим. Сам еще ничего не соображу толком.

— А я почему-то думал — ты с Олей давно знаком.

— А ты? — Андрей почувствовал, что ему самому хочется говорить об Ольге.

— На собраниях только. Правда, красивая?

Бубнов промолчал.

— И умница,— говорил меж тем Глеб.— Позапрошлый год окончила гимназию, сейчас — бестужевка. Нет, вру, в женском медицинском институте. У нее в Питере родственники богатые, у них живет и там целый подпольный склад литературы организовала.

Кажется, Томилин подумал, что сболтнул лишнего, предупредил:

— Смотри ни-ни, помалкивай.

— Скажите на милость, ангел-хранитель! — взорвался Андрей. — Конспиратор...

Тотчас устыдился несдержанности.

Вопросов Полетаеву задавали — не счесть. Почти все интересовались Лениным. Удивлялись: ему скоро тридцать четыре года, старик. Бауман улыбался...

Когда вопросы наконец иссякли, встал Борис Позерн, сказал, что нужно оформить зачисление в организацию новых товарищей. Правда, пояснил Борис, устав, принятый II съездом, не определяет порядка приема в члены партии, но сложилась традиция, чтобы за вновь вступающего поручился один из членов организации, а рассмотрение этого вопроса заносилось в протокол.

— Итак, приступим. Тебе слово, товарищ Глеб.

Томилин подмигнул Андрею — ну, держись! — и встал. Еще не поняв, с какой, собственно, стати речь пойдет о нем, Андрей почувствовал, что краснеет: все повернулись в его сторону. Действительно, из новичков, судя по всему, здесь он и еще вон тот, сидящий как бы на отшибе юноша.

Говорил Томилин кратко, сослался на Федора Благонравова, который, по суждению Варенцовой, отзывался о Бубнове наилучшим образом, прибавил, что сам знаком с товарищем Андреем и видит в нем человека целеустремленного, серьезного, правда не очень общительного, что, по мнению Томилина, революционеру может оказаться

помехой. Андрей слушал, словно бы речь шла и не о нем, даже фамилия Варенцовой прозвучала как-то отстраненно.

Попросили рассказать о себе, Бубнов поднялся. Хотел было заявить, что, собственно, уже работал в социал-демократической организации у себя на родине, однако передумал: зачем, ведь и в самом деле здесь-то его не знают и, кроме того, как сегодня говорили, партия по-настоящему оформилась только теперь...

Полетаев (для проверки, что ли? — с некоторой обидой подумал Бубнов) спросил, кого знает из социал-демократов Иваново-Вознесенска. Так, Афанасьева, Окулову, Варенцову, что ж, прекрасные товарищи, настоящие искряки. А вот в Петровке, сказал Полетаев, обращаясь и к Томилину, и к Андрею, у вас, товарищи, застой, брали бы пример с университета, вон с Суреном потолкуйте, он много интересного вам передаст.

Смуглый, тот, что с усиками, заулыбался, видимо, это и был Сурен.

Приняли Андрея единогласно.

Когда закончили совещание, Полетаев сам подошел к Андрею.

— По-настоящему зовут меня Николай Эрнестович Бауман, — сказал он. — Прошу зайти ко мне, поговорим обстоятельно. Послезавтра вас устраивает? Вот и хорошо. И очень советую, встречайтесь почаще с Суреном Спандаряном. Только...— Бауман засмеялся,— только вот вас Глеб попрекнул излишней сдержанностью. А Сурен — тот как раз напротив, чрезмерно горяч. Так-то, дорогой коллега. Во всем нужна мера...

10

Им оказалось по дороге — Андрею, Глебу, Ольге: Генкина сняла номер возле Савеловского.

Пурга утихомирилась, расстелила податливый, нехрусткий снежок. Вдоль Новослободской горели редкие фона-

ри, а в домах огни почти всюду погасли. Топтался на углу в неуклюжих валенках битюг городовой. Он томился от скуки, от собственной здесь ненужности и, когда с ним поравнялись, сказал — лишь бы поговорить с живым человеком:

— Поздненько прогуливаетесь, господа.

— А что, нельзя? — озорничая, спросила Оля.

— Нет, отчего же. Только, бывает, балуют у нас. Вам-то, барышня, однако, опасаться нечего, ишь какие кавалеры — что Ильи Муромцы.

Андрею это польстило: росту он приличного, без самой малости два с половиною аршина, и плечист, но богатырем еще никто не называл.

— Гуляйте, гуляйте, покуда молоды, — напутствовал городовой.

— «Или покуда вас не заграбастали», — передразнил-продолжил Глеб, когда отошли. Он все-таки любил подчеркнуть свое *революционерство*, Андрей и прежде замечал, и теперь. Но и сам не удержался, Ольгу спросил «по-партийному»:

— Товарищ Соня, а вы в Москве надолго задержитесь?

«Товарищ Соня» — как звучало! Никогда еще к девушкам-ровесницам не обращался так.

— Нет, товарищ Андрей, — ответила она, слегка подчеркнув «товарищ» — пускай потешится мальчик, она именно так и воспринимала его: мальчишка совсем. Себе Ольга (на год старше) казалась вполне взрослой, умудренной. — Завтра кое-что сделаю — и в Питер. — И, тоже тешась «нелегальщиной», прибавила: — И мама, и папа у меня здесь живут, в Москве, а не знают, что я приезжала. Нельзя было к ним показываться...

Опять начал падать снег — медленный, пахнущий арбузом, почти синий, почти мокрый. Оля выдернула руки из муфточки, слепила комок, размахнулась по-мальчишески, запустила в фонарный столб, засмеялась, сказала:

— Я слышала или читала где-то: когда Маркс и Энгельс возвращались с того собрания, где провозгласили Первый Интернационал, Карл Маркс бежал вприпрыжку, а ему было тогда сорок шесть лет. Подумать только, сорок шесть лет, а озорничал.

— А мы чем хуже? — заорал Андрей и закатил снежком в фонарь, промахнулся.

Было весело и легко. И с этой легкостью, удивляясь, как запросто выговаривает имя Генкиной, Андрей спросил:

— Оля, о чем все-таки шла речь в той записке? Ну, в той, которую я вам летом принес. Если и сейчас не секрет, конечно...

— Сейчас — не секрет, — сказала она. — Помните, какая самая знаменитая картина у Саврасова?

— «Грачи прилетели», — поторопился блеснуть Глеб, он явно соперничал с товарищем.

— Верно. А у Баумана одна из партийных кличек — Грач. Значит, в записке было сказано, что Бауман прибыл в Женеву, вот и все.

— Так просто, — сказал Андрей разочарованно. — А я-то думал...

— И не так уж просто, — ответила Ольга.

Где-то неподалеку прогудел паровоз, обнаружились электрические огни вокзала. Промелькнул на полозьях лихач.

— А вот и мое пристанище, — сказала Ольга, останавливаясь возле каменного, в два этажа, насупленного дома.

А вот и... все, подумал Андрей, сейчас она уйдет — и все. Если бы он умел целовать женщинам руку, он бы поцеловал. Но Андрей этого не умел. Кроме того, вычитал однажды, что девушкам не принято целовать руку, только замужним дамам.

Оля Генкина была не барышня и не дама, она была партийный товарищ, она протянула руку сперва Глебу,

потом Андрею. И Бубнов задержал эту согретую муфточкой, нежную, маленькую руку, задержал чуть-чуть, на какие-то секунды.

«Нет больше милой, хорошей Ольги Генкиной, нет больше одного из товарищей по партии. 16 ноября на станции Иваново, Моск.-Яросл. жел. дор., она была растерзана толпой подкупленных полицией черносотенцев... Вот она, молодая, бесстрашная, полная силы и энергии, перевозит из города в город оружие для революционеров. Ничего не подозревая, она оставляет на станции свой чемодан, а сама идет в город... Чемодан наполнен револьверами, и жандармы в ее отсутствие уже узнали это... Вот она, в ужасе и страхе, вместе со своей подругой вбегает в здание вокзала, преследуемая обезумевшей от ярости и вина толпой натравленных на нее полицией черносотенцев. Страшный крик: «Смерть, смерть жидовке!» — потрясает воздух. Пьяные зверские лица, сжатые кулаки, дикий рев — вот что стоит за ее спиной, — а впереди немые, официальные лица жандармов... Когда несчастная девушка в ужасе искала спасения в бегстве, жандармы схватили ее и вытолкнули озверевшей толпе. На подъезде станции приезжая девушка... в один миг была растерзана озверевшей толпой».

Ленинская газета «Новая жизнь», № 21, ноябрь 1905 года

Олю убили утром.

Андрея выпустили из тюрьмы тоже шестнадцатого ноября, в полдень.

До гибели Оли Генкиной оставалось еще почти два года. Сейчас они прощались возле дешевеньких номеров у Савеловского вокзала и не знали, что видят друг друга в последний раз...

Глава четвертая

1

Двухэтажный неоштукатуренный дом. Стекла узких окон немытые, стены закопченные, на лестнице пахло кошками, тряпьем, кислятиной. Дверь, в которую постучался Андрей, от прочих не отличалась.

Открыл сам Бауман. Одет опять щеголевато. Позже Андрей подметит: многие революционеры из интеллигентов, если не скрывались в глубочайшем подполье, не считали нужным подвергать себя некой мимикрии «под рабочих», а носили обычную, им свойственную одежду. Быть может, в качестве своего рода антитезы маскараду народников. Или не желая даже в этом заигрывать с массами. Или потому, что их в большинстве своем отличала *естественность* поведения. Наверное, по этим самым причинам.

Бауман узнал Бубнова сразу и, не тратя слов, провел темным коридорчиком в дальнюю комнату. И она, хоть и была «резиденцией» Московского комитета, ничем не отличалась от жилой средней руки: за ширмой — кровать, круглый обеденный стол завален бумагами, журналами, на подоконнике геранька. Лишь телефонный аппарат Эриксона выглядел тут неожиданно и как-то неуместно. «Здесь и обитаю», — мимоходом пояснил Бауман, пригласил садиться, предупредил, что через полчаса должен уйти, предложил сразу рассказать о делах в Петровке.

— Дела как сажа бела, — отважился пошутить Андрей. — Стоячее болото. Пытались с Томилиным сколотить хоть небольшой кружок — не получается, публика на удивление инертная, политикой большинство демонстративно пренебрегает, а те, кто ею хоть малость интересуется,— те по взглядам своим типичные либералы. Сочинили некий афоризм: дескать, студенчество делится на революционеров и созидателей, первые — за то, чтобы

разрушать, вторые — чтоб строить, вот мы, будущие инженеры и агрономы, призваны строить, созидать, а не разрушать. В общем, оправдывают инертность, как могут.

— Вот-вот, — подхватил Бауман. — А известно ли вам, дорогой товарищ, что господа либералы сейчас весьма оживились, даже организовали нелегальный «Союз освобождения» (тоже мне подпольщики!), — а кроме того, строчат государю-батюшке покорнейшие прошения, жаждут «спокойных преобразований» сверху, лишь бы не революция? А то, что в Петровке эти либералистские настроения сильны, так это, наверное, легко объяснить. Много ли в числе ваших студентов детей рабочих, крестьян? Считанные единицы? Вот-вот. Ну понятно, ведь не зря правительство старалось, разгоняя академию. Мы в комитете всерьез обсуждаем вопрос о создании социал-демократической организации всех высших учебных заведений Москвы, это, кажется, пока единственно правильный и доступный путь, поскольку студенческие марксистские кружки там, где они существуют, слабы и оторваны от практических задач революции, им требуется единое руководство. Что думает по этому поводу товарищ Андрей?

Товарищ Андрей по этому поводу ничего не думал, и, не дождавшись прямого ответа, Бауман продолжал:

— И в Питере созданием такой организации занимаются. Цель двоякая: надо, чтоб студенты шли в рабочие кружки, там весьма и весьма требуются образованные пропагандисты. С другой стороны, и студентам общение с рабочими пойдет на пользу. На первых порах, вероятно, будет нелегко установить взаимоотношения, многие фабрично-заводские не очень-то доверяют нам, пришедшим «со стороны». Надо уметь завоевать авторитет — не дешевым заигрыванием, но точным пониманием нужд и запросов рабочей массы, надо овладеть искусством пропаганды и агитации, притом сперва у себя, в стенах учебного заведения: рабочий кружок — не репетиционная

сцена, туда нельзя заявиться неподготовленным. А поторапливаться, поторапливаться нам надобно: революция близка...

2

То, что Россия беременна революцией, понимали не одни социал-демократы, это понимали также и прогрессивно настроенные интеллигенты, это, судя по всему, понимало и правительство.

«Для поддержания порядка и спокойствия необходим престиж государства в его международной жизни», — читал Андрей в «Новом времени», газете, издаваемой Сувориным и весьма близкой, всем известно, к правящим кругам. Ничего себе фразочка, думал Андрей, наводит на размышления. Открыто признают, что нет ни порядка, ни спокойствия, — это раз. И видят выход в том, чтобы укрепить авторитет государства на международной арене...

По слухам, вполне подтвержденным, министр внутренних дел Вячеслав Константинович Плеве доверительно сказал своему коллеге, министру военному, генералу от инфантерии Куропаткину Алексею Николаевичу: «Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война».

Столь желанную войну начала Япония 27 января 1904 года, атаковав русскую эскадру на внешнем рейде Порт-Артура.

3

Директор Московского сельскохозяйственного института Константин Александрович Рачинский, еще недавно профессор университета, слыл среди коллег либералом. Дворянский этот род, восходивший к XIII веку, издавна отличался вольнодумством, немало было среди Рачинских

если не знаменитых, то, во всяком случае, людей известных. Константин Александрович гордился и предками, и родственниками своими, и собственным высоким чином действительного тайного советника (второй чин в табели о рангах), и тем еще, что дочь его сделал избранницею сердца Сергей Львович Толстой, сын величайшего писателя. Граф Лев Николаевич неоднократно бывал в доме Рачинского. Вместе читали они определение святейшего синода:

«Известный всему миру писатель, русский по рождению, православный по крещению и воспитанию своему, граф Толстой, в прельщении гордого ума своего, дерзко восстал на Господа и на Христа его, и на святое Его достояние, явно перед всеми отрекшись от вскормившей и воспитавшей его Матери, церкви православной, и посвятил свою литературную деятельность и данный ему от Бога талант на распространение в народе учений противных Христу и церкви, и на истребление в умах и сердцах людей веры отеческой, веры православной, которая утвердила вселенную, которою жили и спасались наши предки и которою доселе держалась и крепка была Русь святая. В своих сочинениях и письмах, во множестве рассеваемых им и его учениками по всему свету, в особенности же в пределах дорогого отечества нашего, он проповедует, с ревностью фанатика, ниспровержение всех догматов православной церкви и самой сущности веры христианской: отвергает личного живого Бога, в Святой Троице славимого, Создателя и Промыслителя вселенной; отрицает Господа Иисуса Христа — Бого-человека, Искупителя и Спасителя мира, пострадавшего нас ради человеков и нашего ради спасения и воскресшего из мертвых; отрицает бессеменное зачатие по человечеству Христа Господа и девство до рождества и по рождестве Пречистой Богородицы Приснодевы Марии, не признает загробной жизни и мздовоздания, отвергает все таинства церкви

и благодатное в них действие Святого Духа и, ругаясь над самыми священными предметами веры православного народа, не содрогнулся подвергнуть глумлению величайшее из таинств, святую Евхаристию...» И далее: «...церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею».

Читали это вместе в Ясной Поляне, а точнее, сам граф оглашал — нараспев, подражая поповской манере, Рачинский и дивился спокойствию Льва Николаевича, и притом чувствовал себя соучастником вольномыслия и собою весьма гордился.

Февральским хмурым утром Константин Александрович из казенной квартиры внутренним переходом проследовал в служебный кабинет. Был директор облачен в вицмундир, — при либерализме своем полагал он необходимым соблюдать дисциплинарные правила: уж коли студентам предписано являться повсеместно в форменной одежде, то и он, глава учебного заведения, обязан являть пример, достойный подражания. Был, как всегда, без подчеркивания любезен с молодым чиновником в приемной. Сказал что-то о погоде. И, по обыкновению, велел нести бумаги на доклад. Мог и не велеть: бумаги приготавливались заранее, уложенные в кожаную, с инициалами, папку.

Едва успел он расположиться в удобном кресле, окинуть взором стол — все ли на местах, не сдвинуто ли хоть на вершок, — ретивый чиновник, почтительный и подобострастный (Рачинский его не любил, числя себя в либералах), подавал его высокопревосходительству документы, заранее раскрыв папку.

И первое, что увидел директор, — напечатанное типографически: «Российская социал-демократическая рабочая партия. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! К РУССКОМУ ПРОЛЕТАРИАТУ».

Оттиснуто на приличной бумаге, выглядело оттого еще более непристойно и нагло, как если бы мужик обрядился в смокинг и цилиндр. Действительный тайный советник Рачинский был, конечно, либерал, но не до такой же степени, чтобы сочувствовать этим самым социал-демократам, цареубийцам, бунтовщикам, разрушителям.

— Откуда? — кратко спросил он.

— Обнаружено господином инспектором при утреннем обходе аудиторий, числом четыре штуки. Но есть основания беспокоиться, что было изрядно больше, ибо к тому моменту в корпусе уже собрались господа студенты и прокламации могли разойтись по рукам, — затверженно-четко и в то же время с оттенком виноватости, будто сам крамолу распространял, доложил чиновник. Он был весь вымытый земляничным мылом, благоухал фиксатуаром; директор поморщился, на чиновнике сорвал раздражение:

— Просил бы впредь... не издавать запахи подобно... подобно женщине поведения, извините, не слишком твердого...

— Слушаю-с, ваше высоко...

— Не смею задерживать, — оборвал Рачинский.

Надел очки.

«Война началась. Японцы успели уже нанести русским войскам ряд поражений, и теперь царское правительство напрягает все силы, чтобы отмстить за эти поражения. Мобилизуются один за другим военные округа, десятки тысяч солдат спешно отправляются на Дальний Восток, за границей делаются отчаянные усилия заключить новый заем, подрядчикам обещают премию по нескольку тысяч рублей в день за ускорение работ, необходимых для военного ведомства. Все силы народа подвергаются величайшему напряжению, ибо борьба начата нешуточная, борьба с 50-миллионным народом, который превосходно вооружен, превосходно подготовлен к войне...»

Да, это верно, это как раз так, подумал Рачинский.

Генерального штаба полковник Федор Корсаков, сын гимназического сотоварища, о том рассказывал недавно за обеденным столом, при своих. Даже соотношение сил излагал — получалось в пользу Японии.

Слова пробежал заголовок-обращение, весьма неприятное, — эти эсдеки, эти пролетарии! — но текст, но текст весьма недурен, умеют обратиться вразумительно. И он продолжил чтение:

«Интересы алчной буржуазии, интересы капитала, готового продать и разорить свою родину в погоне за прибылью, — вот что вызвало эту преступную войну, несущую неисчислимые бедствия рабочему народу... И в ответ на бешеные военные клики, в ответ на «патриотические» манифестации холопов денежного мешка и лакеев полицейской нагайки сознательный социал-демократический пролетариат должен выступить с удесятеренной энергией с требованием: «Долой самодержавие!», «Пусть будет созвано народное учредительное собрание!»»

М-да. Неглуп, весьма и весьма неглуп человек, который составлял прокламацию. Это вам не листовочка, сработанная Петром Бернгардовичем Струве. Грубоватая у вас была работа, почтеннейший Петр Бернгардович, и не вам бы, господин профессор, такое сочинять. Уж мы-то с вами, интеллигенты российские, знаем, кто есть «патриоты-манифестаторы», лабазники всякие, мясники, дворники. А вы к ним примкнуть зовете студентов, рекомендуете «не спорить, а дружно работать во имя общенародного дела». Студентов породнить с быдлом — это ли прилично, Петр Бернгардович? И пристойно ли профессору вмешиваться в политику?

На солидных, с тяжелыми гирями, напольных часах значилось девять без пяти, до начала академических занятий оставался пустяк. Директор прикоснулся к электрической — новомодное изобретение — кнопке. Сейчас он распорядится пригласить в актовый зал всех студентов,

да и господ профессоров тоже. Конечно, он, Константин Александрович Рачинский, и сам противник бессмысленной войны. Однако призывать к ниспровержению законной власти — это уж слишком. Где-где, а в России, в темной, варварской стране, без кнута никак не обойтись. В России у нас не приведи господь народу позволить самоутверждение и свободу: он такого натворит...

Без стука, с неприличною торопливостью возник чиновник из приемной.

— Ваше высокопре...

— Что? — перебил директор, удивленный столь поспешным, бестактным вторжением.

— Студенты... митингуют... в актовом... Прикажете полицию?

— Глупости,— отрезал Рачинский.— Ступайте на свое место и не тряситесь, как барышня перед сватами.

4

Государь император Николай Александрович возвышался величественно и грозно. Те, кому доводилось видеть его, знали, что самодержец всероссийский росту ниже среднего и сложением хиловат, но вот здесь, на портрете, изобразил его живописец вдвое больше натуральной величины, таким, каким и надлежало выглядеть помазаннику божию, — внушительным и авантажным. Рядом с величавым «хозяином земли русской» совсем невзрачным и маленьким казался студент, читавший прокламацию.

— «Кто сеет ветер, тот пожнет бурю!

Да здравствует братское единение пролетариев всех стран, борющихся за полное освобождение от ярма международного капитала!.. Долой разбойническое и позорное царское самодержавие!»

Студент спрыгнул с возвышения.

Разом заговорили все. Кто-то затряс председательским

колокольчиком,— впервые этот колокольчик взял не господин директор, а студент, фамилии его Рачинский не мог вспомнить. Самого же господина директора никто не замечал, он, как опоздавший мальчишка, томился у входа, за колонной. Позиция унизительная: получалось, что его высокопревосходительство подслушивает и подглядывает.

Кое-как установили наконец порядок, и на кафедру легко взошел изящный, светловолосый, с вольно раскинутыми бровями юноша, Турчанинов. Третий курс инженерного отделения. Из хорошей семьи, машинально констатировал Рачинский.

— Коллеги, — ничуть не горячась, ровно, как на занятиях, заговорил Турчанинов. — Решительно понять не могу, какое отношение к нам имеет эта прокламация. Она адресуется русскому пролетариату. Пусть же пролетариат и митингует. Я не думаю, чтобы на фабриках обсуждались дела и заботы студентов.

Логично, подумал директор. И отметил: в зале не возникло ни шума, ни реплик. Поаплодировали.

Появился другой оратор.

— Если вдуматься, да, вдуматься, то выходит, да, выходит... именно...

— Коллега, ближе к делу!

— Мы вдумались, где ваши мысли?

Нет, пока достаточно благопристойно.

Того, кто стоял сейчас за кафедрой, трудно было смутить. И его помнил директор: Малышев, второкурсник, тугодум, упрямец, умеет постоять на своем, ораторскими талантами бог обделил.

— Именно, выходит так, что, если вдуматься, прокламация эта... того... зовет к поражению в войне. Именно. Как же так, господа? К поражению! Нет, я... того... не согласен...

— Если вдуматься! — выкрикнул кто-то.

— Именно! — подхватили с другой стороны.

Мальчишеское озорство, не более. А речи вполне достойные.

И третий порадовал господина директора, пускай и был не в меру театрален: обернулся к портрету государя, стал декламировать:

— Ваше Императорское Величество! В эти трудные для отечества дни мы, студенты...

— Дурак, — отчетливо сказали где-то в средних рядах. Рачинский поморщился: должно быть, и в самом деле глуп, но этикет, традиционная респектабельность новой Петровки...

— Позор!

— Кому?

— Да вот этому олуху царя... небесного!

Сие приобретало уже характер непристойный, однако действительный тайный советник удержался от вмешательства, почел за благо удержаться, не обнаруживать своего присутствия. Разумеется, объявись он — сходка утихла бы и он прекрасным — знал, что прекрасным, — великолепно поставленным, профессорским голосом, с ноткою отеческого увещевания и с дозволенною толикой вольномыслия вразумил бы питомцев своих, но Рачинский почел за благо вслушаться и далее: надо же знать настрой ума вверенных его попечению воспитанников.

— ...Мы, студенты, — продолжал «верноподданный» как ни в чем не бывало, — нижайше заверяем Вас, Государь, в своей беспредельной преданности Престолу и Отечеству...

Он ухитрился так говорить, что прописные буквы в титулах слышались вполне определенно.

— Слушай, получается балаган, — шепнул Андрей (это он обозвал выступавшего олухом царя небесного и, непривычно возбужденный, не мог сейчас усидеть в кресле). — Глеб, какого черта мы старались, разбрасывали прокламацию? Надо мне или тебе выходить на сцену.

— Рискованно, — сказал Томилин. — Наверняка донесут. В лучшем случае из института выдворят. А в худшем — сам понимаешь...

— А для чего мы с тобой в партию вступали? Чтобы тайком книжки почитывать и мечтать о революции?

Говорили друг другу на ухо, но сосед повернулся, шикнул.

На кафедре тем временем объявился... Виктор Прокофьев.

— Видишь? — шепнул Андрей. — Витя и тот нас опередил.

— Может, и к лучшему.

Андрей понял, что хотел сказать Глеб: Прокофьев не член партии, не активист. Если даже его исключат... Андрей согласился с Томилиным и устыдился за Глеба и за себя: получается, чужими руками жар загребаем, других бросаем на заклание, а сами отсиживаемся втихомолку. Нет, следом за Виктором выйдет он, Андрей.

— По своим убеждениям я социал-демократ, — объявил Прокофьев.

— Да ну!

— Гляди, какой храбрый!

— Слушайте, слушайте! — Это крикнули явно в подражание английскому парламенту.

Послушаем, подумал Рачинский. Не помню его фамилии, совсем не помню. Впрочем, личность приметная, узнать будет легко.

Вот уж кто воистину дурак так дурак, подумал Андрей, ради чего вылез, какого черта свое «социал-демократство» афиширует, и какой он социал-демократ!

— Да, и я не скрываю этого, — запальчиво говорил Виктор. — Ибо уверен, что будущее России принадлежит тем, кто стал под знамена социал-демократии.

Болтун окаянный, подумал Андрей, и прав был Глеб, когда опасался его длинного языка.

Надобно отчислять, решил Рачинский. Неумен, кажется, но тем лучше: прочим урок, а институт ничего не потеряет. Сегодня же распоряжусь.

— Да! — восклицал Виктор. — Однако приверженность моя к передовым идеям не только не лишает меня права, напротив, обязывает выразить свое несогласие с позицией Центрального Комитета РСДРП...

Гм, подумал Рачинский. Любопытные зигзаги у молодого человека. Послушаем, что дальше.

— Известно, что наше отечество подверглось вероломному нападению япошек...

Фу, поморщился директор, как не стыдно (ведь не солдатская среда) унижаться до такой пошлости!

— Нам ли, русским, не помнить, как сражались наши пращуры с Наполеоном, наши деды — в Крымскую кампанию! Искони русский народ умел оборонять себя от врагов, колотить их дубиной подлинной народной войны...

— Демагог! — бросил Андрей.

Виктор, конечно, голос узнал, но все-таки не посмотрел в сторону Бубнова, совести хватило.

— А это, по-вашему, не демагогия — прямо связывать ведение патриотической, народной войны со свержением правительства? Самая нелепая связь. В годину опасности лишь единство народа и власти является главным средством одоления врага...

Конечно же, подумал директор, ни о каком отчислении речи быть не может, весьма удобный юноша, весьма. Побольше бы таких «социал-демократов». Он мысленно поставил кавычки и остался доволен собою, Константин Александрович Рачинский, уж он-то умеет и в силу возраста своего, и причастности политическому движению с вполне либеральных, единственно правильных позиций разобраться, что к чему. Если не считать нескольких выкриков, оправдываемых молодостью, они вели себя достаточно благопристойно, двести юношей, вверенных его

попечению, и то, что произносили с кафедры, никак не свидетельствовало о крамольных намерениях. Господин директор успокоился окончательно.

— Не надо, — шепнул или, кажется, достаточно громко сказал Глеб и потянул Бубнова за полу мундира, но Андрей отмахнулся.

Впервые он стоял за кафедрою актового зала и впервые в жизни говорил перед аудиторией в две сотни человек. Но странное дело — не волновался, обрел вдруг спокойную уверенность в себе. И в дальнейшем останется у него это свойство — обретать и спокойствие, и четкость мысли, как только появлялся перед собранием многих.

— Не так давно за границей состоялся Второй съезд Российской социал-демократической рабочей партии. Среди его решений — резолюция об учащейся молодежи...

— Откуда вам это известно, коллега?

Турчанинов — сразу догадался Андрей.

— Во всяком случае, не от гувернантки!

Засмеялись: удар без промаха. Турчанинов подкатывал к институту в собственном «выезде». И весь он, Турчанинов, вылощенный, изысканный, — так и казалось, будто за ним следует по пятам благовоспитаннейшая, вышколенная бонна.

— Помните ли вы, коллеги, прекрасные стихи Якова Полонского: «Писатель, если только он волна, а океан — Россия, не может быть не возмущен, когда возмущена стихия. Писатель, если только он есть нерв великого народа, не может быть не поражен, когда поражена свобода»? Мы, разумеется, не писатели, но слова эти могут быть отнесены и ко всей интеллигенции, а мы имеем честь принадлежать к ней. И еще напомню: «Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвленна стала». Мало кто помнит сейчас эту фразу, — книга великого Радищева подверглась казни и, возможно, так и не будет сызнова напечатана, пока властителем страны

не станет освобожденный трудовой народ, но книга эта жива, и живы мысли ее, и достойно ли человека, истинного человека, передового, образованного, не следовать примеру чистейшего, самоотверженнейшего Радищева? Смеем ли мы проходить мимо людских страданий, мимо несправедливостей, мириться с угнетением? Россия наша ввергнута в войну, неправедную войну, империалистскую, и ввергнута не одной Японией, пускай формальное нападение — с ее стороны, но ввергнута страна и...

В зале произошло шевеление, Андрей увидел директора, тот стоял за колонной, затаясь, как шпик. Все... «Что ж, терять нечего, буду говорить до конца», — решил Бубнов.

— Но ввергнута в эту бойню страна и царским правительством, государем, которому только что усердно молились некоторые наши соученики, — простите, не хочу называть их коллегами. Кому нужна эта война? Рабочему, крестьянину? Солдату (он ведь тоже рабочий или крестьянин)? Или нам с вами, коллеги, нужна эта война? Правильно говорится в листовке, я наизусть помню, что «интересы алчной буржуазии, интересы капитала, готового продать и разорить свою родину в погоне за прибылью,— вот что вызвало эту преступную войну, несущую неисчислимые бедствия рабочему народу...».

— Наизусть запомнили? Любопытно-с...

— Да, господин Турчанинов, запомнил. Потому что оценка эта имеет и к нам прямое отношение, мы тоже частица своего народа, и бедствия народа...

— Хватит! Довольно! — Турчанинов вскочил. — Довольно, господин — как вас там? — Бубнов!

Ясно, запомним: Бубнов, впервые вижу, отметил директор.

Они смотрели друг на друга — студент-первокурсник из мещанского сословия и действительный тайный советник, второй чин в государстве, — и юноша не опустил

глаз, не сбежал с кафедры, выдержал прямой взгляд начальства. Нет, подумал Рачинский, вот его-то не стану отчислять. Прямодушен, смел, исповедует принципы. Пускай сейчас говорит нечто несусветное, — ну и что, все равно нет от пропагаторства (он по старинке употребил это слово), — от пропагаторства такого все равно проку нет, и за ним не пойдут. А сам этот юноша не раз переменит взгляды, молод еще. Из него, вполне допустимо, вырастет и достойная личность: смел, открыт, лишен ханжества.

Укрываться за колонною дальше не имело смысла: студент Бубнов его заметил. Рачинский, твердо ступая, двинулся по широкому проходу меж кресел. Студенты вставали.

5

— Иди, иди под знамена, иди, Аника-воин! За царя, за родину, за веру! Торопись, там тебя только и не хватало!

— И пойду, если понадобится. А ты — не пойдешь? Руку себе отрубишь? Глаз выколешь? Дезертируешь?

— Не отрублю. Не выколю. Не дезертирую, не беспокойся. Мобилизуют, — значит, мобилизуют. Буду вести пропаганду среди солдат.

— Какую же? Штык в землю?

Натыкаясь на углы мебели, Андрей шагал по комнате. Виктор сидел на своей койке, сцепив пальцы. Он себя ощущал явно правым и показывал это всем видом. Глеб оседлал стул и курил.

— Под япошками хочешь жить? — огрызался Виктор.

— Послушай, — взвился Андрей. — Не совестно? Давай тогда и дальше: полячишки, армяшки, жиды... Неужели не понимаешь, что самое отвратительное — глумиться над национальностью человека? Ладно, война. Ладно, противники. Но почему же «япошки»?

— Потому, — Виктор злобился. — Япошки. Обезьяны косоглазые.

— В таком духе спорить не собираюсь, — сказал Андрей. — Жить «под японцами» я не хочу. Но разговаривать в таком тоне я не намерен, уволь.

— Однако, Андрей, ситуация складывается непростая, — вмешался наконец Томилин. — Война, конечно, с обеих сторон грабительская, это верно. И в то же время: а если Япония нас одолеет? Вместо «белого надежи-царя» получим микадо?

— Помилуй, Глеб! Сколько в Японии населения?

— Не считал, признаться.

— И я не считал, но читал. Пятьдесят миллионов. А у нас почти сто пятьдесят. Втрое больше. Как полагаешь, может ли малая держава покорить великую? Кусок оттяпать может, допустим.

— И на этом куске русские люди живут, — вставил Виктор. — Тебе их не жалко?

— Жалко, жалко, — отвечал Андрей. — Но я уверен, что в листовке говорится правильно: если правительство потерпит поражение — революция неизбежна. Значит, основная масса народа получит наконец все, о чем...

— Выходит, по-твоему, что для победы революции необходима война?

— Оставь, пожалуйста, Виктор, не переиначивай. Не меняй местами причину и следствие. Но что война, вернее, поражение в ней ускорит революцию — это несомненно. Народ не дурак. Он у нас темен, забит, но уж никак не глуп. И русский рабочий, крестьянин все поймет, во всем разберется, если мы поможем ему раскрыть глаза...

— Кто это мы? Уж не ты ли? — Виктор явно не мог найти аргументов по существу, пытался теперь лишь уколоть Андрея.

— В том числе и я, — сказал Андрей.

После сходки, на следующее утро, Бубнова — прямо с лекции — вызвали к директору. Андрей не испытал ничего, кроме облегчения. Хорошо, что так быстро, сразу. Неопределенностей он больше всего не любил. Как говорится, назвался груздем...

Но встретил Бубнов совсем не то, к чему приготовился.

Всегда важный, величаво-сдержанный, замкнуто-строгий, как и полагалось по чину и должности, Рачинский умел, когда надо, — а когда именно надо, понимал он отлично — держаться с тою особой обходительностью, при которой, соблюдая дистанцию и не допуская фамильярности, мог в то же время проявить и отеческую, ласково-снисходительную доброту, и едва ли не товарищескую откровенность — качества, всегда располагающие и предполагающие ответную прямоту и доверительность.

Правда, директор прикидывал и другой возможный ход: обрушиться с высоты своего величия, накричать, пригрозить волчьим билетом, забриванием в солдаты, всякими земными и небесными карами. Но бурбонско-солдафонские штучки и внешние эффекты подобного толка ему претили. Да и не таков, кажется, этот Бубнов, чтобы напугать его начальственным громоизвержением. Поэтому Рачинский отверг этот вариант, бесполезный и неприятный, и, с удовольствием отметив спокойствие студента, пригласил усаживаться, осведомился об имени-отчестве, предложил обращаться без титулования, также по имени-отчеству, и, создав таким манером обстановку взаимного, как он полагал, доверия и благорасположения, произнес:

— Так вот, Андрей Сергеевич, вы прекрасно понимаете, конечно, что вашей речи предостаточно для отчисления из стен государственного высшего учебного заведения.

— Вполне согласен, — не добавив никакого обращения, сказал Андрей.

— Рад такой откровенности. Но вот какая, изволите видеть, история. Отчислять вас, Андрей Сергеевич, я никак не намерен. В науках вы преуспеваете, характера, насколько могу судить, твердого, мыслить умеете. Что касается ваших убеждений, то простите меня, старика, но смею полагать, что они суть не убеждения, а заблуждения, свойственные молодости.

Вступить в спор? А проку что? Соглашаться? Значит, покривить душой.

— Премного благодарен, ваше высокопревосходительство, — сказал Андрей неопределенно.

— По-отечески вам советую, Андрей Сергеевич, воздержитесь от публичных выступлений, от прокламирования всяческого, — сказал директор.

— Благодарен за совет, Константин Александрович...

6

Навестила маменька. После унылой кухмистерской пищи домашняя снедь показалась невиданно вкусной. Уплетали вдвоем с Глебом — рассорившись с Прокофьевым, поменялись комнатами, — маменька радовалась, глядя, как они управляются с едою и не устают нахваливать.

Дома все оказалось в порядке — об этом, впрочем, Андрей знал, поскольку отец писал аккуратно, раз в две недели, — но маменьке хотелось и самой поведать о семейном благополучии. А вот в городе, рассказывала Анна Николаевна, порядка и нету. Бунтовали на заводе Калашникова литейщики, у Бакулина — прядильщики. И у Гарелина беспокойно. Маменька повествовала со вздохами, сын помалкивал.

Андрей показывал маменьке институт, гуляли в парке. Снег сошел, ветки зеленовато сквозили, вот-вот проклюнутся почки. Анна Николаевна всем осталась довольна, жалела, что не погостит дольше, но ведь без нее дом — сирота.

7

Господин Рачинский был себе не враг. Поэтому когда к нему прибыл — не приглашать же в полицию действительного тайного советника, полного генерала — советник коллежский, полковник, прибыл для выяснения обстоятельств сходки, Константин Александрович повел себя достойно и умно. Проявил хозяйскую любезность. Однако из-за письменного стола в кресло визави не переместился, тем самым воздвигнув некую преграду и определенную установив дистанцию.

Коллежский советник тоже не сплоховал, тертый калач, служба научила дипломатничать. Цель визита раскрыл не вдруг, а похвалил окрестные пейзажи, опрятность аллей и благовидность зданий, осведомился учтиво о здравии многоуважаемого собеседника, супруги, деток (о существовании коих понятия не имел) и лишь потом, посетовав, как водится во все времена, на теперешнюю молодежь, приступил к главному (а директор с первой минуты догадался, для какой надобности явился полицейский чин).

— Сведения имеем, многоуважаемый Константин Александрович, — заговорил он уже с некоторой ноткой официальности, — что ваши, так позвольте обозначить, питомцы тут сходочку устроили, нелегальную литературу почитывают.

— Пустое, — ответствовал директор. — Люди и впрямь горячие, молодые, подвернулась ненароком прокламация какая-то, прочитали, поговорили — сколько голов, столько и умов — да и разошлись с миром. Я сам при том присутствовал.

Нет, его высокопревосходительство был себе не враг и сор из избы твердо решил не выносить.

— Ах, если вы самолично... Это меняет дело, — советник поулыбался. — И молодые, горячие, справедливо изволили заметить. Прошу извинить за беспокойство. Я, соб-

ственно, так, попутно к вам завернул, прогуливаясь в окрестностях.

Уже вставая, полицейский спросил:

— А, к слову, кто же на этой сходочке высказывался?

Это уж было слишком, и Рачинский мигом обратился в того, кем и был на самом деле, — в «полного» генерала.

— Милостивый государь, — молвил он, тоже вставая, но вставая не из вежливости, а ради возвышения над сыщиком. — Ми-лос-ти-вый го-су-дарь. Покорнейше прошу извинить, однако филером у вас не имею чести состоять и доносителем быть никак не намерен.

— Помилуй бог, ваше высокопревосходительство, не так меня изволили понять. Я ведь к слову, к слову-с. Позвольте откланяться?

И Рачинский протянул руку, но к дверям не проводил.

А коллежский советник, миновав приемную, выругался в коридоре,— тоже, дескать, птица, генерал над двумя сотнями сопляков! — но по большому счету огорченным себя не признал. Фамилии ораторов у него имелись.

Выдал Виктор Прокофьев. Не за деньги, боже упаси. Из трусости: сам сдуру, красного словца ради, причислил себя к социал-демократам и тотчас испугался — донесут. И решил неведомого доносчика опередить. Поскольку, за исключением Бубнова, в крамольных мыслях и намерениях никого нельзя было обвинить, на заметку охранное отделение взяло двоих: Бубнова (за ним теперь глаз да глаз) и самого Прокофьева (вполне может пригодиться и впредь).

И заработала хорошо отлаженная, хорошо смазанная, всегда исправная канцелярская машина.

8

Записка из Иваново-Вознесенска была коротенькой, в ней сообщалось, что «Семен Семенович» выздоравливает, однако нервен, и весьма. Очень скучает о племянни-

ке, вот почему приезд Андрея был бы желателен, и по возможности скорее. И, видимо, происходит нечто важное, коли его, Андрея, срочно требуют в Иваново-Вознесенск...

Переводных экзаменов было всего три, Андрей испросил позволения сдать экзамены тотчас же, не дожидаясь июньской сессии, две ночи не спал и за день с экзаменами разделался, чем и удивил, и порадовал господ профессоров. И тем же вечером, двадцать четвертого апреля, отбыл в Иваново-Вознесенск.

Глава пятая

1

Дома он провел часа три — окунулся в семейное тепло, папенька доброрасположен, пошучивал, угощал наливкой, маменька закармливала пирогами, сестры ахали, как ему студенческий мундир к лицу, — и удрал к Иовлевой.

Бабе Мокре, конечно, сообщил не без похвальбы, что вступил в партию, безоговорочный приверженец искряков, поведал о знакомстве с Бауманом.

А у нас, говорила Иовлева, хотя и удалось почти на всех фабриках возродить или создать заново партийные ячейки, но вот беда: в открытую действуют зубатовские агенты, всучивают рабочим брошюры со своим уставом, кое-кто на их удочку попадается. Надо срочно составить листовку, вывести зубатовцев на чистую воду, займись ты этим, Андрей, ты, вероятно, в Москве с зубатовщиной сталкивался, так ведь? Вот и хорошо, вот пока тебе первое поручение. И надо готовиться к маевке, провести ее организованно, повсеместно.

2

На улице раскланялись — Эмиль Людвигович Щлегель, главный иваново-вознесенский жандарм, и Андрей Бубнов, студент и член РСДРП, большевик. И не только раскланялись, а и потолковали возле афишной тумбы: в театре Демидова давали на этой неделе «Волки и овцы» Островского.

Положение казалось Андрею забавным: стоят у театральной афишки, беседуют, словно добрые приятели.

Поговорили — раскланялись, разошлись.

Жандарм посмотрел вослед — хорошо идет, свободно, без раскачки, высок, статен. Долго ли тебе так расхаживать по вольной волюшке, Андрей Сергеевич Бубнов? Это будет зависеть и от тебя, и от нас. Твоя забота — прятать концы, наша — эти концы отыскивать, ловить с поличным. Вот мы сейчас поиграли с тобой в добрых знакомых, — и это составная часть большой, серьезной и увлекательной игры, которую ведем мы, Особый корпус жандармов, надежная и верная опора правительства, престола, отечества... Итак, вчера ты был у Иовлевой. Долго. Четыре часа. Ну а сегодня, скорее всего, отправишься к Афанасьеву, в Шую. Проследим. И не знаешь, не ведаешь ты, младый вьюнош, какая бумажечка подколота в специально заведенную на тебя папку — бумажечка из Московского охранного отделения. Пока ты фигура не главная, есть в Иваново-Вознесенске революционеры опытные, хваткие — их рука чувствуется каждодневно. Кое-кого не грех бы и упрятать подальше, но пока нет повода. Что ж касается тебя... Ведь и в шахматах фигуры все разные и каждая по-своему важна. И пешка может пройти в ферзи. А ты, судя по всему, и теперь не пешка, Андрей Бубнов. Ишь в институте своем речь какую произнес. И не зря же ты и здесь сейчас объявился...

3

Перо цеплялось за бумагу, чернила разбрызгивались. Земский чиновник — отнюдь не из крупных, особа десятого класса, коллежский секретарь, сын сельского дьячка — Николай Иванович Воробьев писал так шибко, насколько позволяла поднаторелая рука. Он почти не останавливался: продумал-передумал все.

«Местечко Ямы, включенное в черту г. Иваново-Вознесенска, служит местом обитания основной массы рабочих сего безуездного города. По новейшим данным, из 83 472 жителей городских в Ямах размещаются 28 622.

Впечатление Ямы производят крайне удручающее.

Шумные, тесные, пестрые слободки, на которые не простирается ни заботливость городского управления, ни архаическая власть сельского мира, а одна только полиция имеет беспрепятственный доступ во всякий час дня и ночи в эти утопающие в грязи улицы с небольшими, словно игрушечными, домишками. Слободки похожи на табор, на толкучку, где все меняется, течет, одни приходят, другие уходят. Как грибы растут жилые домики без всяких хозяйственных пристроек, одинокие среди пустырей, заваленных мусором; они вытягиваются в линию, и скоро в линии становится тесно им, и новые флигельки начинают пристраиваться сзади во дворах. И на всем пространстве этих кварталов не видно ни одной березки, ни одного кустика зелени. Пыль и грязь на улицах, мусор во дворах, и бесконечный грохот фабрик, и пыль и копоть в воздухе.

Более половины населения Ям живет в квартирах, в которых на одного жильца в среднем приходится половина того воздуха, который гигиеною признается за минимум. На одной кровати помещается целая семья от двух до пятерых, супруги спят вместе с детьми; не столь уж редко наблюдаемо, когда сдается внаем половина

кровати и чужие люди принуждаемы оказываться под одним одеялом.

Однако ж едва ли не большинство рабочих жилищ вообще лишено коек и постоянного места для постели. Лица обоего пола и всех возрастов в условиях поразительной скученности (на человека приходится около полутора аршин квадратных) размещаются на ночлег где можно и как можно — на полу, на скамьях, на полатях. Далеко не всякий имеет подушку и одеяло, спят в верхнем платье, шуба, пальто служат и постелью, и платьем...»

Рука устала. Он отложил перо, подошел к окну, отдернул плотную штору, стоял, пощипывая «разночинскую» бородку. Побаливали глаза: надо бы переменить очки, да все недосуг. Третий месяц обретается он здесь. Но скоро конец, и весьма нетрудно представить, какой скандалиссимус закатят господа гласные, когда представит им для ознакомления свой отчет. Посыплются кляузы в губернское управление и, как знать, не возымеют ли действие, очень даже возможно, что и возымеют. Придется подавать прошение об увольнении от должности, а это худо: кормиться надо, трое детишек и жена опять на сносях. Однако не отступится от своего: каждый человек обязан в жизни совершить хоть разъединственный поступок. Пускай не героический, но — *поступок*. Иначе ради чего коптить небеса? Он подумал: а не напечатать ли статью в каком-нибудь журнале, в «Русском богатстве» к примеру?

Окна номеров выходили на главную, Городскую, площадь. Неподалеку белело двухэтажное здание управы. Ярко светили электрические фонари. По булыжной, хорошо устроенной, небугристой мостовой катили экипажи. Посередке высился, как полагается, городовой. Педантичный немец Альбрехт Эршке самолично запирал свой часовой магазин — время торговли истекло. Из благопри-

стойного трактира доносилась музыка, колбасная Маркова благоухала — отсюда слышно.

«Круглый год черный хлебушко едим, да щи пустые, да огурчики, иной раз каши наваришь — пшенной али грешневой, гречка-то дорогая, ею редко балуемся, на пшенцо больше налегаем. А мясо-то, а молочко-то, а маслице-то коровье в году два раза — на паску да на рождество христово...»

Сколько раз слышал он в тягостные эти недели такого рода, страшные в одинаковости своей, слова!

Рабочий день — одиннадцать с половиною часов, помилуй бог; а еще недавно и по четырнадцать было. В сушильных отделениях — сам замерял температуру — Реомюр показывал шестьдесят, а по Цельсию это получается семьдесят пять, чуть не в кипятке люди варятся. Прессовальщики имеют дело с крепкой водкой — дьявольская смесь азотной и соляной кислот, зубы разрушаются от ее паров, травятся легкие. От хлопковой пыли — туберкулез, от рева станков — глухота... И штрафы, штрафы, сверхурочные, сверхурочные. И то и дело калечится кто-нибудь...

А такое разве мыслимо вообразить: в женских ретирадах на фабриках надсмотрщиками состоят мужчины. А этакое: ребятенки лет по десяти от роду работают в горячих отделениях. Господи боже мой, господи, какой народ еще сумеет подобное выдюжить? А молчит народ, терпит.

О многом написал он и еще и еще напишет. Земская комиссия удалилась во Владимир, оставив его здесь для обработки сведений. Вот уже вторую неделю он за бумагами, обед приносят из трактира в судках, даже спускаться вниз неохота. Один в номере, а сколько вокруг него здесь голосов, глаз, рук, грохот какой в ушах, и какая нестерпимая вонь мерещится...

Коллеги по земству неспроста свалили ему сию


МОСКОВСКОЕ ОХРАННОЕ ОТДѢЛЕНIЕ.
Бубновъ-Андрей-30.
4636
4634

обязанность — писать отчет: молод, недавно из университета, и чином ниже всех в комиссии. Что ж, господа, он бумагу составит. Зачитает в городской здешней управе. Глядишь, вынесут после и на губернское собрание. А что переменят они, господа гласные — здешние, шуйские, владимирские, коли б и захотели? Они ярмарку открыть — могут. Правила, как безнадзорных собак отлавливать,— пожалуйте. Как от огневого бедствия пристало оберегаться — наставление соорудят. Более ничего. Власть на местах. Пустоболтство окаянное.

Нет греха в общественной жизни поганей, нежели пустоболтство.

Однако ж существует и цветет.

Хотелось чаю. Николай Иванович вышел, чтобы кликнуть коридорного. И едва не столкнулся с пезнакомым юношей в студенческом мундире.

— Имею честь видеть господина Воробьева, Николай Ивановича?

— Точно так.

— Андрей Бубнов. Сын члена городской управы.

Воробьев поглядел неприязненно: одно упоминание о городской управе раздражало. Но пригласил в номер.

4

К лету 1904 года положение в партии сложилось чрезвычайно трудное, почти катастрофическое. Меньшевики захватили «Искру», закрепились в Совете партии, отвергли предложение Ленина о созыве III съезда, Центральный же Комитет проводил линию чисто примиренческую.

Однако меньшевикам удалось завоевать учреждения, но отнюдь не саму партию. Почти все комитеты на местах пошли за Лениным.

На высоте оказался и Иваново-Вознесенский подпольный комитет. Партийная работа оживилась, а число чле-

нов РСДРП выросло настолько, что решили разделить комитет на три района, выделить для каждого своего организатора. Из «новообращенных» всем казался наиболее надежным и способным Федор Алексеевич Кокушкин, ему дали партийную кличку Гоголь — длинноволос, носат, сутулится. Кокушкину поручили руководить первым, посадским, районом. Бубнов знавал Кокушкина и прежде, встречались в библиотеке, у Полипы Марковны. Заглядывал Федор и домой к Андрею. И когда решали, кому доверить самый важный в городе район, Бубнов, нимало не усомнившись, проголосовал за Кокушкина. Тот, по всему было видно, доверием гордился — молод еще был, едва перешагнул годами за четверть века.

Вскоре они и по-настоящему подружились, Бубнов и Кокушкин.

Зато уж как-то нескладно, хотя в конечном счете и полезно, получилось у Андрея с его товарищами по реальному.

Они казались жизнью довольны. Сеня Кокоулин мастером у Бурылина, фабриканта не из худших (образован, картины собирает, редкости всякие, сам по себе не зверь и другим кнутобойствовать не дает). Никита Волков — у фабриканта, там, где надрывался отец, — порядки похуже, чем у Бурылина, однако Никиту не шибко задевают, пристроился в контору.

Рассказывал преимущественно Сенька, он оставался прежним: что подумает, то и выпалит, что захочет, враз сделает.

Пока толковали о себе, пока слушали рассказы Андрея о Москве, перебирали знакомых, все шло чинно-мирно. Пили свежезаваренный чай, ели пироги со смородиной, пропустили немного домашней наливочки. Но рано или поздно должны были затронуть и главное. Тут Никита и принялся за свое.

— Какая революция у нас может быть? — говорил

он.— Попробуй одну Куваиху свалить, да что Куваиху, вот наш калибром куда послабже, а и его не сковырнешь. Сколько раз пытались устраивать стачки. Ну, побастуют недельку. Либо копеечной прибавки добьются, либо вообще шиш без масла. А голод не тетка, опять к станку. Недоволен — катись на все четыре стороны. За воротами толпа грудится, деревенские христом-богом просят, чтоб взяли, хоть за гроши.

И Никита выставил главный, видимо, козырь: молча протянул сложенную бумагу.

— А что, это, пожалуй, интересно,— сказал Андрей.— Типичная зубатовщина. Живы, оказывается, курилки. Где раздобыл?

— Зачем раздобывать? У нас на заводе их свободно раздают — и на проходной, и в казармах. Вот поглядишь, сколько народу придет. Все тут понятно: только правительство может обеспечить рабочим необходимые условия жизни, только правительство — лучший союзник рабочих, пока те не выставляют политических требований. Что же касается политики, это уж забота образованных господ.

Как по-писаному чешет, вызубрил наизусть, усердный малый, далеко пойдет.

— Позволь спросить, ты себя-то к какой теперь относишь категории — к рабочим или к образованным господам? — спросил Андрей, и Волков нашелся:

— Я — интеллигентный пролетарий, — не без гордости ответствовал он. — Лично меня теперешнее мое положение пока устраивает. Но если понадобится, конечно, приму посильное участие в экономической борьбе моих товарищей по классу.

До чего ж лихо! А ведь он, пожалуй, небезвреден. Для иных прямо-таки завлекательный пример: сын красковарщика, отец всю жизнь на фабриканта хребет ломал, в могилу сошел до срока, никогда и не поел досыта, а сынок, вишь, в люди выбился, белая рубашечка, штиблеты на

шнурочках, этак ведь, если жить смирно, с уважением к хозяину, к мастерам, так и любой на чистую дорожку выйдет...

Зубатовское объявление Андрей положил в карман. Волков нехорошо усмехнулся:

— Своим покажешь?

— Да, своим.

В тот же день Андрей пешком отправился в Кохму. До сего времени там социал-демократов почти не было, и стало известно, что на бумагопрядильной фабрике орудуют агенты Гапона, они и решили провести сходку, создать свой кружок. Дело было в канун 1 Мая, надо было во что бы то ни стало попытаться гапоновско-зубатовскую сходку сорвать, но, как ни старался Андрей, — а выступал он в открытую, рассказывал о том, что собою представляет зубатовщина, — его попросту освистали. Сорвались маевки и в Иваново-Вознесенске, и в Шуе. А зубатовцы осмелели, стали орудовать не стесняясь, полиция им, конечно, потворствовала.

Вскоре на Талке возобновились массовки, собиралось ежедневно человек двести—триста, но разговоры шли о фабричных делах, все о тех же экономических требованиях. Полиция на массовках была, но, поскольку все шло более или менее чинно, никого не трогали. Андрей выступал несколько раз, пробовал расшевелить, повернуть в нужную сторону, однако его не слушали, поднимали шум. Так дальше продолжаться не могло, большевики это понимали. Надо было действовать решительно. И толчком послужило событие чрезвычайной важности: из Ярославля, из Северного комитета, специальным нарочным прислали недавно выпущенную в Женеве книгу Н. Ленина «Шаг вперед, два шага назад». Единственный экземпляр, уже потрепанный. Пришлось читать сообща, вслух. Чи-

тать поручили Андрею: голос у него был звучный и дикция хорошая.

«Сознательный рабочий,— читал он,— давно уже вышел из тех пеленок, когда он чурался интеллигента, как такового. Сознательный рабочий умеет ценить тот более богатый запас знаний, тот более широкий политический кругозор, который он находит у социал-демократов интеллигентов...»

Хорошо бы, если б у нас так, сказал Бубнов. А вот у нас наоборот, нам не верят, за нами не идут. Видимо, потому, что основная масса городских рабочих — бывшие крестьяне, уровень политической сознательности у них почти равен нулю.

Да, подтвердил Федор Кокушкин, раклист (профессия для избранных, как и граверы). Вероятно, сказал он, следует на митингах выступать не Бубнову, его рабочие не принимают за своего, считают баричем, а, допустим, или ему, Кокушкину, или Авениру Ноздрину.

— К чертовой матери, — взбеленился Бубнов. — Не строй из себя пролетария, Федор, и не считай, будто вам с Ноздриным выпала честь всех вести за собой. Тоже, мессия нашелся. Ленин как говорил? Надо все более широкие массы привлекать к участию во всех партийных делах. А ты претендуешь на роль...

— На какую роль претендую? — нарочито спокойно сказал Кокушкин, и это спокойствие взбесило Бубнова еще сильней.— Это, по-моему, ты претендуешь.

— Я? — Бубнов сжал кулаки.

— А ну-ка, мальцы, перестаньте,— сказал Балашов.— Устроили... Ты, Андрей, у нас грамотный, не отрицаем. Но и гонору хватает.

13 июня на Талке собралось не двести—триста человек, как обычно, а не менее тысячи. Выступали Роман

Семенчиков, Василий Красный. Выступал и Бубнов. Говорил о зубатовщине. Слушали на этот раз хорошо, не перебивали: фабрично-заводские ячейки сходку подготовили, сперва провели собрания на предприятиях.

Но подготовился и полицмейстер Кожеловский. В самый разгар митинга на поляну ворвался конный отряд, засвистели нагайки. Хватали наугад. Андрей успел замешаться в толпе. Кроме Клавдии Кирякиной-Колотиловой (по кличке Мишка) и Федора Кокушкина, за решетку никто из руководителей не угодил, да и тех продержали недолго. Избили Семенчикова, Голубева, Окутина, Белову...

Стало ясно: надо создавать боевую дружину, а пока сходки прекратить.

5

О Николае Ивановиче Воробьеве и докладе его Андрей узнал от папеньки случайно, и Бубнова осенило: а ведь можно подбросить господину чиновнику кое-какой материалец. Он раздобыл у папеньки отнюдь не секретный, хотя широкой огласке и не подлежащий, отчет городской управы. Воробьев выглядел утомленным, то и дело прихлебывал дегтярного цвета чай, исповедовался: нет, не герой он и на плаху, на каторгу не готов, даже государеву службу и ту боится потерять до смерти, но каково жить на Руси человеку честному, если видишь неправду и несправедливость? Так и помалкивать, «добру и злу внимая равнодушно»? Нет уж, статью напишет всенепременно.

За цифры, принесенные Андреем, ухватился Воробьев прямо-таки обеими руками, цифры и в самом деле были ошеломляющие. «Из собранных сведений о 992 квартирах в пригородах Иваново-Вознесенска, где преимущественно ютится фабричное население, видно, что здесь живет

8851 человек (4487 мужчин, 4364 женщины), в том числе 1976 брачных пар, 1701 ребенок... Таким образом, на одну квартиру приходится в среднем по 7,3 человека. В 27 процентах квартир на каждого жителя приходится по 0,49 кубической сажени...»

— Могила и та, наверное, больше, — мрачно пошутил Воробьев. — Кстати, ведомо ли вам, Андрей Сергеевич, что по уровню смертности Россия наша, увы, занимает первое место в мире? Нет, прошу прощения, не в мире, в цивилизованной Европе. Да-с. А Владимирская наша богоспасаемая губерния — одна из самых в этом смысле неблагополучных...

— Я читал в «Русских ведомостях», — сказал Андрей, — правда, более чем тридцатилетней давности, но и сейчас ведь не изменилось ничего, — вот, извольте, выписку сделал, что говорит господин автор: «Я раз спросил одного фабриканта, что за люди впоследствии выходят из... мальчуганов, работающих при сушильных барабанах, в зрельных и на вешалах. Он, немного подумав, дал мне такой ответ: «Бог знает, куда они деваются, мы уж как-то их не видим после». — «Как не видите?» — «Да так, высыхают они». Я принял это выражение за чистую метафору. «Вы хотите сказать, что впоследствии они меняют род своих занятий или переходят на другую фабрику?» — опять спрашиваю я. «Нет, просто высыхают, совсем высыхают», — ответил серьезно фабрикант».

— Позвольте мне и эту выписку, Андрей Сергеевич, — попросил Воробьев.

6

Сколько их на свете, неприметных речушек, — про то не знает, наверное, ни один самый дотошный географ, не скажет ни один справочник. Сколько их, петлистых речонок, то прозрачных, то замутненных, бегущих, припры-

гивающих в горах, медленно влачащихся через леса, по степям, мимо человеческих поселений и в безлюдье, речонок и коротких, и длинных, и смирных, и норовистых, почти прямых и вилявых, глубоких и мелких... И знают про них лишь те, кто рядом с ними обитает, черпает из них воду, полощет бельишко, поит скотину, закидывает удочку. Кто бы знал, кроме иваново-вознесенцев, про Талку? Струилась бы она, мало кому ведомая. Но вот, оказывается, и у речонок случается своя негаданная судьба, — сделалась тихая Талка знаменита...

Боясь опоздать на партийное собрание, — известно было, что приехал, и, кажется, не «в гости», а на постоянное жительство, Отец, — Андрей явился в назначенное место загодя, к половине четвертого (уговаривались в четыре). Разморенные теплом, лениво, томно урлыкали в заводи лягушки, ровным гулом, как всегда, гудели сосны, городские звуки не доносились сюда. Бубнов пошарил в малиннике — ни одной ягоды, обобрали дочиста. Наткнулся на черемуховый куст, вверху темнела спелая гроздь. Подпрыгнул, притянул ветку, сорвал. Крупная, как вишня. Схрумкал вместе с косточками, рот стянуло, и губы, конечно, почернели. Хорош он сейчас! Зря польстился на лесное лакомство.

По тропочке на поляну вышли Афанасьев и Балашов. Отец сильно постарел: три ареста за нынешние зиму и весну. Федор Афанасьевич сильнее прежнего сутулился, борода поредела, плечи как-то обвисли, нездорово влажной показалась ладонь. Сел на пенек, долго, надсадно кашлял, улыбался при этом виновато. Балашов закурил, рукою отгонял в сторону дым, чтоб не досаждать Отцу, но тот сам попросил махорки.

Почти следом шустро вынырнул из-за стволов Евлампий Дунаев, — уж он-то ферт фертом, любит пофасонить. Пиджачок внакидку, набекрень кепочка, поигрывает гибким прутиком, этакий развеселый ухажер. Афанасьев на

бойкость посмотрел неодобрительно, снова закашлялся. Неторопливо приблизился Федор Самойлов — совсем другой, никак не схож с Дунаевым. Сухощав, бородка клинышком, смоляные волосы гладко причесаны, одет не побудничному: белая сорочка, жилет. Услышали низкий женский голос, переглянулись: это Маша Икрянистова, Труба. С нею Мишка — Колотилова. Прихрамывая, подошел Роман Семенчиков. И еще четверо. Последним — Уткин, его Андрей прежде не знал.

С Уткиным познакомила Андрея сейчас Колотилова. Поглядели друг на друга неприязненно: бывает ведь, что с первого взгляда не понравятся один одному.

Но годы спустя Бубнов писал:

«Всю свою жизнь целиком Уткин положил на дело организации вооруженных сил партии — он был боевиком. Станко (так он назывался в те времена)... в Иваново-Вознесенске стоял во главе этого дела, которое требовало громаднейшей выдержки, закала и исключительного мужества. Иван Уткин с исключительной преданностью, любовью и настойчивостью работал над созданием иваново-вознесенской боевой дружины... Царские охранники... захватили его сонного. На допросах жестоко истязали, добиваясь показаний о дружинниках и складе оружия. Но Станко ничего не сказал. С отбитыми легкими его бросили в сырую камеру Владимирской тюрьмы. Иван Уткин умер на царской каторге в 1910 году».

Бубнов знал, что Станко его не любит, относится с недоверием, — Уткин того и не скрывал. В нем, человеке отчаянной, доходящей до безрассудства храбрости, казалось Андрею, прихотливо сплетались ненависть к угнетению и несправедливости с непониманием того, что не

всякий, кто не стоит у станка или не пашет землю, есть непременно угнетатель; партийная дисциплинированность — с явной склонностью к личному анархизму; понимание конечной цели — с бесшабашной удалью; классовое чутье — с нежеланием обогащать свои знания, развивать природою данный ум.

И Андрей, видя открытую к себе неприязнь, в толстовское всепрощение не ударялся, к Уткину симпатии не питал и не пытался установить дружеские отношения. Работали рядом, не более того. Но, вступив в пору воспоминаний, Андрей Сергеевич сумел перешагнуть через личное, выделить в Станко те черты, что были действительно полезны, важны для общего дела.

На собрании решили: всей организацией в качестве ответственного секретаря будет руководить Афанасьев.

Среди женщин — а их среди рабочих очень много — дела ведут Мишка — Колотилова и Мария Икрянистова — Труба.

Постановили еще: известить Северный комитет о том, что иваново-вознесенцы полностью за большевиков.

Поручили Бубнову составить листовку против зубатовских «недоедков», как выразился Афанасьев, и печатать Андрею тоже, вместе с Кокушкиным (недавно из Ярославля прислали с оказией каучуковый шрифт, правда, траченый, истертый, но сгодится за неимением другого).

7

Как на грех, за вечерним семейным чаепитием папенька в третий раз принялся вслух перечитывать письмо Владимира. Конечно, жизнь Володи, Тони, родившегося там, в богом забытом Глазове, их сына Юрочки всех тревожила, но письмо оглашал Сергей Ефремович в третий

раз, а из-за стола встать без разрешения главы семейства никто не смел. Андрей наконец не выдержал, сказал, что голова болит. Папенька поглядел свирепо — еще один сын порядок нарушает (Николка где-то запропастился), — но выйти позволил.

Листовка в общем уже «отпечаталась в голове», Андрей сдвинул на столе книги, быстро начал писать, и тут некстати принесло Николку, веселехонек, непутевый, вином пахнет. Объявил, что в приказчичьем саду гульнули, удивился, почему Дедка с ними не ходит, в монахи, что ли, подался. Андрей отмахнулся. Николка не сразу угомонился, что-то бормотал насчет барышень, Андрей решил внимания не обращать на болтовню.

В домике Федора Кокушкина — по здешним ежели меркам, жил он неплохо: своею только семьей, внаем углы не сдавал — детишки спали, а Насти, жены, Федор не опасался. Немедленно принялся за набор. Поругивался: литер не хватало, пришлось кое-где заменять «а» на «о».

Нескладными ручищами Федор текст набрал быстро, прокатывать взялся Андрей, а Кокушкин тем временем спроворил чай. Сперва оттиски шли нехорошие, грязноватые, краску смыли, развели пожиже, тут наладилось.

Листовки, беседы агитаторов свое дело сделали, зубатовские собрания сорвали с треском и позором.

Это было в субботу, а в понедельник заявился жандармский унтер.

— Андрей Сергеев Бубнов изволите быть? Так что велено вам к его высокоблагородию...

Вот он, первый арест. Сделалось страшно. Будут, наверное, бить. Неужели сам Шлегель, надушенный, с ру-

мячиком, всегда избыточно вежливый, — неужели сам? Никогда не били, разве что шлепали в детстве ладошкой...

Оставил было записку — маменька на службе, маменька с кухаркой на базаре, — но раздумал, порвал. Может, обойдется еще.

По неопытности не догадался: если бы арест, значит, и обыскали бы, а тут жандармский чин откозырял и отбыл. Но Андрей приготовился к аресту, облачился не в студенческий мундир — не хотелось, чтобы к нему прикасались липкие руки, — а в косоворотку, обулся в парусиновые туфли. Пускай они, «голубые», парятся по такой жарище в своей удушливой форме, а мы люди вольные. Надолго ли вольные?

Вопреки предположениям Андрея, ротмистр тоже себя казенною одеждой не стеснял (сам себе здесь начальник, кто потребует?) и встретил Бубнова словно заезжего друга, предлагал рюмочку, спрашивал о здоровье батюшки.

Пока он ломал комедию, на овальном столике, поверх газет и бумаг, Андрей увидел позавчерашнюю листовку с фиолетовым шрифтом, она лежала как бы сбоку и в то же время на виду. Шлегель, извинившись, что-то искал в книжном шкафу, Андрей тем временем оглядел кабинет. Ничего не скажешь, со вкусом господин ротмистр. Кабинет почти не похож на контору, особенно жандармскую, как она представлялась Андрею. Тяжелые шторы, шкаф с резьбою, удобные кресла, диван, книги, букет, — кажется, флоксы. И вид у хозяина кабинета вполне домашний. Если бы не мундир, повешенный на спинку рабочего кресла. Повешенный. Повешенный...

Представилось вдруг, как вежливый, обходительный красавец в белой рубашке, благовоспитанный Эмиль Людвигович Шлегель своими собственными руками, тонкими, холеными, намыливает веревку, вяжет петлю...

Ерунда, конечно. Вешают — другие...

Наконец Шлегель обнаружил в шкафу то, что искал, протянул Бубнову с хохоточком, вот, изволите видеть, презабавная книжица под заглавием «Как в двадцать четыре урока стать писателем», не угодно ли полистать, а то и взять не возбраняется домой на время, не тянет ли вас, Андрей Сергеевич, к сей профессии? Ах, не тянет? Достойно сожаления. У вас, представляется, должен быть изящный слог, судя по тому, как вы умеете говорить...

— Ради того и вызвали, чтобы в писатели обратить? — спросил Бубнов напрямую.

— Зачем же так, батенька, — огорчился Шлегель. — Не вызывал, пригласил всего-навсего.

— Через жандарма пригласили? Покорно благодарю. Оригинальная метода.

— Увы, лакеев не держу, одна горничная, да и та при супруге моей состоит в полнейшем распоряжении, — продолжал ерничать Шлегель, ерничество, надо признать, не так уж и выпирало, можно было принять его и за некую светскость. За светскостью, за всею этой «культурной» болтовней мог незамедлительно последовать точный выпад. Как в фехтовании, подумал Андрей, топчутся двое, позвякивают шпагами, примериваются, покуда раз! — и один из противников наносит решающий удар.

— А пригласил вас, признаюсь, не без умысла, — продолжал Шлегель.— Вот, не соизволите ли ознакомиться,— и он протянул фиолетовую листовку.— Каково на ваш просвещенный взгляд?

Андрей будто впервые прочитал, пожал плечами:

— Не мне судить, господин ротмистр. Чьих рук дело? Понятия не имею. А если бы и... Грубовато работаете, господин ротмистр...

— Ну почему ж — «работаете», да еще «грубовато»... Не имею намерений вас вербовать в филеры или доносители, знаю, что не пойдете. И вообще, предпочитаю таким делом не заниматься, пускай Кожеловский с его братией

усердствует, ему по нутру, воспитателю нат-пинкертонов с Голодаихи. Донесения их читать — смех и грех...

Интересно все-таки, чего ради этот жандарм распинается и лебезит, шлюха, еще бы физиономию напудрил да губы подмазал, ну чего ты хочешь от меня?

— Вот вы сидите и думаете, — без поспешности, несуетно продолжал Шлегель, — думаете, Андрей Сергеевич, приблизительно так: а чего, собственно, этой, извините, жандармской сволочи от меня требуется? В данном конкретном случае — ничего. Долг службы обязывает с противниками своими время от времени встречаться...

Он врал, Шлегель. Он вот уже не один месяц составлял труд, полагаемый им даже научным и с названием весьма наукообразным: «Психологические наблюдения над лицами, причастными противуправительственной деятельности, в различных ситуациях». Вот он и пригласил «причастного», чтобы понаблюдать за ним в определенной «ситуации».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

1

Шестого января года тысяча девятьсот пятого, в день святого богоявления, с государем императором всероссийским Николаем II приключилось событие чрезвычайное, оно затмило собою все прочие события тех дней, а столица ими в ту пору была богата.

Ничто не предвещало беды. Завершилось всенощное бдение, на заутрени его высокопреосвященство митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний провозгласил величание: «Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради плотию крестившагося от Иоанна в водах Иорданских...» Миновала литургия, заамвонная молитва, и, оставив во дворце государыню, дочерей и государыневу свиту, Николай Александрович, сопровождаемый высшими сановниками, генералами, придворными чинами, сошел к проруби в невском льду. И здесь все шло своим чередом: митрополит обмакнул крест и в сию минуту, как заведено было исстари, с кронверков крепости ударил холостой, предполагаемо, залп. И сперва никто не понял, почему вдруг посыпались стекла в Зимнем, кусками отвалилась штукатурка, шрапнелью продырявило стенки царского павильона, воздвигнутого на льду, раздался истошный вопль.

Чему-чему, а бегать от пальбы русские императоры научились. И Николай Александрович в сем деле опыт

имел. Еще в 1891 году, когда он, престолонаследник, совершал девятимесячное путешествие, в японском городе Отсу полицейский Сапзо Цуда нанес его высочеству сабельный удар по голове. И вряд ли довелось бы цесаревичу стать у кормила Российского государства, не выручи его быстрые ноги да греческий королевич Георг, исхитрившийся сбить злоумышленника наземь. Сейчас злоумышленники обретались на противуположном берегу Невы, пальба продолжалась. И никто не отважился, не возжелал прикрыть своим телом помазанника божия — ни дядюшка его, великий князь Владимир Александрович, коему по чину полагалось быть храбрецом отменным — он командовал гвардией и столичным военным округом, — ни двоюродный брат, великий князь Борис Владимирович, добрый молодец, кровь с молоком, ни его преосвященство, ни генералы и сенаторы, ни высокая придворная челядь. У государя оставалась единственная надежда — на собственные недлинные ноги.

Однако бог миловал. Единственно, кто пострадал в артиллерийском непонятном налете, был городовой. Судьба тут пошутила: фамилию городовой носил царскую. По городу мигом распространилось: «Шлепнули Романова, да только не того».

Наспех отслужили благодарственный молебен за спасение, упекли в каземат командира батареи, фейерверкера и канонира, в «Правительственном вестнике» срочно набиралось официальное сообщение, что выстрелы картечью произошли не по злому умыслу, но по недосмотру. К дебаркадеру вокзала подали царский поезд, по всему Невскому, до Загородного проспекта, и там, до Введенского канала, шпалерами выстроили солдат,— государь с семейством укатил в Екатерининский дворец.

Обыкновенно при отбытии государя в Царское Село на вокзале собиралась преизрядная толпа придворных,

высокопоставленных особ, всенепременно играл оркестр военной музыки, пили шампанское. На сей раз уезжали словно бы крадучись. И, вопреки обыкновению, Николай Александрович не остался в вагоне с матушкой, вдовствующей императрицей, с Александрой Федоровной и детками, а молча заперся в своем салоне, — и ехать-то было с небольшим час, поезд следовал по императорской ветке без остановок.

И в Екатерининском, приказав принести коньяку и лимона, посыпанного кофейным горьковатым порошком,— причем таковым изобретением гордился едва ли не как государственной реформой, знал, что пример нашел подражание повсеместно, — велел дежурному генерал-адъютанту всем отвечать по аппарату, что государь не дозволил беспокоить, и лишь генералу Трепову по его прибытии из Москвы в столицу немедля явиться сюда.

В огромном дворце все притихли.

Николаю Александровичу хотелось скинуть форменное облачение, влезть в уютный стеганый халат, но, даже наедине с собою оставаясь помазанником божиим, в трудные эти часы — он еще не знал, сколь они окажутся трудны! — государь себе такой вольности не разрешил. Более того: он, без помощи камер-лакея, переоделся в парадный, Преображенского полка, мундир, в зеркале привычно увидел себя, росту среднего, стать пристойная, только волосы на голове и в бородке чрезмерно рыжи, но зато глаза, глаза с небесной, как и надлежит иметь наместнику бога на земле, голубизной — все отлично, если б не окаянный чин... Батюшка, в бозе почивший, не успел присвоить наследнику первый генеральский чин, после чего Николай Александрович мог бы продвигать себя в чинах и далее, а по давней российской традиции сам себя произвести в генералы государь прав не имел. Так и остался Николай Александрович в полковниках. Впрочем, злясь на покойного родителя, испытывал

Николай и наслаждение, странное в его положении самодержца, всесильного, всевластного,— наслаждение, будучи полковником, распекать обомлевших генералов. Принимая лиц гражданского ведомства, Николай Александрович такого удовольствия не испытывал, — перед ними он был государь и только, и власть его была однозначно-естественной. Но чтобы перед полковником тянулись и млели от страха генералы — это его тешило особо. Так что Александр III, не произведя сына в высший чин, доставил ему не только огорчение, а и некое своеобразное упоение.

Во дворце все притихли. Только неразумная какая-то птаха, синица скорее всего, попискивала у окошка, не ведая, что творит. Николай Александрович подумал, что хорошо бы пальнуть в нее прямо из окошка... Пальнуть бы... Пальнуть бы... Пока что сегодня палили в него. И вообще в столице (на ум пришло крепкое слово)... Четвертые скоро сутки бунтуют на Путиловском, с понедельника начали, а за ними — Франко-Русский завод, Невский судостроительный, Невская бумагопрядильная и Екатерингофская мануфактуры... Скоты...

Государь вспомнил, содрогаясь, как улепетывал сегодня от картечи на глазах всего двора, вздернуть того офицеришку с канониром и фейерверкером на кронверке, нет, вздернуть нельзя, надобно изобразить, как оплошность, а не покусительство на жизнь его... Государь прилег — прямо в парадном мундире, только расстегнув крючки,— на железную, нарочито солдатскую койку, застеленную серым, солдатским же одеялом. Повертелся, покряхтел, встал. Взял некий особливый предмет, им тоже самолично придуманный, спиночесалку — наподобие смычка скрипичного, из палисандрового дерева, на конце согнутая человеческая пятерня слоновой кости. Задрал мундир, сладостно поскреб промеж лопаток. Налил коньяку. Подумал: русские свиньи. Руссише швайне...

«Хозяин Земли Русской», как он себя обозначал иногда, был, по сути, немцем. И, получив образование и воспитание в России, ловил себя на том, что порой даже думал по-немецки.

Коренная династия Романовых завершилась: по мужской линии — в 1730 с кончиною Петра II, а женская — в 1761-м (год смерти Елизаветы Петровны). С тех пор стали управлять Россией представители прусской династии Гольштейн-Готторпской. Причина была проста: жениться на девицах не царской, не королевской крови наследники престола не имели права. Так и повелось: сочетались русские царевичи с немками. И когда сменилось несколько поколений, оказалось, что в жилах Николая Александровича славянской крови почти не осталось. А супруга его, Алиса Гессенская, была чистейшею германкой.

Немцы правили Россией, немцы. Быть может, не стоило об этом и говорить — не шовинисты мы, и царизм не становился ни лучше ни хуже от того, какой национальности человек восседал на троне, — если бы не одно существенное обстоятельство: Николай II был весьма безволен, был государственным умом невелик, но при этом упрям до болезненности, когда дело касалось его личного престижа. В результате он почти полностью подпал под влияние Александры Федоровны. Тут вот ее немецкая кровь и прогерманские симпатии сыграли весьма печальную роль, особенно когда разгорелась мировая война. Россию предавали, Россию продавали, Россию обрекали на гибель. И она погибла бы неминуемо, не свершись Октябрьская революция...

Читать не хотелось, видеть никого не хотелось тоже, Николай Александрович открыл потайной ящик, достал большой, бристольского картона, альбом. У покойного батюшки, на всю жизнь перепуганного покушениями, которые свели в могилу его отца, «царя-освободителя»

Александра II, появилось странное увлечение: он приказал доставлять ему фотографические карточки всех злоумышленников, покушавшихся на цареубийство, и собственноручно вклеивал их в этот альбом — по нескольку на каждой странице. Набралось порядочно — двадцать пять листов. Причудливая, извращенная какая-то игра, подумал Николай. Не карточки вклеивать — вешать, вешать их надо, разбойников и татей. Вспомнил, как недавно докладывали: с 1866 года по 1900-й смертной казни подвергнуто за государственные преступления 94 человека. Изрядно, конечно, да, видимо, урок не идет впрок.

Под батюшкиным фотографическим альбомом лежали собственные Николая Александровича дневники, тугие, похожие на конторские книги. Не перелистывал их давненько. Взял наугад, стал бегло просматривать.

Подвернулись записи за январь 1894-го. Год, когда свершилось миропомазание. Одиннадцать лет миновало, а как давно, каким был тогда молодым и беспечным!

«12 января. Пятница. Встал в $10^1/_2$; я уверен, что у меня сделалась своего рода болезнь — спячка, так как никакими средствами добудиться меня не могут. После закуски отправились в Алекс. театр. Был бенефис Савиной — «Бедная невеста». Отправились на ужин к Пете. Порядочно нализались...»

«22 января... Похлыщили по набережной... Обедали у Черевина. Он, бедный, совершенно нализался».

«Играл в рулетку... Закусывал... Достаточно хлыщил по набережной... Пили чай с картофелем, была небольшая возня... Закусывали по обыкновению...»

Юность, юность, беззаботное житье... А еще того приятнее вспомнить путешествие в восемьсот девяностом, вот сколько было забав, где они, эти записи, а, вот...

«17 ноября. Суббота. На Ниле. В 6 часов пошли дальше и к завтраку, к 12 часам, остановились в Луксоре.

После обеда отправились тайно смотреть на танцы альмей (египетские проститутки). Этот раз было лучше, они разделись и выделывали всякие штуки...

18 ноября. Осмотрев колосса Мемнона... пошли к нашему консулу. Обедали у него по-арабски, то есть ели пальцами. Опять были у альмей. Немного выпили и напоили нашего консула...»

Да, говорят, в этом самом Луксоре всякие статуи, обелиски, черт те что еще. Консул заманивал, сулил показать дворцы, построенные на месте древних Фив. Ерунда-с. Дворцов и в нашем отечестве предостаточно... А вот альмей таких, как в Египте, увы, не примечал.

Было скучно. Коньяк не помог.

Позвонил, кратко спросил вошедшего генерал-адъютанта:

— Трепов?

— Телефонировали, ваше величество, на моторе выехал сорок минут назад.

— Кретины! — взорвался Николай. — Не могли пустить поезд по моей ветке!

Генерал стоял вытянувшись. Брань к нему не относилась, однако в любой момент царский гнев мог обрушиться и на его ни в чем не повинную голову.

— Ступай, — велел Николай, отведя расстроенную душу.

Трепов... Николай Александрович превосходно понимал, для чего призвал к себе московского обер-полицмейстера. Великий князь Сергей Александрович, родной дядюшка государя, не раз аттестовал Трепова с наилучшей стороны: решителен, смел, беззаветно предан престолу и отечеству. Далее. Именно при нем сделал карьеру Зубатов. Не будучи представлен государю, тем не менее был ему известен: весьма, весьма полезные создал организации. Деятельность их в столице продолжает Гапон, и, значит, Трепову несложно разобраться, к чему ведет этот

попик. И наконец, у Трепова есть личные основания быть беспощадным к петербургским бунтовщикам: ведь это в его отца, Федора Федоровича, стреляла девица Засулич. Бог от гибели оборонил, однако здоровье столичного градоначальника пошатнулось, слыхать — на ладан дышит, и уж сынок не преминет свести с террористами личные счеты. А государь, подумал о себе в третьем лице Николай, даст ему чрезвычайные полномочия. Введет должность санкт-петербургского генерал-губернатора. К слову, непонятно, почему в столице до сих пор такого поста нет. Дядюшка императора, Владимир, главнокомандующий гвардии и столичного округа, конечно, рожу повернет наискосок: великий он князь, полный генерал, а очутится в повиновении у Дмитрия Федоровича Трепова, генерал-майора, — ну, переживет, покривится да и перестанет, сам-то по себе рохля рохлей, ударился бог весть во что, выпросил себе президентство в Академии художеств, заделался почетным членом Академии наук, тоже мне ученый выискался...

Пичуга чирикала на подоконнике. Государь отворил окошко, согнал назойливую тварь.

Доложили о прибытии Трепова. Еще раз велено было: никого не принимать, не беспокоить. Даже дверь в спальню царицы Николай запер изнутри. Приказал накрыть ужин для двоих. Совещаться предстояло долго.

2

За месяц с небольшим до того, 1 декабря 1904 года, на сходке в Московском университете приняли решение: «Просить революционные комитеты устроить противоправительственную демонстрацию». Причиною послужили события опять-таки в Петербурге. Там 28 ноября студенты вышли на улицы с лозунгами «Долой самодержавие!». Заранее оповещенные полиция и жандармы — пе-

шие, конные — учинили кровавое побоище. Четверых забили до смерти, свыше ста схватили, посадили. Как сообщала впоследствии ленинская газета «Вперед», главной причиной и победы полиции, и поражения демонстрантов было почти полное отсутствие рабочих.

Неподготовленной оказалась демонстрация учащейся молодежи и в Москве. Здесь ее зачинщиком стала организация эсеров, она выдавала себя за сторонников «решительных действий». Вскоре после сходки в университете собралось заседание «Социал-демократической организации московских высших учебных заведений», чтобы обсудить вопрос об открытом антиправительственном выступлении.

В числе первых ораторов был Андрей Бубнов. Он успел получить «с оказией» письмо от Оли Генкиной и питерские события представлял, пожалуй, лучше остальных участников совещания. Кроме того, за минувший год он изрядно повзрослел, возмужал, окончательно политически определился Не прошло даром и общение с Бауманом, с Позерном, и в Иваново-Вознесенске со старшими товарищами.

Сейчас он говорил о том, что локальная, без участия массы рабочих, без тщательной подготовки студенческая демонстрация обречена. Только ненужные жертвы, только потеря многими веры в успех революционного дела, только неминуемые аресты, причем не исключается, что арестованы будут лучшие активисты — им идти в первых рядах. Иного результата он, Бубнов, не предвидит. Андрей говорил напористо, резко, видел, что многие с ним соглашаются. Поддержал его Сурен Спандарян, университетский, — с ним Андрей познакомился тогда, на Палихе, когда Бауман рассказывал об итогах II съезда. Худой, с торчащими ушами, с тонкими усиками, горячий, Сурен то и дело вскакивал, перебивал, но Андрей не обижался: говорил Сурен дельно. Казалось, все шло как

надо, предложение об отсрочке демонстрации приняли бы, не выступи Виктор Прокофьев.

И он за год претерпел, как говорится, значительную эволюцию. То ли события на театре войны с Японией, за которую он так ратовал, — а события, известно, развертывались чем дальше, тем хуже для России, русские потерпели поражение под Вафангоу, под Ляояном, вот-вот, судя по всему, должны были сдать японцам Порт-Артур, — то ли авантюрность натуры, то ли стремление любыми способами выскочить вперед, выказать себя, — всего вероятнее, и то, и другое, и третье швырнуло «социалиста-монархиста», как его прозвал Андрей, прямиком в организацию эсеров. И тут он достаточно быстро преуспел. Сейчас он говорил не от собственного имени, а «от имени и по поручению». И говорил, надо признать, лихо, умело и, похоже, убежденно. А известно ведь, что убежденность оратора чаще всего передается и слушателям. Тем более что слушатели-то были студенты, молодые и охочие до всякого рода решительных действий. К ним-то, к решительным действиям, и призывал Виктор Прокофьев (знать бы Андрею, что речь бывшего дружка была просмотрена и одобрена в охранке!), действовал весьма умело, обвиняя Бубнова и его сторонников, особенно Сурена Спандаряна, чуть ли не в саботаже, чуть ли не в предательстве. Мы, социалисты-революционеры, выкрикивал он, приняли окрашенное кровью борцов знамя партии «Народная воля», той, что дала России лучших сынов и дочерей — Михайлова, Желябова, Перовскую, Кибальчича, Гельфман, Лопатина — несть им числа, героям и мученикам. Наша партия еще молода, но у нас есть чем и кем гордиться, у нас блестящий организатор и выдающийся оратор Николай Авксентьев, у нас был Степан Балмашев, который убил царского сатрапа, министра внутренних дел Сипягина и мужественно принял смерть, у нас Григорий Гершуни, приговоренный

к смертной казни, замененной пожизненным заключением, у нас...

Да, отвечал, прерывая, Бубнов, это люди огромного личного мужества, и я тоже склоняю голову перед ними, но ведь подвиги их, как ни страшно говорить, оказались бессмысленными, а что может быть нелепее и трагичнее бессмысленного подвига? Убили одного царя — стал другой, ухлопали министра — на следующий день новый, еще свирепее. Это элементарно, это не требует доказательств. Ладно, во времена Пугачева еще можно было уповать на добренького царя, но с тех пор сколько лет прошло, возник рабочий класс, его сознание — подлинно классовое сознание, и он понимает, что...

Что, что он понимает, кричал Виктор. Возьми любую стачку, любую забастовку — чего требуют? Жалованье прибавить, рабочий день сократить, мастера-зверя уволить, баню устроить при фабрике? (Правильно, черт возьми, подумал Андрей, так оно и есть.) А ты слышал, продолжал Виктор, чтобы забастовщики требовали царя скинуть? Ага, не слышал, то-то и оно. Потому что ваша партия, эсдеков, чисто пропагаторская, интеллигентская, а мы — партия действия. Ваши Ульянов да Плеханов статейки пописывают, вы, прочая мелюзга, прокламации составляете, а мы, социалисты-революционеры, — мы действуем, действуем, действуем!

У демагогии есть свойство заразительности. Чем демагогия беззастенчивей, тем сильнее воздействие, думал Андрей. Кажется, этот обормот убедит многих, придется менять тактику. Придется соглашаться на демонстрацию. Дорогая цена будет, высочайшей ценой заплатим за нашу правоту и за эсеровскую демагогию, но что поделаешь...

Трудно приходилось большевикам в ту пору стихийных движений. Часто, не в силах остановить, затушить

очередную вспышку, они были вынуждены принять в ней участие, чтобы по возможности оказать свое влияние и чтобы не создалось впечатление, будто и в самом деле они, как утверждали эсеры, стоят в сторонке от действительной, действенной революционной борьбы. В конечном счете такая тактика оказывалась правильной. Это показало особенно ярко 9 Января. Но и цена была слишком дорогая...

Андрей, Глеб, еще несколько товарищей-партийцев согласились — поперек души — на проведение демонстрации пятого декабря. В Московском комитете, куда Бубнов поспешил сразу же, подтвердили: да, иного выхода у вас при таком стечении обстоятельств не было.

Слишком шумно, чересчур открыто шли приготовления: и многолюдная сходка в университете, и собрание «Социал-демократической организации», куда попало несколько лиц никому не знакомых (назвались представителями Демидовского юридического лицея и Тульской духовной семинарии, у них, дескать, брожение умов, решили поднабраться опыта, ума-разума, им поверили, а зря. Впрочем, излишняя доверчивость в те бурные годы подводила не только молодых...).

На Страстную площадь, к 7-й гимназии, зданию, слывшему в московских преданиях «домом Фамусова», к надвратной церкви громоздкого Страстного монастыря, Андрей и Глеб пришли одними из первых. С одной стороны, их одолевало молодое нетерпение. С другой, признаться, надеялись, что демонстрация сорвется, быть может, ее удастся остановить в самый последний момент. Но Андрей готовился к худшему и даже оставил в комнате запечатанный пакет с письмом к родителям на слу-

чай, если не только арест, а и... Погибли же в Питере четверо, как сообщала Оля Генкина.

Площадь жила обыкновенно. Трезвонила конка, зазывали к себе — наискосок друг от друга — синематографы «Палас» и «Ша-Нуар». Как и по всей Москве, в каждом мало-мальски людном месте торговали с лотков пирогами, сбитнем, квасом. Друзья купили пирожков с ливером, дай бог не последние — не к месту пошутил Глеб. Пироги были на редкость вкусны.

Решили поклониться Пушкину. В окружении фонарей екатерининского стиля, с недавних пор электрических, Александр Сергеевич стоял, покрытый инеем; был он, как всегда, печален и задумчив. И на лицевой стороне постамента было начертано краткое: «ПУШКИНУ». Вот как надо прожить, подумал Андрей, чтобы потомки знали тебя без всяких пояснений. И на могиле Суворова надпись: «Здесь лежит Суворов»...

Студенты собирались, стекались и со Страстного бульвара, и с Тверской, с Малой Дмитровки, с Бронной. Городовые присматривали, однако не препятствовали. Не зашевелились и тогда, когда, выстроившись рядами,— взвилось несколько алых знамен — студенты двинулись по Тверской, к генерал-губернаторскому дворцу, где и решено было провести митинг, высказать требования о созыве Учредительного собрания, протест против кровавой расправы в Петербурге.

«Варшавянку» запел Глеб, у него был чистый, хороший тенор. Андрей подхватил. Останавливались, как осеченные, лихачи, прохожие шпалерами выстраивались вдоль тротуаров, кто-то кричал: «Долой!» — неизвестно, что или кого долой, другие свистели, третьи махали шапками, неожиданно отдал честь встречный поручик. Кинули комком снега, попало Андрею в плечо, не больно. Кто-то протискивался сзади, торопливо говоря: «Пропустите, пропустите, товарищи», рядом с Андреем оказался

Виктор Прокофьев, так и есть, норовит высунуться, впрочем, ведь и ты идешь впереди, а не думаешь про себя, что высунулся, и, кстати, в первых рядах куда опасней.

Идти было недалеко, но едва прошагали сажен сто пятьдесят, как возле знаменитой булочной Филиппова, дома под нумером 10, путь преградила цепь полицейских. Чуть подалее за ними гарцевали казаки.

— Господа! — офицер призывно поднял руку в перчатке. — Господа, прошу разойтись. В противном случае...

Песня смолкла, стало слышно и дыхание товарищей, и дробный перестук лошадиных копыт по укатанной мостовой. И лязг выдергиваемых из ножен шашек.

— В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут,—

запел Андрей и шагнул вперед, туда, где высверкивали шашки, где — видно было — крутились в воздухе нагайки.

Это очень трудно — сделать первый шаг навстречу врагу, навстречу опасности, быть может — гибели. Первым броситься в атаку. Первым кинуться в стылую воду, форсируя реку. Первым ступить на простреливаемый лед...

Атаки предстояли члену РВС 1-й Конной армии Андрею Сергеевичу Бубнову. Ему, крупному военному и партийному руководителю, делегату X съезда РКП(б), предстояло с винтовкой в руках идти в первой шеренге на мятежный Кронштадт. Ему предстояли атаки иного рода — против разномастных оппортунистов, против тех, кто пытался подорвать святая святых — единство партии. Это все предстояло ему.

Сейчас он сделал первый шаг. Рядом с ним — Глеб. И еще — Сурен Спандарян, горячая голова, славный товарищ.

Сурен писал отцу:

«Это было нечто грозное, грандиозное! Печально только, что убито несколько человек студентов и курсисток. Многие ранены, есть и искалеченные. Правительство было до того перепугано, что оно вызвало артиллерию, а зверства полиции и казаков перешли всякие границы... Не скрою, что участвовал и я, но благополучно выкрутился, хотя фуражка моя осталась на поле брани и меня малость поколотили. Но во имя справедливости нужно сказать, что и я своей дубинкой изрядно прошелся по спинам и головам полицейских».

Казаки вклинились в ряды студентов, нагайки свистели, раздавались тупые — плашмя — удары шашек. Андрей увидел: Виктор с какой-то железкой в руке ломится прямо на полицейского и тот уже приготовился полоснуть шашкой, да не тупой стороной, не плоскостью, а лезвием, и Андрей, откуда прыть взялась, сгреб Виктора — тот остервенел и вырывался, — втолкнул в какой-то подъезд. Прокофьев норовил сбежать, Андрей завернул ему руки за спину, взволок на следующую площадку. Высокую дверь приотворили — слегка, с накинутой цепочкой. Андрей подумал, что их сейчас впустят, спрячут, или, наоборот, навалятся, закричат полицию, но ни того ни другого не случилось, дверь наглухо замкнулась. С улицы доносились звуки выстрелов. Виктор вдруг стал вялым, покорным, как наказанный ребенок или обиженный старик. «Спасибо, Андрюха, спасибо, друг, если б не ты...»

Андрей не ответил, осторожно выглянул наружу. В считанные минуты все кончилось. По тротуару шла обычная публика, по заснеженной мостовой катили «ваньки» и лихачи, тряслась конка. Дворник широкой, окованной по краю жестью лопатой сгребал снег. Сметенные в

кучу, лежали форменные студенческие фуражки. Валялся неподалеку обрывок красного полотнища. Дворник шоркал лопатой и как-то странно косился на подворотню. Ничего подозрительного Андрей не заметил и за руку, словно маленького, вывел Виктора наружу.

Полицейских не было. Дворник не обратил на студентов внимания, он по-прежнему поглядывал в провал темных ворот. Андрей посмотрел в ту же сторону и услышал, как дворник тихо попросил:

— Не ходите, господа, страх дюже берет...

Дворник — с крестьянским открытым лицом, нестарый. Не препятствовал, просил только...

И в сумраке подворотни Андрей увидел каблуки... Они выглядывали из-под грубой, уже слегка скоробленной морозом ряднины. Андрей шагнул туда, и Виктор безвольно последовал за ним.

Шесть, нет, семь тел уложены были возле стены, промерзлой, с обсыпанною штукатуркой, лица накрыты студенческими фуражками, а два — меховыми шляпками. Видно, сложили здесь, покуда не приедут забрать.

— Господи, — забормотал Виктор, — господи помилуй, — бормотал он и, забыв обнажить голову, принялся осенять себя крестным знамением, — и мы здесь могли так лежать... Ох, Андрюша, друг, спас ты меня, век не забуду.

— Сволочь, — сказал Андрей и сильным тычком в подбородок сшиб его с ног. — И твоих ведь рук дело...

В казенных номерах Петровки, предназначенных для проживания обучающихся, в комнате № 43 во втором этаже левого крыла, в 10 часов 45 минут пополудни, при обходе господином управляющим хозяйством, по взламывании двери обнаружено мертвое тело студента третьего курса, сына московского мещанина, владель-

ца башмачной мастерской, Виктора Павлова Прокофьева. Причиною смерти последовало удушение посредством веревочной петли. Следов стороннего насилия на трупе не обнаружено. Покончивший с собою никакой записки, проливающей свет на поступок его, богопротивный и неразумный, не оставил. Однако двумя днями позднее Андрей Бубнов получил почтою конверт с письмом покойного, в котором Виктор признавался в том, что был агентом охранного отделения, а к смерти его привело «ужасающее зрелище», как он выразился, расстрелянной декабрьской демонстрации. Бубнов порвал писульки в клочки и мыл руки долго, старательно.

3

А 8 января...
Санкт-Петербург.
10 часов.

Под председательством министра внутренних дел генерал-адъютанта князя Петра Даниловича Святополк-Мирского собралось чрезвычайное заседание. Присутствовали великий князь Владимир Александрович, главнокомандующий гвардии и столичного округа, чины его штаба, градоначальник Фулон, министр финансов Коковцев, полицейское начальство. Несколько поодаль, как бы подчеркивая свою здесь неофициальность, — должности в Петербурге не имел доселе никакой, занимая пост московского полицмейстера, — расположился генерал-майор Трепов. Его мало кто знавал тут в лицо, но уже все понаслышались о том, как вызван он был государем, имел длительную, наисекретнейшую аудиенцию и на заседание был приглашен по высочайшему повелению. Поэтому все исподтишка окидывали Дмитрия Федоровича взорами, он же словно взглядов не замечал, сидел каменно и, единственный из всех, не испросив позволения у великого

князя, — тот передернулся, но смолчал, — подымливал душистой гаванской сигарой, следя, чтобы столбик пепла держался как можно дольше. И Святополк-Мирский был возмущен: табачного занаху не переносил, а также и панибратства, хотя и слыл за либерала, однако и он не мог осадить этого парвеню, который, по слухам, сделается чуть ли не государевым наместником в столице. Слухи вздорные: какой может быть в столице наместник, однако что-то подобное, кажется, предстоит. О том же думал и начальник окружного штаба пролыра барон Фитингоф, толстенький, благодушно-слащавый, с бабьими пухлыми щечками и наманикюренными ногтями; он вертелся так и этак, обращался то к непосредственному начальству, великому князю, то к министру, но при этом норовил изобразить, будто доклад его адресован загадочному Трепову.

Загадочный Трепов всю эту болтовню презирал. Сотрясение воздусей. Вызвали войска из Нарвы, Пскова, Петергофа, даже из Царского Села. Восемнадцать батальонов, двадцать один эскадрон, восемь казачьих сотен. Разбили город на боевые участки. Всего в столице сейчас примерно сорок тысяч солдат, казаков, полицейских. Ну и что? А дальше? Выжидать надобно, говорит великий князь. Чего, собственно, выжидать? И так весь Петербург бастует. Выжидать, пока начнут бунтовать? Начинать надо самим. Однако следует сделать то, о чем не подумали собравшиеся здесь господа: узнать от Гапона точно, совершенно точно, без филерских бумаженций, что задумал он. И поговорить с Гапоном должен он сам, Дмитрий Федорович Трепов.

Полдень.

Гапона лихорадило: он знал, что наступает его час! Крестьянский сын, познавший нужду, на медные гроши кончив духовную семинарию, а засим и академию, он

принял сан священника петербургской пересыльной тюрьмы и там навидался такого... Гапон вроде возымел намерение по силе возможностей своих помочь рабочему люду. Он штудировал труды социалистов-утопистов — Кампанеллы, Сен-Симона, Фурье, — и первый проект, с которым он выступил публично, состоял в организации трудовых колоний-общин для городских и сельских безработных. Поддержки у властей эта идея не нашла, однако принесла Гапону популярность в рабочей среде. Тогда Гапон побывал в Москве, где, он знал, существовали организации Зубатова, и решил перенести эту систему в Петербург. В ту пору состоялось и его личное знакомство с Зубатовым. Вероятно, Гапон стал и агентом охранки (почему — кто объяснит?), ибо в противном случае с какой стати, не будучи уверен в его благонадежности, министр внутренних дел Вячеслав Константинович фон Плеве благословил бы сего новоявленного реформатора в рясе учредить «Собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга»? По уставу членами его могли состоять рабочие «непременно русского происхождения и христианского вероисповедания». И устав этот, и явное покровительство полиции возбуждали недоверие к Гапону со стороны сознательной части пролетариата. Не увенчались успехом и его попытки сблизиться с передовой интеллигенцией. Но известность Гапона и авторитет его среди питерских рабочих масс росли и росли. Тому, кстати, способствовали и внешние данные: был он хоть и ростом невысок, но красив, обладал прекрасным голосом, ораторским даром, умением убеждать.

«Собрание» — а по другим данным, называлось оно «Общество» — распространилось на весь Питер. Вскоре в нем сделалось одиннадцать отделений. Тут вот Гапон и решил перейти к решительным действиям.

В скромной его квартире — нарочито ли скромной, или в самом деле был бескорыстен? — 6 января собрались

двадцать два представителя всех отделений. Тут и выработали петицию царю. Она содержала в основном требования экономические. К этому времени бастовали почти все предприятия столицы, и Гапон, весьма чутко улавливающий любое изменение ситуации, понимал: без политических мотивов не обойтись, слишком накалена обстановка. Пока он воздержался от предложений такого рода. Не исключено, что Гапон предварительно ознакомил с текстом петиции свое жандармское «начальство» и ему посоветовали вставить пункты, касающиеся изменения общественного строя. Ведь за одни требования об улучшении жизни расстреливать мирную демонстрацию было как-то негоже, а прихлопнуть бунтовщиков было не просто крайне желательно, но позарез необходимо: иными средствами казалось невозможным погасить забастовку питерцев, готовую вот-вот перекинуться в другие города.

Итак, в полдень у Гапона сошлись те же, позавчерашние, представители одиннадцати районов.

Гапона лихорадило. Настал его час. Он — искренне? — верил, что сделался отныне подлинным освободителем России.

4 часа пополудни.

Священника Георгия Гапона пригласил к себе генерал-майор Дмитрий Трепов, прислал мотор. Беседа продолжалась долго. Про что говорили — осталось для истории неизвестным.

5 часов пополудни.

Делегаты санкт-петербургской интеллигенции во главе с Максимом Горьким добивались аудиенции у председателя Комитета министров, достаточно либерально настроенного Сергея Юльевича Витте, чтобы вручить ему по-

слание с просьбою о неприятии мер жестокости против мирной манифестации рабочих. Сергей Юльевич, умывая руки, порекомендовал уважаемым господам обратиться к министру внутренних дел Святополку-Мирскому, мотивировав тем, что сам он, Витте, не слишком осведомлен о сути происходящего. Истинной же причиной было то, что сравнительно недавно, в августе 1903 года, Сергей Юльевич получил отставку с поста министра финансов и назначен был высочайшим повелением в должность председателя Комитета министров, она являлась тогда чисто совещательной и приравнена фактически к почетному отстранению от государственных дел.

6 часов пополудни.

В резиденцию Святополк-Мирского прибыла делегация во главе с Максимом Горьким. Их не приняли.

9 часов пополудни.

Государю императору в Царское Село доставили текст петиции. Она казалась и верноподданнической, и не совсем верноподданнической. И так и этак можно было толковать. Николай II повелел употребить бумагу для непристойных нужд, а распоряжения свои, данные прежде, оставить в законной силе, перепоручив великому князю Владимиру Александровичу, главнокомандующему гвардией...

В то же время.

Большевистский комитет столичной организации РСДРП сумел распространить только что отпечатанную листовку ко всем питерским рабочим. В ней говорилось, что ждать свободы от царя бессмысленно, царя надо сбросить и лишь таким путем смогут пролетарии, крестьяне добиться подлинной свободы.

Полночь.

Петербургский комитет РСДРП решил пойти на компромисс: принять участие в демонстрации, поскольку ее предотвратить невозможно.

Полночь.

Возбужденный, веселый, верящий в святость затеянного им дела, Гапон ликовал, но ведая, что через год с небольшим по приговору суда рабочих будет вздернут в лесу в Озерках, не ведая, что станет на колени, будет просить пощады, но пощады ему не последует: слишком велика мера вины перед теми, кого предал он.

Полночь.

Николай Александрович, государь император, не изволил почивать. Он думал о завтрашнем дне. Воскресенье, придворный бал по случаю завершения рождественского поста, будет танцевать в паре с Матильдою Кшесинской, прима-балерина изящна, сметлива и, кажется, готова пойти на большее, нежели протянуть для целования тонкопалую ручку...

Полночь.

Петербургу полагалось бы спать. Он и спал — тот, что охватывает Невский, Литейный, Владимирский, Гороховую, Миллионную. Окраины же не спали.

Москва.

Здесь получены присланные из Женевы оттиски второго номера большевистской газеты «Вперед», редактируемой Лениным. В качестве передовой напечатана статья

Владимира Ильича «Падение Порт-Артура». В ней, в частности, говорится:

«...Военный крах, понесенный самодержавием, приобретает еще большее значение, как признак крушения всей нашей политической системы... Самодержавие завело себя в такой тупик, из которого может высвободиться только сам народ и только ценой разрушения царизма».

Женева.

Ленин пишет статью «Петербургская стачка». Оторванный от России, пользуясь только первыми сведениями, полученными из русских легальных и заграничных газет, он тем не менее с невероятным своим даром предвидения дает прогноз, который назавтра полностью оправдается:

«...Стачка уже стала громадной важности политическим событием... движение зубатовское перерастает свои рамки и, начатое полицией в интересах полиции, в интересах поддержки самодержавия, в интересах развращения политического сознания рабочих, это движение обращается против самодержавия, становится взрывом пролетарской классовой борьбы».

Шуя, Владимирской губернии.

Столичная организация большевиков командировала в этот уездный город студента-ленинца Михаила Васильевича Фрунзе, он же Трифоныч...

4

Окончательный текст гапоновской петиции гласил:

«Государь!

Мы, рабочие и жители города С.-Петербурга разных сословий, наши жены, и дети, и беспомощные старцы-

родители, пришли к тебе, государь, искать правды и защиты... Настал предел терпению. Для нас пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук...»

Что касается смерти, «желание» их было исполнено.

10 января официозная печать сообщила: в воскресенье убито 96 и ранено 330 человек. Через несколько дней журналисты подали министру внутренних дел список *4600 убитых и раненых.* «Конечно, — писал Ленин, — и эта цифра *не может быть* полной, потому что и днем (не говоря уже о ночи) невозможно было бы подсчитать всех убитых и раненых при всех стычках».

С помощью своих приспешников Гапон скрылся во время расстрела и бежал за границу.

11 января Трепов был назначен генерал-губернатором Петербурга с диктаторскими полномочиями. Первым делом он приказал арестовать членов депутации от интеллигенции, приходивших к Витте и Святополку-Мирскому с просьбою о предотвращении расправы над рабочими. Арестованы: Гессен, Арсеньев, Кареев, Пешехонов, Мякотин и другие. Горького схватили в Риге несколько позднее. «Либеральный», по мнению государя, Святополк-Мирский через неделю уволен в отставку.

Николай II принял в Царском Селе 34 рабочих, специально подобранных полицией, и, как писал Ленин, произнес «полную казенного лицемерия речь об отеческом попечении правительства и о прощении преступлений рабочих».

«По улицам постоянно проезжают патрули казаков... Электричества и газа нет. Аристократические дома охраняются группами дворников... На Невском были столкновения народа с войском. В толпу опять стреляли...» (Ленин).

Начались стачки в шестидесяти шести городах России.

Началась революция.

Андрей Бубнов уехал в Иваново-Вознесенск. Он понимал: его место сейчас там. Он там нужнее, чем в Москве.

Глава вторая

1

Зеленый вагон третьего класса — их так и называли: «зеленые», в отличие от желтых и синих, предназначенных для «чистой публики», — на каждые два открытых купе полагалась одна стеариновая свеча, она висела в застекленном простенке, читать при таком тусклом свете было невозможно, оставалось одно — спать, притулившись к переборке. Усталый донельзя Андрей так и сделал. Было шумно, дымно, а он все-таки спал. Оттиск прокламации он положил в задний карман брюк, чтобы ненароком не вытащило жулье.

Явился он домой, не послав депеши; дом пребывал в унынии: хворал папенька, мучился ишиасом, ни горчичники, ни мушки не помогали, потогонные средства тоже. Сергей Ефремович исхудал, в свои сорок девять лет выглядел стариком и повел себя по-стариковски: не придирался, как бывало, не петушился, а каким-то отходящим голосом говорил: дескать, сынок, — никогда так не обращался раньше — тебе вот двадцать два скоро минет, мужчиною стал, но это еще не возмужание, оно придет годам к тридцати пяти, а еще через десяток лет окончательно жизненный опыт обретешь, больше уж ничего нового для себя не узнаешь, будут лишь подтверждения известного... К чему это папенька, Андрей не смекнул, но было ему отца жалко: худой, простреленный болями, хотелось его как-то приласкать, утешить, но Андрей этого делать не умел...

Ту же неумелость ощутил он, побывав у другого «старика» — Афанасьева. И он лежал в постели: схватило печень, отбитую когда-то в тюрьме. И кашлял вдобавок непрерывно, при каждом приступе кашля хватался за печень — там отдавалось болью. Но Бубнова не спроваживал и листовку, привезенную из Москвы, прочитал со всем тщанием.

«Пролита святая кровь тех, кто захотел добиться для народа хлеба и свободы. Эта кровь петербургских рабочих. Они хотели лично поговорить с царем о своих делах... Царь вместо себя выслал на площадь войска, напутствуя их словами: «Стреляйте в эту сволочь». Московские рабочие... выходите на улицу с оружием в руках... Помните, что в случае сильного движения в Москве к вам присоединятся рабочие Орехово-Зуева и Иваново-Вознесенска... Помните, что за вас вся интеллигенция, вся учащаяся молодежь, одним словом, за вас весь русский народ».

Неспроста выделили наш город особо, сказал Отец, есть к тому поводы...

И в самом деле, Иваново-Вознесенск, город и безуездный даже, в России занимал место особое, пожалуй исключительное.

В конце прошлого века в государстве жило 128 миллионов человек. Из них рабочих — около двух миллионов. Значит, примерно полтора процента. Запомним.

Сравним со столицей. Всего населения — 1267 тысяч. В том числе рабочих — 75 тысяч. Этак процентов шесть.

А Иваново-Вознесенск? Из 54 тысяч — 24 тысячи пролетариев. Чуть ли не половина.

Имеет значение такая цифирь? Безусловно. Да еще какое, думал Андрей.

Неспроста в прокламации Московского большевистского комитета говорилось о том, что иваново-вознесенцы поддержат вооруженное восстание или другие протесты.

Городской партийный центр 16 января собрал всех заводских и фабричных организаторов. Огласили только что подготовленную листовку:

«Товарищи! Петербургские рабочие проливают свою кровь за освобождение рабочего класса. Неужели вы, товарищи, будете молчать в такое время! Нет, вы пойдете за нами, социал-демократами». И снова требования восьмичасового рабочего дня, повышения заработной платы, создания комиссий от рабочих и хозяев для урегулирования взаимоотношений.

Бубнова листовка не удовлетворила. В обращении Петербургского комитета партии речь идет и о созыве Учредительного собрания, и о передаче власти в руки парламента, и об уравнении в гражданских правах всех сословий, и о гарантиях политических свобод, — а мы по-прежнему ограничиваемся только «борьбою за копейку». Забастовки на каждой фабрике проходят отдельно, а пора готовить всеобщую, как было в Питере, и готовить тщательно, не слишком торопиться, отдельные же выступления никакой пользы не дадут.

Это, пожалуй, верно, согласился Дунаев, невысокий, худой, рябоватый, с усиками в ниточку. Пять дней назад мы везде помитинговали, прокламацию отпечатали, чтобы поддержать питерцев, призвали бросить работу и «Долой самодержавие!» провозгласили, а кто откликнулся? Отбельщики у Зубкова, да и то не все, и опять — прибавки к жалованью просили... Зубков не лыком шит, видел, что смирно себя ведут, не требуют, а вроде бы просят покорнейше, вот он кукиш и показал, без масла даже. И что? Проглотили как миленькие, рукавом утерлись, на место пошли.

Чепуху городишь, прервал Уткин, железо куют, пока горячее, про питерский расстрел все знают, только и разговору, где ни прислушайся. Не получилось у Зубкова — надо поднимать у других. Прокламацию

заново Химик составит, он у нас шибко грамотный (подколол-таки).

А я утверждаю, загорячился Андрей, что нет пока у нас для всеобщей политической стачки условий, либо сорвется, либо, повторяю, обернется прежним «экономизмом». Будем смотреть правде в глаза: текстильщики — не самый передовой отряд рабочего класса, прекрасно знаете сами, большинство рабочих — из деревни, много женщин, почти все неграмотные. И настоящей агитации мы не вели, я имею в виду агитацию политического характера.

В спор вступили другие: Лакин, Семенчиков, Икрянистова. Смотрели на Афанасьева — что скажет, его-то слово, пожалуй, решающее. А Отец помалкивал, сидя на лавке в красном углу (собрание проводили в избе у надежного человека), ломал для чего-то спички, складывал двумя кучками. Вертел самокрутки. Откашливался. И помалкивал.

И Андрей решил больше не ввязываться. Было ясно: большинство за стачку, и если может кто переубедить, так только Отец. И если он до сих пор слова не молвил, значит, колеблется и, скорее, выступит все-таки против большинства, иначе какой резон молчать, давно бы высказался — и делу конец. Андрей ждал.

В самом деле, Афанасьев колебался. Старше всех и годами, и опытом революционной работы, он думал о том, что обстановка действительно сложная. С одной стороны, прав Уткин: куй железо, пока... Но прав и Бубнов: нельзя сравнивать петербургский пролетариат с иваново-вознесенцами, другой уровень сознательности, другая организованность. Да и там ведь ох как не сразу пришли к мысли о требованиях политических свобод. Да и кто здесь поведет? Бубнов? Всех образованней, молодой, это так. Но вряд ли ему рабочие поверят, чужой он для них, батюшка, Сергей Ефремович, в городе чуть не каждому известен, скажут: мол, балуется барчук, не более того.

Балашов? Мужик честный, партии предан, любое задание выполнит, но — не речист. Дунаев? Лакин? Это ораторы хоть куда, особенно Дунаев, а организаторская жилка слаба, и Евлампия Дунаева вдобавок заносит в сторону, чаще всего к «экономистам». Он сам, Афанасьев? Стар он, больной, усталый, видит плохо, без палочки шагу не ступит... А начинать все-таки надо, медлить не годится, пока не остыли взбудораженные питерскими событиями головы.

И, уже почти не слушая спорщиков, Афанасьев докурил самокрутку, смешал в одну кучку ломаные спички (это он подсчитывал, кто «за», кто «против»), высказался: забастовку надо начинать. Завтра. Тянуть ни к чему.

Этого Андрей все-таки не ожидал. К Афанасьеву он испытывал огромное уважение, но сейчас он поддержал явно ошибочную точку зрения, в том, что ошибочную, Бубнов не сомневался. Однако слово было сказано, и все разом утихли, начали говорить уже о практических делах. Как и предлагал — правда, с подковыркою — Уткин, прокламацию писать поручили Андрею, и как можно скорей, прямо здесь, покуда об остальном договариваются.

Разговоры не мешали, Андрей писал; листовку одобрили, решили ее распространять сперва среди литейщиков, — они в массе своей пограмотнее, чем ткачи, на их сознательность надежды больше.

Из этой затеи ничего хорошего не получилось. Правда, семнадцатого с утра забастовали литейщики «Анонимного общества», к обеду их поддержали на заводах Калашникова, Мурашкина, Смолякова. Но вышло-то на улицы всего человек не более шестисот. На митинге выступал Роман Семенчиков, но речь закончить не успел: примчались казаки, пошли в ход нагайки, приклады. Уткин по собственной инициативе стрелял в Кожеловского — промахнулся. Больше тридцати товарищей арестовали, в участке их били. На третий день литейщики приступили к работе.

2

Сразу после фактического провала забастовки Андрей собрался опять в Москву,— он метался, настроение было хоть головой в прорубь, перемешалось все: и обида (не убедил, не послушали!), и чувство бессилия, и боль за арестованных, избитых товарищей, готовность ринуться в бой. Подбавил горечи Никита Волков: повстречал на улице — похоже, специально подкарауливал, — сочувствовал, а в голосе торжество. Не принесло утешения даже то, что позвал к себе Отец и открыто повинился: дескать, прав ты был, Химик, напрасно тебя не послушали, видно, я старею, соображать стал плохо. Андрей отвечал приличествующими словами: ну какая, мол, Федор Афанасьевич, старость и не один же вы, в конце концов, а большинство решало, — но фальшивость слов своих Бубнов знал сам, потому что и в самом деле думал о старости Афанасьева и о том, что именно его, Отца, мнение решило все. Уважительно-покаянный тон Афанасьева не облегчил Андрею состояния, все равно Бубнову только прибавилось смятения: он-то из кожи лез, битый час уговаривал, а Отцу стоило две-три фразы произнести, и баста. Андрей понимал, что напрасно вообразил, будто его приезд сюда был столь уж необходим, да-с, уважаемый товарищ Бубнов. Рановато вам записываться в революционные трибуны, еще нос не дорос. Он возражал сам себе. Ульянов был немногим старше, когда организовал «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», и подпольную кличку тогда имел Старик. И полководцами, и государственными деятелями в его, Андрея, возрасте делаются, в истории тому примеров тьма. Что ж, значит, не в годах дело, а в уме, в характере, в силе воли, в образованности, в умении убеждать и вести за собой, значит, тебе как раз этих качеств и не хватает, Андрей Сергеевич.

Заплаканная маменька с кухаркою ставили тесто,

чтобы с утра напечь в дорогу пирогов. Андрей уложил баул, спровадил Николку, заперся в их с братом комнатке и, чтобы заполнить время и отвлечься, принялся разбирать старые бумаги.

Их оказалось немного: педантичный Андрей рвал все черновики, а переходя из класса в класс, уничтожал письменные работы, дневников не вел, только хранил переписку с Володей, несколько тетрадок с цитатами, да еще в низу шкафчика, среди самого невинного свойства брошюрок, обнаружил он старательно им переписанный «Катехизис» Сергея Нечаева.

Письма брата перечитывать не хотелось,— Володя умел быть излишне резонерским, во многих строках так и лезло снисходительно-покровительственное отношение к младшему, хотя, признаться, письма были умны и содержательны. А вот нечаевские откровения Андрей заново просмотрел.

Революционер знает только одну науку — науку разрушения. Для этого и только для этого он изучает механику, физику, химию, пожалуй, медицину. Для этого изучает денно и нощно живую науку людей, характеров, положений и всех условий настоящего общественного строя. Цель же одна — наискорейшее разрушение этого поганого строя. Революционер презирает общественное мнение, общественную нравственность... Природа настоящего революционера исключает всякий романтизм и чувствительность, восторженность и увлечение...

Личность, конечно, незаурядная и в чем-то невероятно отталкивающая. Авантюрист, фанатик, убийца, аскет, безумно отважный, беспринципный, преданный идее... Наука разрушения? Но где наука созидания? Изучать физику, химию — чтобы разрушать? Ну, допустим. А как быть с философией, с политической экономией — побоку? Никаких личных эмоций, никаких личных чувств,— господи боже, да что, революционеры — механические

создания разве? Заводные куклы, человекоподобные механизмы? Посмотрел бы на Олю Генкину, Баумана, Дунаева... Андрей медленно, старательно разорвал тетрадку. Побаловался, пощекотал нервы — и хватит.

Он подумал о Полине Марковне, библиотекарше, у которой переписывал «откровения» Нечаева. Милый она человек. И, кажется, очень одинока. Что может быть страшней одиночества? Такого, как вот сейчас у него. Как-то вышло, что не влюбился ни разу, детские влюбленности не в счет. Оля... Нет, это не любовь. Он сам не знает, что́ это, и не хочет называть какими-то обычными, пускай и возвышенными, словами... Наверное, от Оли в Москве ждет письмо. Хотя в Питере аресты, а уж Оля наверняка не удержалась и пошла 9 января в рабочих колоннах к Зимнему. Наверняка Оля не удержалась, пошла, даже если не посылали...

...Не красные знамена — хоругви. Не большевистские лозунги на кумаче, но иконы. И не бомбы, не револьверы в карманах, а только нехитрый съестной припас: вышли рано, путь для многих долог, когда вернутся — неизвестно...

...почти как со средневекового портрета, статен, строен, волосы черны, глаза глубоки, в них и ум, и святой огонь веры, и торжество, — сегодня его вершина, пик его жизни, немыслимый взлет...

...на прекрасной, шелковистой, с золотым обрезом бумаге, отборнейшим шрифтом — лучшие наборщики — и сафьяном обтянутая папка — лучшие переплетчики, — не кому-нибудь, а батюшке-царю...

...колонну не выбирала, — комитет большевиков своих представителей по районам не распределял, было поздно, все равно шествия не остановить, не направить так, как следовало бы, Гапон все забрал в свои руки, умен, популя-

рен, верит и внушает другим веру. Но идти надо, стыдно отсиживаться дома. «Останься дома, Оленька». Вот еще рыцари сыскались, в партии барышень нет, а есть революционеры...

...инеем выбеленные кони Клодта, Казанский собор, виден шпиль Адмиралтейства. «И светла адмиралтейская игла»... Уже близко...

...впереди. Может, «Варшавянка»? Вот было бы славно... Не разобрать пока ни мелодии, ни слов, но постепенно докатывается...

...«царя храни!» Все медленней, медленней, медленней... Остановились. Непонятный, с придыхом, шорох... Вот оно что — становятся там на колени... Нет уж... Надо туда, вперед... Прижимаясь к стенам, иначе не проберешься...

...как воробьишки — на ограде Александровского сада, на припушенных деревьях. Как воробьишки — маленькие, прозябшие, того и гляди свалятся, не надо бы сюда ребят, не надо...

...две шеренги, в шахматном порядке, винтовки к ноге, серые шинели, серые папахи, серое утро, серый снег, и стены дворца кажутся серыми, и серые вороны потревоженно галдят, и...

...а может, и генерал, отсюда не различишь. Но вот другого узнать нетрудно даже издали — красив, невероятно красив, протягивает большую папку, какие-то убеждающие жесты...

...утоптан, выпирает брусчатка, — наверное, коленям больно и холодно, и никто не встает, иконы подняты, хоругви трепещут. «Знамя есть священная хоругвь» — так вроде вдалбливают унтеры новобранцам, серые шинели, серые лица, серые щи в котелках, серый хлеб, серые казармы. Серая скотинка, определяют господа офицеры...

...удалось. Отсюда, от ограды, видней. Рядом — высокий, в студенческой форме, на кого-то похож, а на кого —

не догадаться, очень знакомое лицо, спросить, откуда, коллега, нет, сейчас не до того, по-прежнему там убеждающие жесты, винтовки к ноге, серый строй, серое небо, серый снег, удивительно похож на кого-то, ну как же не догадалась — на Бубнова похож, Андрей — славный мальчик и смотрел на меня так, будто...

...папки в руках не видно, и тихо-тихо стало, лишь серые вороны кричат серыми, тусклыми голосами и не улетают прочь, говорят, любопытны только сороки да галки, а эти почему не улетают? Пустые мысли какие-то, ей-богу...

...забыла, как это? Ах да, артикул, вот как, но почему здесь, зачем, для чего? Очень лихо и очень ловко проделали, какая ровная линия штыков и взмах сабли. Что это? Будут холостыми по...

...раздираемого полотна, всплески маленьких огоньков, и вопль — многотысячный, страшный, и мальчишки, мальчишки горохом вниз, и все назад, закрутило, понесло, успела обернуться — черные бесформенные пятна по серому снегу и красные пятна — поменьше, красные и черные на сером, и серые шеренги, ровные, как...

...успели: несколько человек — с той, с другой стороны — перетаскивают через ограду, длинные волосы, кажется, спутаны, и крест на груди болтается...

...к стене. Люди... мимо, а вдогонку, и там, за Невой, и, кажется, возле Исаакия, и еще где-то — всюду выстрелы, вопли, ребячий отчаянный крик...

...плотнее, иначе завертят, иначе толпою затянет, поволокут за собой, а надо здесь, вот выступ стены, надо все видеть, запомнить...

...не жандарм, армейский поручик, трое солдат. Мадемуазель, вам бы не здесь, а... Противное, под ладонью, ощущение чужого лица, — сразу клещевой захват, лишь бы не закричать от боли...

...тесно, темно, тряско, громыхают колеса, почему

колеса, не полозья? Потому что снег притоптали, саням не проехать. Куда? Наверное, в крепость, нет, сразу в крепость не возят, а...

...почему он вспомнился, редко вспоминала о нем, славный он мальчик и смотрит на...

Укладывались спать, уже погасили свет в столовой, в гостиной; вместо папеньки, больного, проверяла запоры маменька. Николка вернулся в подпитии, — частенько, видно, с ним такое случается, норовит явиться, когда остальные ложатся, и еще зажевывает мускатным орехом сивушный дух, уж коньяк бы пил, что ли, чем всякую дрянь. Снова пытался затеять пустые разговоры, Андрей велел молчать. Спать не хотелось вовсе, приготовил на ночь томик стихов Александра Блока, поэта, входившего в славу. Но почитать не пришлось, как не пришлось никому в доме уснуть до утра: негаданно, словно снег на голову, приехали Володя, Тоня, малыш Юрик...

3

Нельзя сказать, что Глазов был самым худшим местом в просторной Российской империи. Углы, куда упекали бунтовщиков, имелись куда пострашней. А Вятская губерния, хотя и одна из самых «лаптежных», все-таки даже не за Уралом, а в Европе, и Глазов, городок неприметный, стоит на железной дороге. И климат не убийственный. В общем, не самое гиблое место.

Владимир угас, это Андрей приметил сразу. Он и внешне переменился: отпустил бороду и усы, а длинные, слегка вьющиеся волосы для чего-то укоротил. Борода ему, впрочем, казалась к лицу, и не это в облике брата поразило Андрея, а то, что он как бы сделался ниже ростом, и походка из летучей — шаркающая, и словно бы

несколько позвонков вынули — спина не то чтобы пригорбоватая, но мягкая, неуверенная. А еще того удивительнее — ведь человека можно разгадать, его состояние определить не только по нему самому, но и по отношению близких, — что веселый, легкий, жизнерадостный человек Тоня притихла, поглядывала на мужа с тревогой, едва ли не со страхом. И Владимир, кажется, все чувствовал, все понимал, старался быть оживленным, старался шутить — он, конечно, радовался и освобождению, и возвращению в отчий дом, — но и натужность, и смятение приметил Андрей в его поведении, приметил, какими *ровными*, будто даже помертвелыми стали у брата глаза.

За полночь уселись за стол. И тут еще приметил Андрей: после второй, после третьей ли рюмки, выждав, когда хворый папенька отлучился, а маменька хлопотала над блюдами, Владимир быстро налил себе полстакана водки, опрокинул разом, поймал взгляд Тони, схватил бутылку сельтерской и приникнул, будто ее только что и пил.

В пятом часу разошлись по своим комнатам. И, как обычно после встречи, Владимир и Андрей остались вдвоем у неприбранного стола, прислуга тоже умаялась, маменька велела приборку отложить до утра. Владимир, как только прикрыли дверь, выпил стакан вишневки.

— Пьянствуешь? — спросил Андрей напрямую.

Вместо ответа брат налил себе еще, поглядел вызывающе, опрокинул, не закусил.

— Пью, — ответил он после. — Пью, понятно?

— И часто?

— По мере возникновения потребности.

— Потребность часто возникает?

— По мере ее необходимости.

— Паясничаешь?

— Паясничаю. — Владимир посмотрел трезво. — Не хотите ли, уважаемый Андрей сын Сергеев, богом данный братец, я вам про город Глазов изложу? За три года имел

возможность, честь и удовольствие досконально изучить его историю, культуру и экономическое состояние, а также нравы и обычаи аборигенов. Итак, в граде сем сооружений каменных — самолично пересчитывал — числом пятнадцать, из коих восемь принадлежат общественным всяким заведениям, включая, понятно, тюрьму, без которой ни один российский город не обходится. Остальные — у купчишек и служителей господних. Прочие жилища — наподобие нашей избушки-хибарушки, в такой и мы обретались. Финансы городские? И это знаю, правда сведения чуть приноздалые, но и в оные годы не изменились, прикидываю. Затвердил, повторю тебе. На городское самоуправление в год три с половиной тысячи выкладывают, на просвещение народное — меньше полутора, на медицинскую же часть аж четыре сотенных отваливают. В уезде, где населения почти четыреста тысяч, на три тысячи деревень, раскиданных одна от другой верст на десять — двадцать, — трое врачей, трое! Это изволите понимать? Цивилизация? И оная существует. Церквей — три, притом две уж больно такие... привлекательные: тюремная да кладбищенская. Библиотека от земских щедрот — ну разве что с петербургской Публичной не сравняется, по свежим подсчетам, пятьсот сорок три книги, да еще какие: и «Бова Королевич», и бульварщина всякая, да и те половина неразрезанными стояли, мы с Тоней первыми прикоснулись, за эти годы сильно свое образование повысили. Интеллигенция? И она в наличии. Священников пятеро, дьяконов соответственно, пьют семеро каждодневно, остальные — по два раза на дню. В прогимназии учительши — сеют разумное, доброе, вечное, только почва тухлая, болотная, не всходят их семена. В духовном училище наставники юношества — бурсаки бурсаками. В приходском — недоучки творят недоучек, пишут корову через ять и тоже Бахусу не чужды. Развлечения? Картишки, винишко, ну а самое событие —

когда свадьбу играют, рожи в кровь, или того презанятней — покойника волокут на погост, уж всему городу развлечение...

— Погоди, Володя, — перебил Андрей. — Можно ли так, единым махом...

— Не можно, — передразнил брат. — Не можно так, и я тебе о том же говорю. Оскотинивается человек в таких условиях, теряет лицо человеческое, только что не хрюкает, да нет, и хрюкают, и петухами поют, и в трактире половому физию горчицей мажут, знай наших, мы по-столичному это умеем... Не помню, у кого читал, как двое земских фельдшеров, упившись до положения риз, хотели третьего собутыльника, местного батюшку, охолостить, как жеребца. Вот, говорят, это в Глазове и случилось... Ясно тебе? Не слыхивал про такое? Я тоже не слыхивал прежде. Народ, великий народ российский, какой черт... Мне там народоволочки, синие чулки, в окулярах все, втолковывали, дескать, мужичок российский, жизнь за него... Положили, сколько положили жизней, да каких! А проку? Спроси ты у этих мужичков про них, про всякие наши партии да союзы... Они, мужички, о деревне, что за десять верст, будто мы с тобою о Париже, говорят. Они собственного земского начальника в глаза не видывали. Они святых и тех не знают, им с амвона объявят, что завтра Никола или там Илья, — ну, значит, пей по такому случаю.

Он вдруг четко выругался — Андрей такое от Владимира слышал впервые, — скомкал пустую пачку.

— Черт, папиросы кончились, — сказал Владимир. — У тебя нету?

— У Николки, должно быть, есть.

— Принеси, а?

Наверху, в мезонине, выглянула Тоня, придерживая халатик.

— Ты чего не спишь? — спросил Андрей.

— Андрюша, — сказала она шепотом. — Вы там скоро? Я тебя очень прошу, не давай ты ему пить больше, нельзя ему, и как захмелеет — уж такое говорит, не приведи господь. Ты ему и пить не давай, и словам его не очень верь, он может начать от всего отрекаться, дескать, ни во что не верю... Ложились бы, на свежую голову потолкуете.

— Ладно,— пообещал Андрей разом на все просьбы.— А ты спи, куда это годится, рассветает уже.

Когда он вернулся, Владимир заметно отрезвел.

— Тоня спать велит,— сообщил Андрей.— Завтра договорим. Картину ты обрисовал жутковатую...

4

Как ни странно, в Москве Кровавое воскресенье не вызвало такого отклика, какого следовало бы ожидать. Размышляя о том, Андрей для себя сформулировал такие предположения.

Фабрично-заводских рабочих в первопрестольной относительно мало, сто тысяч с небольшим из миллиона с четвертью всего населения. Да и промышленность-то какая: производство мануфактурных товаров в первую очередь, а по Иваново-Вознесенску он знал, ткачи — наиболее отсталая часть рабочих, тон задают металлисты, литейщики. Почти половина всех москвичей — выходцы из деревни, город патриархальный, заскорузлый.

Территорию он занимает громадную, заводы и фабрики друг от друга размещены на большом отдалении, соединить усилия трудно.

Немаловажный фактор: девяносто шесть процентов обитателей — русские,— значит, нет национального угнетения, не случайно ведь петербургскую стачку подхватили самым решительным образом прежде всего в Польше, на Кавказе.

Отсюда парадокс: забастовщиками, бунтовщиками здесь оказались в первую очередь студенты. Почему же? — ломал голову Андрей. И отвечал себе: потому, наверное, что вникли, потому что молоды, нетерпимы. А сам он — нетерпим? Да, конечно, отвечал он себе. И готов к любому делу, было бы куда приложить силы.

Но...

Объявили стачку, отказались до сентября посещать свои учебные заведения студенты межевого института, университета, даже духовной академии.

Петровка же, как и раньше,— в стороне, в стороне. Благопристойность сказывается. Занятия шли своим чередом — геодезия, энтомология, законоведение, строительная механика и начертательная геометрия, шорох страниц в читальне, умные разговоры, духота и отвлеченность от всего, что за стенами института.

Дни тянулись, похожие один на другой. От Оли Генкиной писем не было, узнать про нее никак не удавалось. Глеб Томилин, единственный, с кем здесь, в институте, можно было говорить откровенно, куда-то исчез. Городской комитет переместился, а куда именно — Андрей тоже не разыскал.

Начался февраль, задували метели, город притих. Несколькими днями позже в газете «Вперед» Андрей прочитает ленинские слова о том, что затишье это лишь кажущееся, что ему сопутствует «продолжающееся глухое глубокое брожение рабочих масс». И о том, что в рядах этой массы еще не потонули пионеры вооруженной борьбы, террористы старого образца. Бубнов прочитает это через несколько дней, но в том, что жив терроризм, убедится воочию 4 февраля, когда рванула бомба эсера Каляева, отправив на тот свет великого князя Сергея, того, кто своей контрреволюционной деятельностью, по словам Ленина, «революционизировал Москву едва ли не лучше многих революционеров».

Андрей кинулся в университет, занятий там не было, зато вовсю бушевали сходки, завел кое-какие знакомства, раздобыл свежие выпуски «Вперед», в них подробности о январских событиях в Питере, открыто — о внутрипартийных разногласиях между большевиками и меньшевиками, о подготовке вооруженного восстания, о необходимости срочного созыва партийного съезда. Во многих статьях угадывался ленинский стиль.

Теперь Андрей набрасывался на газеты — всяческие, подряд. Почти перестал посещать лекции, просиживал часами в читальне, штудировал новости, сопоставлял сведения, пробирался через цензурные недомолвки, через хитросплетение либеральных словес. События начали выстраиваться в ряд... В начале марта, опять «по семейным обстоятельствам», он вернулся в Иваново-Вознесенск. На сей раз — кстати и вовремя.

Глава третья

1

Меньшевики прислать делегатов отказались наотрез. Передавали, что Георгий Валентинович Плеханов, литературу знавший блистательно, отвечал словами какого-то малопамятного тургеневского персонажа: ««Иди сюда, черт ле-ш-и-и-й... тебя тятька высечь хочи-и-и-т...» Вы тоже хотите меня высечь на съезде...»

Открывшийся 12 апреля 1905 года в Лондоне III съезд был по своему составу целиком большевистским. Приблизительно в это же время меньшевики собрались в Женеве, назвав заседания свои конференцией.

О предстоящем съезде иваново-вознесенские партийцы, Андрей в их числе, конечно, знали: еще осенью Северный комитет РСДРП неоднократно высказывался за

созыв, оповещал «о полном нравственном удовлетворении, доставленном настроением и поведением товарища Ленина». Более того, представитель Северного комитета вошел в Бюро по подготовке съезда.

Перед выездом в Лондон представитель этот побывал и в «русском Манчестере». Человек он был в этих краях сравнительно недавний, а имя и фамилию носил курьезные для профессионального революционера — Николай Романов, и это, вероятно, вызвало бы немало шуток, по подтрунивать, даже заглазно, по такому нехитрому и, в сущности, безобидному поводу не осмеливались: был Романов годами за сорок,— значит, немолодой и, слышно, крут нравом, суров. Да и то можно понять: за пятнадцать лет — два с половиною года в тюрьме, шесть в ссылке, три под следствием, остальные три с половиной под негласным надзором и без права жительства в обеих столицах.

По приезде Николая Васильевича собрали активных партийцев, Андрей в их числе. Романову открыто завидовали, а к тому ж и гордились: на сей раз от Северного комитета едет на съезд настоящий ленинец!

Сидя рядом, Андрей видел в руках у Романова два номера «Вперед», некоторые места отчеркнуты. Николай Васильевич их вскоре зачитал: «Девятое января 1905 года обнаружило весь гигантский запас революционной энергии пролетариата и всю недостаточность организации социал-демократов». Зато теперь, говорилось в другом выпуске, в активную политическую борьбу включилось много свежих сил, и «никогда не бывало у революционной России такой массы людей, как теперь...».

И тут же Романов сообщил, что, по самым свежим данным, в каждой из обеих столиц большевистские организации насчитывают по тысяче примерно членов, создаются новые группы и комитеты большевиков.

— В Питере и в Москве — по тысяче, а у нас — четы-

реста,— не удержался, перебил Андрей.— Это при том, что населения-то у нас...

На то, что его прервали, Романов не рассердился, продолжал говорить так же спокойно, все время подчеркивал: курс — на восстание, на восстание надо курс держать и выдвигать требования политические...

За несколько дней, что Андрей пробыл в Иваново-Вознесенске, он хорошо узнал обстановку. Настроение у рабочих боевое, пришлось даже отговаривать от стихийных выступлений, чтобы весною навалиться на хозяев всем миром. Однако недовольство кое-где прорывалось, в феврале бастовали у Фокина, а сейчас неспокойно у Бакулина, и у Полушина вот-вот может прорваться. Но и предприниматели не дремлют. Они, члены «Московского общества содействия русской промышленности и торговле», приняли там резолюцию: «Не делать никаких уступок рабочим, если бы даже от них явились и угрозы». И в то же время мелким пряничком заманивают: обещают с пасхи сократить дневную смену на полчаса...

После собрания Романов сразу же уехал — торопился к последнему поезду на Ярославль,— Афанасьев, как обычно в последнее время, задержал Андрея, сказал, что решено закрепить за ним всю работу по агитации, а также выпуску листовок, «только поначалу с Мишей Лакиным или Евлампием Дунаевым черновики составляй. А то, скажу тебе по чистой правде, иной раз больно уж по-интеллигентному пишешь, тут надо, как бы выразиться, поядреней, что ли. Они оба на язычок востры, ну а ты у нас в теорики — или, как там, в теоретики правильнее? — выходишь».

Очередная прокламация, написанная Андреем, отличалась от прежних, носила ярко выраженный агитационный характер, и стиль иной:

«Товарищи! Наши хозяева сбавляют нам полчаса, вводят 11-часовой рабочий день. Хозяева входят с нами

в панибратские отношения, приходят к нам в курилку (у А. И. Гарелина), дают папиросы, объявляют о своей «милости» рабочим. Что это такое? Что за причина благодеяний? Знайте, товарищи,— это волки приходят к нам в овечьей шкуре, чтобы легче обмануть нас, легче захватить добычу... Товарищи! Отказывайтесь все до одного давать подписку о согласии работать 11 часов, поддерживайте требования всей России. Объединяйтесь для борьбы с капиталистами и самодержавием в могучую рабочую партию вокруг социал-демократии».

Правда, основной призыв — чисто экономического толка, думал Андрей, но сразу не повернешь, нужно постепенно. Однако завершил он лозунгом политическим. Это в иваново-вознесенских листовках впервые. Пора, пора. В следующий раз открыто, в духе ленинских статей, в духе «Впереда» (он, по примеру самой газеты, название склонял).

Обстановка менялась день ото дня, крепче и крепче накалялась. 28 апреля — стачка у Бакулина, назавтра — у Ямановского и Полушина. Но говорили о повышении расценок, выплате квартирных денег, устройстве рабочей читальни. Не сверх того,— как и прежде, топтание на месте.

А через двое суток — маевка в лесу, возле Горина. Тут — резкий, почти непредвиденный поворот. Резолюцию — ее писал Андрей, используя только что привезенную из Кинешмы листовку, составленную, говорят, Лениным,— приняли единогласно, а в резолюции той уже напрямую:

«Да здравствует социализм, который выведет нас из омута нищеты, унижения и невежества на широкую дорогу к светлой человеческой жизни... Интересы рабочего класса и самодержавия несовместимы... политической свободы мы добьемся только тогда, когда окончательно будет низвергнуто самодержавие... Да здравствует восьмичасо-

вой рабочий день!.. Да здравствует немедленное вооружение народа для восстания! Да здравствует Российская революция!»

Это совсем определенно, это совсем по-большевистски, думал Андрей. Не о квартирах, не о читальне речь — о требованиях кардинальнейших. И, что самое важное, проголосовали все до единого!

Придя домой, он взял томик Глеба Успенского, принялся искать слова, что припоминал по дороге с маевки. Очень подходящими к случаю казались ему эти слова. Нашел. Вот:

«Тихими, тихими шагами, незаметными, почти непостижимыми путями пробирается мысль в самые мертвые углы русской земли, залегает в самые не приготовленные к ней души. Среди, по-видимому, мертвой тишины, в этом кажущемся безмолвии и сне, по песчинке, по кровинке, медленно, неслышно перестраивается на новый лад запуганная и забитая, забывшая себя русская душа, а — главное — перестраивается во имя самой строгой правды».

Да, народ перестраивался. Резолюцию приняли. Но пока это только резолюция. «В начале было слово».

Впереди было 12 мая.

2

Служба оповещения в Министерстве внутренних дел, в Отдельном корпусе жандармов, во всех его больших и малых управлениях была поставлена весьма и весьма недурно, и жандармский ротмистр Шлегель кое о чем знал, вероятно, не менее, а то и поболее, чем даже владимирский гражданский губернатор.

Знал о том, что за границей — правда, место со всею определенностью пока не установлено — собрался съезд социал-демократов большевиков. О созыве съезда в газете

«Вперед», внимательно Шлегелем читаемой, о созыве скорейшем, говорили открыто, но ни место, ни число не оглашали, равно как и вопросы, подлежащие обсуждению. Однако через агентуру стали известны два весьма важных документа, написанные Ульяновым-Лениным,— «Письмо организациям в России» и «Анкета», они многое прояснили. И о том Шлегель знал, что от Северного комитета выделен делегат, вероятнее всего поднадзорный Романов — улизнул из-под носа у ярославских коллег, они сюда шифровочку прислали, по телефону эзоповским языком справлялись, плакались.

Зная обо всем этом, Шлегель радовался, что по сию пору в Иваново-Вознесенске, вверенном его попечению, забастовки и стачки протекали сравнительно нешумно, борьба за копеечку, денек-другой поговорят и марш по местам. На что уж грозно прогремело после 9 Января в столице, а тут не откликнулось, ну была прокламация — не впервой. Образованных людей в городе наперечет, и уж никакие не бунтари, владельцы предприятий, благонамеренные преподаватели, отцы духовные.

Примерно так рассуждал ротмистр, и его рассуждения были бы правильны, если бы общественная жизнь не развивалась по законам диалектики и исторического материализма, а вот этих-то наук вполне образованный Эмиль Людвигович не вкусил, а если бы и вкусил, то, скорее всего, отвергнул бы, воспитан будучи в ином, мягко определяя, духе.

Но Шлегель обладал чутьем, хваткою, навыками, и потому-то не нравились ему два появления в городе Андрея Бубнова. Маловероятным было предположение, что лишь по чистой случайности он из Москвы приехал сюда сразу после 9 Января. И один ли? А если привез и новых людей, еще не примеченных усердными помощниками ротмистра? И вот сейчас... перед самыми событиями почти... И листовка первомайская на предшествующие не похожа.

К весеннему «празднику труда», как эсдеки выражаются, подкинули-таки подарочек.

Маевку нынешнюю Кожеловский, дубина стоеросовая, проморгал по-глупому. Кинул своих казачков и охламонов околоточных, городовых на три забастовавшие фабрики и утешился, а там разговоры как всегда — без политики. Честно признаться, и сам Шлегель дал маху, думал, что мелкая эта шебуршня отвлечет внимание эсдеков, они все нацелятся туда, а массовка если и случится в лесу, то, как повелось, за полдень.

Но Афанасьев с дружками обвели вокруг пальца даже его, опытного и прозорливого: собрались под Горином ранехонько, едва рассвело, и, не служи господину ротмистру верой и правдой поганец Васька Кокоулин, как знать, не остался ли бы Эмиль Людвигович в неведении о подробностях происшедшего.

Мразь, бесспорно, Кокоулин, но память имеет превосходную и пронырлив. Затесался и в минувшую массовку, чуть не до единого слова говоренное там запомнил. Он, присев к милостиво указанному Шлегелем столу, ту резолюцию писарским льстивым почерком воспроизвел. Да-с... Низвержение самодержавия, избирательное право для всех, немедленно чтоб народ вооружался, и — да здравствует революция!

Ничего приятного для Шлегеля в такой массовке и в такой вот прокламации не было. Дело пахло серьезным.

А зачитывал бумагу сию Бубнов. Вероятно, сам ее и составлял, других грамотеев не примечено. Правда, вернулся из ссылки старший его братец, Владимир, но тот, по сведениям, придавлен. Однако если приехали и другие, кроме Андрея Бубнова, из Питера, из первопрестольной? Бубнов-то на виду, а других, незнакомых, не вдруг возьмешь на заметку, да и маскарады еще со времен народников умеют устраивать: картузик, сапоги,

косоворотка, усы наклеит — попробуй угадай... Нехитро перерядиться.

Неплохо бы, конечно, драгоценного Андрея Сергеевича упрятать. Но — и улик прямых нет, и соратников его, ежели прибыли, спугнешь. Придется подождать. Не может быть, чтоб в такой ситуации кого-нибудь из ихних, эсдековских, центров не прислали.

Был Шлегель опытен и прозорлив, обстановку понимал. Предположения его сбылись, притом весьма скоро.

3

На широком пне, в тенечке, Андрей читал.

Уверенно дернули за кольцо калитки, так же по-хозяйски притворили, брякнула щеколда. По выложенной кирпичом дорожке к Андрею направился невысокий, в студенческом мундире, шинель переброшена через руку.

— Ты Андрей Бубнов, Химик? — спросил незнакомец, протягивая ладонь. Андрей насторожился: обращения на «ты» от чужих не терпел, и, кроме того, откуда известно имя и партийная кличка, ведь она пристала к нему совсем недавно? Гость, видимо, угадал причину заминки, сказал: — Прошу извинить, что я так, запанибрата, и вообще врываюсь.— Он хорошо засмеялся, и слегка нерусское, смуглое, скуластое лицо сделалось добрым, приветливым.— Итак, коллега, представляюсь: Трифоныч.

Тут засмеялся Андрей, он сказал в тон:

— Сергеич.

— Это я знаю,— Трифоныч опять улыбнулся.— Не балуйся, коллега, не маленький, двадцать два годика тебе стукнуло, дитяти.

Походило на провокацию: откуда такие точные сведения? Андрей опять насторожился, едва начав «оттаивать».

— Вот что,— сказал Трифоныч.— Ваньку валять не

будем. Я Михаил Фрунзе, по батюшке — Васильевич. Партийная кличка — Трифоныч. Студент, как видишь. Петербургского политехнического. Сейчас — из первопрестольной, командирован к вам Московским комитетом. Явку дали твою, других явок там не знают, паролей ваших тоже. Для проверки можем поиграть в детскую игру, понемецки называется «фраген — антвортен», то бишь «спрашиваем — отвечаем». Ферштейст?

Теперь выглядело явно лучше, нежели поначалу. Открытей. И в самом деле, вопрос — ответ — единственное, чем проверить. Однако ведь и провокатор может быть осведомлен основательно. Даже Варенцова зубатовского помощника не раскусила, уж Ольга-то Афанасьевна — подпольщица из подпольщиц...

— Не веришь,— сказал Фрунзе.— Вижу.

Кинул шинель на траву, поставил саквояж, выпростал из брючного кармана кожаный портсигар, сдернул верхнюю крышку, протянул Андрею, тот отказался.

— И табачок врозь? — с явной насмешкой сказал Фрунзе.— Похоже, за провокатора меня считаешь? Насчет молчаливости твоей меня в Москве предупредили. Чем прикажешь завоевывать доверие? Не хочешь опрометчивых вопросов задавать? Тогда начну сам.

Назвал Афанасьева, Дунаева, Уткина, Варенцову, помянул Баумана, Бориса Позерна — сходилось все. И Олю Генкину...

— Ты и Олю знаешь?

— К царю-батюшке почти рядом шли...

Когда Фрунзе упомянул Олю, в голосе его Андрей услыхал некие особливые нотки, не удивился: об Оле казалось немыслимым говорить обыкновенно, обыденно, и (подобное случается нередко), если двое мужчин с одинаковой недосказанностью вспоминают вслух одну и ту же, выражаясь несколько сентиментально, прелестную женщину, такое обстоятельство мужчин не разъединяет,

а как бы сближает. И в ту минуту Андрей и поверил Михаилу, еще протянул разок руку в знак доверия.

Выяснилось, что Фрунзе на два года моложе, побывать успел в ссылке, бежал, очутился в Москве, попросил дела, послали вот сюда.

— Не слыхал, партийный съезд завершился? — спросил Андрей.

— Ага, двадцать седьмого апреля.

— Расскажи.

— Долго. Какой смысл — тебе одному? Познакомишь с товарищами — сразу всем и расскажу. А пока...

— Фу ты, черт,— спохватился Андрей.— Ты с дороги. И не умылся, и голодный, конечно. Пойдем.

На это Михаил ответил, что задерживаться ему тут не годится, а вот как бы сразу пристроиться на квартиру? Андрей подумал и решил, что к Черникову — вполне свой: хоть в организацию и не входит формально, однако вполне сочувствует.

Чтоб не увидели вдвоем, на Рылиху Андрей повел кривыми закоулками-переулками, а где и огородами, где овражком. Черникова застали дома, понял с полуслова, велел жене ставить самовар, извинился, что угощением небогат, но голодным не оставит. Фрунзе вытащил кольцо колбасы, дюжину крутых яиц. Во время чаепития Черников первым сказал, что в студенческой форме щеголять не след, мигом «фараоны» положат глаз. Откинул занавеску возле печи, снял с гвоздя пиджак, из комодишка достал брюки, косоворотку — все выходное, почти ненадеванное. Фрунзе стал отнекиваться — неловко,— на это хозяин отвечал, дескать, невелика услуга.

Вероятно, ничто так не взбадривает больного, немощного человека, ничто им так не движет властно, как необходимость действия, внутреннее побуждение к действию.



Теперь, когда оставались считанные дни до всеобщей стачки, теперь, когда всем сделалось ясно, что на этот раз стачка действительно «выйдет»,— Афанасьев преобразился. Он даже вроде выпрямился, даже голос у него, всегда глуховатый, почти сиплый, казалось, стал звонче. И курил теперь Отец реже, и кашлял реже.

У Федора Афанасьевича застали и Балашова, и Уткина, и Дунаева, и Самойлова...

— А я за тобой мальчонку хозяйского послал,— сказал Андрею непривычно оживленный Афанасьев.— Про волка толк, а тут и волк.

— Познакомьтесь, Федор Афанасьевич,— сказал Андрей, обращаясь к Отцу, но так, чтоб относилось и к остальным.— Из Москвы товарищ Фрунзе, по кличке Трифоныч.

Каждый называл себя. Андрей тем временем думал: не испытывает ли сейчас Отец обиды, ведь в решительный момент, перед всеобщей стачкой, прислали «варяга» — то ли в самом деле хотят помочь, то ли проявили к нему, Афанасьеву, недоверие. Нет, вероятнее всего, Федор Афанасьевич себя ущемленным не почувствовал, он себе цену знал, но понимал и слабости свои, прежде всего недостаток образования, да и телесное нездоровье, и не раз высказывался, что в городе, где грамотой владеет лишь один из четверых, люди ученые ох как надобны.

Попросили Фрунзе о том же, о чем просил и Андрей,— рассказать о съезде, их делегат Романов еще не возвратился, Михаил же со слов московского товарища знал все подробности, излагал обстоятельно.

Итак, прежде всего, размежевание с меньшевиками, осуждение примиренчества некоторых членов ЦК, конституирование съезда как высшего партийного органа. Союз с крестьянством. Гегемония пролетариата в революции. Никакой стихийности. Курс на свержение самодер-

жавия. Принят ленинский текст первого параграфа Устава — о членстве в партии.

А главное, наряду с формулировкой о том, кто может считаться состоящим в РСДРП,— тезис о вооруженном восстании, оно и есть основное средство достижения цели наиважнейшей, цели наиглавнейшей.

И еще на съезде, говорил Фрунзе, выбрали наконец единый руководящий центр — ЦК, ликвидировали «двоецентрие», при котором ЦК и ЦО, да еще под руководством Совета партии, были параллельными органами. Во главе нового, единого руководящего центра стал Ленин.

Съезд уделил особое внимание крестьянскому вопросу, поддержке революционного движения крестьянства, этого верного союзника пролетариата. Решительно осудил меньшевиков...

Все это Андрей записывал торопливо, обрывками слов, только ему одному понятными.

Решили девятого числа собрать в лесу, около деревни Поповское, конференцию актива и там рассмотреть требования к фабрикантам, которые будут предъявлены в начале забастовки. А подготовить этот документ поручили Бубнову (он ведь отвечает в организации за пропаганду), Балашову (рабочий, знает все болячки да заботы), Фрунзе (представитель Московского комитета).

Шли от Афанасьева. Небо лежало низко, ни единой звездочки, ни проблеска в облаках. Дневной ветер утих, сильно пахло недавно распустившейся листвой. К грозе, не иначе, подумал Андрей. Хоть бы на мощеную Александровскую успеть выбраться, а то, если здесь ливнем прихватит, по угоркам, по глине чуть не на карачках придется ползти, мигом почва раскиснет. О том же, вероятно, подумал и Михаил, спросил:

— Грязища, наверно, у вас, когда льет?

— Да уж в чем другом, а в этом и Питер-батюшку, и Москву-матушку переплюнули,— сказал Андрей.— Гляди, как бы тебе сегодня же не убедиться воочию.

Но пронесло. Гроза, правда, грянула, но в сторопе, сюда лишь отблески доносило, и под частые высверки молний благополучно добрались до Черникова. Он поднялся навстречу с крылечка.

— Хозяюшка моя в ночной,— пояснил он.— А я сумерничаю. Керосину маловато, экономию навожу. Да и погодка больно хороша. Андрей, ты заглянешь? У меня щи в печи не простыли. И полштофа припасено.

— В другой раз,— уклонился Андрей. Черникова объедать-опивать не хотелось, знал, что любая копейка в рабочем доме на счету. Да что копейка — и полушка любая.

4

Втроем у них работа спорилась. Балашов — у него и собрались — быстренько набросал главные, по его разумению, пункты, хотел даже вставить призыв к вооруженному восстанию, но Андрей возразил: мол, это, Семен Иваныч, авантюризм чистейшей воды. Балашов непонятное слово «авантюризм» счел за тяжкое оскорбление — при флегматичности своей был обидчив, — спорить спорь, а обзываться не дозволю. Фрунзе хохотал — скорее от избытка жизнерадостности, — что Балашова еще более озлило, тогда они вдвоем втолковали Страннику насчет авантюризма, а попутно и разницы между стратегией и тактикой. Урок политграмоты прошел, кажется, удачно.

К обеду с «Требованиями иваново-вознесенских рабочих» — так решили назвать, попроще, по-деловому,— управились.

Восьмичасовой рабочий день. Работа перед праздниками не должна превышать шести часов. Введение посто-

янных па целый год расценок. Минимум заработной платы для обоих полов — 20 рублей в месяц. Уничтожение штрафов за прогул. Полная плата за время болезни. Введение пенсий. Отпуск роженицам. Устройство детских яслей. Введение всеобщего бесплатного обязательного образования для мальчиков и девочек. Безусловно вежливое обращение членов администрации с рабочими. Уничтожение обысков, унижающих достоинство человека. Устройство народного дома. Право читать в свободное время газеты. Улучшение производственных, санитарных условий и медицинской помощи...

И требования политические: свобода слова и собраний, свобода союзов и стачек, немедленный созыв Учредительного собрания...

Всего двадцать шесть пунктов.

Написано это было 7 мая 1905 года.

5

— «А в ненастные дни собирались они часто»,— нараспев сказал Шлегель, и Кожеловский уставился на него в удивлении. На этот раз враги-единомышленники, противники-союзники восседали в его, полицмейстера, казенной резиденции, видом куда поплоше, чем у жандарма.— Это из Пушкина, эпиграф к «Пиковой даме», — издевательски пояснил Эмиль Людвигович, не пояснив, что такое эпиграф. — А у нас погодушка-то на диво, но похоже — нам с вами ненастье и впрямь предстоит.

— Не впервой,— утешил его и себя Кожеловский.

— Как сказать. Сведениям насчет девятого сего располагать изволите полными?

— А, да чего там,— Кожеловский отмахнулся.— Сошлись под березками у деревни Поповское мужиков да баб с полсотни, горло себе прочистили, поорали, руками помахали да и разбрелись. Не впервой, говорю.

— Как сказать, как сказать,— повторил ротмистр и выложил типографски оттиснутую прокламацию. Кожеловский ее отодвинул небрежно, ротмистр настаивал: — Почитайте, Иван Иванович, почитайте, государь мой милостивый, презабавнейшая, доложу вам, штукенция.

Пришлось напяливать очки — постоянно их Кожеловский не носил, полагая несоответственными мундиру,— пришлось читать.

— Старая погудка,— упрямо объявил полицмейстер, снял очки, закурил какую-то вонючую папироску.

Шлегель почти радостно — всегда приятно сознавать, что перед тобою дурак, а ты умен,— карандашиком легонечко проставил крестики против некоторых пунктов.

— Подобное изволили прежде видеть? — он почти торжествовал, словно произведение принадлежало его перу или хотя бы факт его существования сулил ротмистру великие блага, но уж никак не огорчения в недалеком будущем.

— Пустое, — отмахивался Кожеловский. — И бамашки эти, — он так и говорил: «бамашки», — тоже не впервой.

Ну скажите на милость, каков обормот, порадовался Шлегель и, снисходя в доступности выражений до уровня собеседника, известил, что политика-то в листовках здешних появилась впервые; и еще: до сей поры был гектограф, а здесь — типографически, да и набрано с изяществом, и отпечатано не тяп-ляп. Соображение насчет типографии Кожеловского озадачило — «политике» не придал значения,— он почесал пористый нос, подергал усы, вид у него сделался преглупый, чего, собственно, Шлегель и добивался.

— А самое главное,— продолжал Шлегель, он решил полицмейстера доконать,— час назад меня известили: начнут, по всей видимости, не далее как завтра. С чем вас и поздравляю, ваше благородие.

— Где? — выдавил Кожеловский. — Сейчас подниму казачков своих, до единого всю полную сотню, вокруг забора через две сажени поставлю, единой души не пропущу, мышь и та не проскользнет.

— Имею основания опасаться, — так же ровно, с усмешечкой продолжал Шлегель, — что и десятью сотнями не управитесь, почтеннейший Иван Иванович. Имею сведения: подымется весь город.

Лишний разик подпортив таким вот манером печенку дуболому единомышленнику, премило с ним распрощавшись, Эмиль Людвигович — у себя — позвал дежурного унтера и распорядился о нижеследующем.

Сыскать — хоть в кабаке, хоть в бардаке, хоть под землею, хоть на дне Уводи — паскудного, преданного и всенужнейшего Ваську Кокоулина. Если у того разламывается башка — дать опохмелиться. Если ненароком трезв — влить шкалик для бодрости. Коли в стельку — освежить нашатырем и рассолом, облить холодной водой и доставить.

Сказано было, понятно, не такими словами, а короче, эти же слова Шлегель произнес мысленно, для собственной потехи. Но рубль на лекарственные средства действительно ассигновал.

Он прошелся по мягкому ковру, отпустил крючки форменного кителя. Привычно выпил немного коньяку. Задернул шторы. Пока разыщут, пока доставят Кокоулина, есть время поразмыслить.

В том, что на этот раз борьба предстоит нешуточная, Шлегель не сомневался. И шел ей навстречу с радостной, трепетной готовностью, думая при этом, впрочем, вполне рационалистически. Давняя поговорка: «Или грудь в крестах, или голова в кустах» — как нельзя более соответствовала его настроению. И его надежды на собственный успех слагались из упований на то, что победа обеспечена той высшей силе, которую здесь, охраняя интере-

сы государства, персонифицирует он, Особого корпуса жандармов ротмистр Эмиль Людвигович Шлегель, офицер умный, образованный, дальновидный, пригожий собою, готовый голову сложить за веру, царя и отечество.

Впрочем, голову слагать он все-таки не слишком жаждал. Но, веря в неизбежную, в неотвратимую свою победу, он и не исследовал обстоятельно такую возможность, как потеря собственной головы.

Да, голова осталась при нем, а грудь украсилась крестами. В 1905 году он был пожалован орденом святой Анны 3-й степени, а следующей весной — святого Владимира 4-й степени, что, помимо надлежащего почета, сулило ему изрядную прибавку к пенсиону.

6

Эта ночь в городе выдалась диковинная.

Ей предшествовал, как полагается, день. День «дачки» — так здесь издавна именовали получку; видимо, конторские слова «выдача жалованья» обратили сперва в «выдачку», а после и покороче — в «дачку». У иных в расчетной книжке значилось, что вместо заработанных рублей остались лишь копейки,— остальное сожрали штрафы бог знает за что. Кого-то рассчитывали окончательно, выставляли за ворота — выжали тебя, человече, высосали, ступай себе на все четыре стороны. Те, кому достались жалкие, но полной,— жалкой,— мерой выданные целковики,— те праздновали, покупали на каждого домочадца по осьмушке мочалистой, синей говядины, плоской ржавой селедки, кренделей для малых, фунт сахару, а то и дешевых, без обертки, леденцов, и, понятно, того зелья, без которого на Руси не обходится ни престольный, ни семейный праздник, ни встреча, ни расставание, ни горе, большое или малое, ни награда, ни взыскание...

После «дачки», сколько существовали фабричное село Иваново и посад Вознесенский, а засим, с 1871-го, и город Иваново-Вознесенск, никогда еще вечера и ночи не протекали спокойно. Да и как им было спокойно протекать, если, зажав в кулаке хозяйскую мзду за каторгу свою, скорым шагом устремлялись ткачи, литейщики, чесальщики, краскотеры и прочие в соблазнительные заведения, расставленные на каждом шагу и гарантировавшие владельцам жизнь без страха перед банкротством.

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона бесстрастно, как и положено справочному изданию, сообщает, что на излете прошлого столетия в Иваново-Вознесенске насчитывалось 10 приходских (то есть начальных) училищ, женская гимназия, реальное училище, две библиотеки — городская и церковная, 5 книжных лавок, 4 больничных учреждения, 11 церквей. И — 142 заведения для продажи крепких напитков. Если предыдущие цифры никак не прокомментированы, то к последней вдруг прибавлено, как нечто само собою разумеющееся, уведомление: «Благодаря большому количеству рабочих». Это данные 1883 года, а к 1905-му население города возросло чуть не в два с половиною раза,— надо полагать, что кабатчики и целовальники тоже не оплошали в развитии промысла своего...

Итак, после «дачки» до самого рассвета всегда Иваново-Вознесенск плача веселился и с отчаянно-пьяным смехом горевал, наяривал на тальянках и ве́нках, бухал стоптанным каблуком в беззвучный, трухлявый пол, бил жен и дорогущие стекла в окошках, задирался с городовыми, которые проявляли тут снисходительность, клял хозяев, мастеров и прочих душегубов, прижимал к заборам податливых девок, ломился в чужие ворота, чтобы отвести душеньку с соседом или подвесить ему фонарь за прошлые обиды, хмельными, мокрыми губами лобызал замурзанных, перепуганных и осчастливленных пряни-

ком ребятишек, бегал в распахнутые до утра кабаки и лавки за добавочной порцией, орал песни — и печальные, и похабные, производил, в затмении ума, новых отпрысков, нежеланных, загодя постылых, закладывал в кабаке или рвал в клочья последнюю одежонку, грозил, каялся, ныл, хвастал, давился прошлогодним дряблым огурцом и потчевал хлебом с горчицею дворовую собаку,— словом, город гулял, гулял широко, размашисто, страшно, беззаботно, гулял, чтобы наутро проснуться с туманной, набрякшей головой и, не ополоснув лица, не поевши с похмелья, снова впрячься в привычную лямку. И волочить свою жизнь до конца, почти всегда не шибко затянутого — редко здесь рабочий человек доживал годов до пятидесяти.

Напрасно, однако, жалостливо и снисходительно его, русского, а конкретно — иваново-вознесенского, рабочего, охаивал уже помянутый здесь Дадонов в статье «Русский Манчестер»: мол, только выпивка на уме, никаких духовных интересов и стремлений. Пить пили, это да. Но если говорить о духовных устремлениях, то и ранее 1905 года на забастовках и стачках требовали прибавки жалованья, сокращения рабочего дня, а рядом — открытия народных читален. Между прочим, одним из первых решений Совета депутатов, о чем речь еще впереди, было постановление закрыть всю питейную торговлю, и оно неукоснительно выполнялось, пока действовал Совет, чего не могло добиться даже правительство, когда в начале мировой войны пыталось прикрыть торговлю зельем.

Вслушиваясь в диковинную после «дачки» тишину, витавшую над городом, Андрей думал о том, что не эликсиром бодрости была и будет для русского крестьянина, для рабочего водка, но средством хоть краткого забвения. И не спивался он, российский народ, и не спивается, а спаивали его, покуда властям предержащим выгодно и отобрать в государственную казну трудом заработанные

деньги, и — быть может, еще существеннее — отучить народ мыслить, не дать ему возможности мыслить, обезволить его, оболванить, унизить, духовно обесплодить.

А тишина витала над городом.

Но тишина бывает разная. В природе — и предрассветная, когда все замирает в ожидании солнца, и предзакатная — жизнь утихает, готовится ко сну. И предгрозовая, напряженная, настороженная, готовая вот-вот взорваться. В людских жилищах она бывает и ласковая, и угнетающая, и равнодушная, и враждебная. На войне тишина — и отдых после боя, и предвозвестие новой близкой схватки. Всякая бывает на земле тишина... Но с нею всегда предвкушение либо вспышки, либо разрядки, либо смерти, а иногда и победного торжества.

Фрунзе молчал рядышком, на бревне, курил почти непрестанно и тоже, наверное, прислушивался к этой тишине, а может, и нет, может, она и не удивляла его.

Однако в те же часы наверняка Михаил думал о том же самом, что и Андрей, и он спросил без всяких вступлений — то ли спросил, то ли сказал утвердительно:

— Знаешь, что меня больше всего удивило у вас? Я ведь знаком с Питерской, отчасти с Московской организацией. Там рабочие, даже самые активные и талантливые, передовые, ну как бы сказать, тушуются перед интеллигенцией, и партийных руководителей там из числа рабочих мало, интеллигенты преобладают. А у вас в организации человек, сказал Афанасьев, примерно четыреста, интеллигентов же — ты да еще вроде один... Наверно, по всей России подобного не сыщешь. Здесь пролетариат сам творит свою жизнь, непосредственно, без сторонней помощи, другие группы населения в том и не участвуют.

— А у нас их и нет, других-то групп,— сказал Андрей.— В том и особенность нашего Вознесенска. Плохо это или хорошо — жизнь покажет.

— Думаю, тут однозначно и не ответить,— продолжал размышлять Михаил.— С одной стороны, конечно, однородная социально масса, и даже территориально плотна, локоть к локтю, не разбросана, как в столицах, всколыхнуть куда легче, через пять минут известно, что на какой фабрике случилось. И никто не мутит головы, не тянет в разные стороны, словно в басне дедушки Крылова. Ни меньшевиков тебе, ни эсеров, ни разных там «легальных марксистов» и прочих. Это все так. Но и союзников нет. И окружение... как на острове...

— Окружение действительно сложное,— согласился Бубнов.— Шуя, Кохма, Тейково... Промышленность, однако, некрупная, рабочих мало. В деревнях разнобой: одни стремятся в город либо на отхожий промысел, таких большинство. Психология уже отчасти не крестьянская, нет цепкой хватки за матушку-землицу. Но психология еще и не рабочая. Я уверен: крестьяне требований наших не могут еще понять, не поймут, да и за исконные интересы вряд ли будут драться: город манит, им здесь кажется легче, хоть какой-никакой, а верный заработок.

Помолчали. Рассыпался полицейский свисток, ему отозвался другой. Рявкнул паровозный гудок — ночами на Москву шли редкие товарные поезда. Неподалеку спросонок невпопад проголосил петушишко, но спохватился, клича не повторил, остальные не отозвались.

— Давай-ка спать, — сказал Андрей. — Ты уж не ходи к Черникову, ляжем на сеновале, рано вставать, я сейчас одеяла принесу.

Старым способом — приставной лесенкой — в мезонин. Вернулся скоро, сказал:

— Я еще на кухне провианту прихватил кое-какого. И матушке записку оставил, чтоб переполоху не было, уйдем ведь рано.

Дверь скрипнула, на крылечке забелело. По кашлю Андрей тотчас узнал Владимира. И тот увидел их, подошел, босой, в нижней сорочке.

— Не спится, вьюноши? — спросил он.— Мировая скорбь замучила? — Вгляделся в Михаила, спросил: — Простите, не имею чести...

— Мой коллега,— ответил Андрей.— Погостить приехал. Не к нам.

— Так-с,— сказал Владимир, не протянул руки, даже имени спросить не пожелал.

Присел на бревно, по-стариковски покряхтывая, закашлялся. Сказал подчеркнуто книжно, декламационно так:

— «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!» М-да... Души прекрасные порывы. И душат. И весьма успешно. И будут душить, господа.

— Шел бы ты, Володя, спать,— сказал Андрей мягко, брата он жалел.

— Гонишь? — спросил Владимир, не обиженно и не гневно — никак.— А бывало-то...

— Бывало, да,— не удержался Андрей.— Было, да сплыло.

— Слыхал я, что́ у вас наутро.

— Вот и шел бы с нами.

— Нет, я свое отходил, попытайте вы теперь.

На пахучем сеннике, под густое похрапывание жеребца Васьки, под тихий шорох народившейся листвы они спали молодым и счастливым сном.

В психологии существуют понятия: общая и специальная одаренность. Первая проявляется в овладении любыми видами деятельности, для успешного осуществления

которых необходимы лишь определенные умственные качества. Вторая связана с конкретными видами деятельности: бывает одаренность литературная, математическая, музыкальная, техническая и так далее.

Никакими особыми, специфическими дарованиями Андрей Сергеевич Бубнов от природы отмечен не был. Пристрастия, увлечения — это да, любил стихи, любил деревья и всяческое зверье, знал толк в живописи и в музыке, но сам не рисовал и слуха был лишен.

Зато налицо все основные признаки общей одаренности: быстрое созревание способностей, быстрый темп усвоения знаний, формирование умений и навыков, творческие элементы...

Любые дарования, всякая одаренность врожденны, впоследствии они лишь развиваются. Однако не гены все-таки определяют предстоящий человеку жизненный путь. В сочетании с природными данными главенствующую роль играют условия места и времени. Есть врожденные дарования. Врожденных убеждений нет и быть не может.

Андрей жил в особой обстановке, в особое время. Путь его был в значительной степени предопределен. Могло случиться непредвиденное, увлекшее бы его в сторону. Однако не случилось. Ибо закономерности — доминируют.

К слову, и Владимир Бубнов преодолел себя, «выпрямился», вернулся к активной революционной деятельности, продолжал ее и в Петербурге, и в эмиграции, и снова в России, а после Октября — в Иваново-Вознесенском Совете... Закономерности — доминируют. В характере мелкое, случайное, наносное вытесняется и побеждается главным.

Андрею Бубнову шел двадцать третий год. Двадцать два года — обозначение «не мальчика, но мужа».

Бытует легенда о том, что камердинер Жан-Жака Руссо будил своего господина словами: «Вставайте, сударь, вас ждут великие дела».

Камердинера Бубнов Андрей не имел. И проснуться должен был сам.

Но воистину великие дела ждали его и его товарищей.

Наступает утро 12 мая 1905 года.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава первая

1

Май 1905 года.

Женева. Вышел в свет первый номер большевистской газеты «Пролетарий», редактируемой В. И. Лениным. Им написана опубликованная здесь передовая «Извещение о III съезде Российской социал-демократической рабочей партии» и другие важнейшие материалы. В частности, Владимир Ильич пишет: «Революция вспыхнула и разгорается все шире, охватывая новые местности и новые слои населения. Пролетариат стоит во главе боевых сил революции».

Ленин приступил к работе над книгой «Две тактики социал-демократии в демократической революции».

Москва. Большевистская конференция единодушно присоединилась к решениям III съезда. В поддержку его резолюций высказалось большинство социал-демократических организаций России.

Казань. Впервые здесь прошли политические стачки и забастовки — на предприятиях Локке, Миркина, Шабанова, городском трамвае...

Екатеринослав. Во время одной из многочисленных стычек с полицией и казаками большевик Тах-Чагло выстрелил в полицмейстера. Приговорен к смертной казни.

Лодзь. В похоронах убитого во время демонстрации ребенка участвовало 10 тысяч рабочих. Начало Лодзинского вооруженного восстания.

Уфа. В знак протеста против разгона демонстрации рабочих и арестов ее участников совершено покушение на губернатора Соколовского. Город объявлен на положении усиленной охраны.

Саратов. Крестьяне деревни Медведевки, Аткарского уезда, начали самовольно косить траву на помещичьих землях, поджигать прошлогодние скирды. Для наведения порядка сюда прибыл под охраной казаков губернатор П. А. Столыпин, (вскоре назначенный министром внутренних дел, а позднее и председателем Совета министров, убит эсером в Киеве).

Токио. Японская пресса сообщила, что в Цусимском сражении разгромлены две русские тихоокеанские эскадры под командованием адмиралов З. П. Рожественского и Н. И. Небогатова. Из 29 боевых кораблей уцелели лишь 6. Остальные уничтожены или захвачены японцами.

Это означало, писал позже В. И. Ленин, «не только военное поражение, а полный военный крах самодержавия».

Константинополь. Здесь на рейде стоят военно-морские корабли европейских государств в полной готов-

ности принять немедленное участие в подавлении русской революции.

Севастополь. «Социалист вне партий», демократически настроенный лейтенант П. П. Шмидт составляет воззвание к офицерам Черноморского военного флота с призывом требовать от царя «действительных конституционных гарантий, давно составляющих неотъемлемую собственность всех культурных народов».

Среди матросов Черноморья с каждым днем нарастает недовольство.

Женева. В «Пролетарии» — статья В. Воровского, резко изобличающая российский буржуазный либерализм, «с его блудливым вожделением конституции, с его заячьей боязнью борьбы, с его лакейской угодливостью перед сильным еще самодержавием, с его лицемерным и корыстным народолюбием».

Мензелинск. Захолустного этого уезда крестьяне «в мае месяце... самовольно запахали в имении графа Блудова землю и оказали сопротивление уездной полиции».

Иваново-Вознесенск...

2

Поспать удалось не больше двух часов.

Андрей проснулся первым. На сеннике полумрак, в отверстие от выпавшего сучка падал луч света. Михаил смахивал его с лица, словно букашку. Андрей заткнул

дырку пучком сохлой травы: пускай товарищ досмотрит утренний сон, время еще есть.

Пала крупная, чуть не в горошину, обильная роса, — это славно, значит, не предвидится дождя. Брюки понизу мигом промокли, почернели. Влажно поблескивало крыльцо. Умылся, тихо подняв бадью из колодца. Вернулся на сеновал. Фрунзе спускался навстречу. Пожевали что пришлось из вчерашнего припаса. Махнули через ограду, мимо полуразваленного корпуса бывшей щапенькиной фабрики, мимо задремавших, едва шевелящихся домишек — на Талку.

Шли быстро — не потому, что надо спешить, а просто разминали мускулы, — в таком возрасте нет утреннего тягостного кашля, вялости, пасмурного настроения, томительной неохоты вставать, завтракать, приступать к будничным делам, — они шли быстро, молча и, вероятно, думали при этом о значимости, о величии того, что начнется вот-вот.

Иваново-Вознесенск еще спал, и спал городовой на чьей-то скамейке, спал заливисто, упоенно, и рядышком, на воротах, белел знакомый листок — «Требования рабочих». Молодцы парнишки у Дунаева, подумал Андрей, не только разбросать, где надо, но и расклеить успели.

— А ну, — шепнул Андрей, — давай, а?

Клейстер не успел засохнуть, листовка снялась целиком. Пристроили ее на лавочку, рядом с похрапывающим городовым.

Искомкав подушки, многократно приняв сердечные капли, без конца и без нужды расчесывая преотличную бороду, налаженную еще в Париже, ходил по зашторенной, задрапированной, заполненной тонкими запахами спальне Дмитрий Геннадьевич Бурылин. Ходил и думал, думал, думал...

Думал о бессмысленной, с рождения в человека и в человечество заложенной неблагодарности. Кто-то из давних писателей, помнится, изрек: лютее всех мы ненавидим того, от кого принимаем благодеяния. В юности Митя Бурылин афоризм не воспринял, не понял, а теперь оценивал сполна. Как не оценить... Сегодня, известно от Шлегеля и Кожеловского, рабочие станут бунтовать. Известны ему законерщики у Бакулина — Дунаев, Сарментова, еще несколько. Эти, по крайней мере, хоть понимают, чего им надобно, чего добиваются. А остальные? Помалкивали бы, не созрели еще разумом для протеста. Бунтовать — оно, господа, легче легкого, проще всего. Но смысл? Ради чего? Всеобщее равенство и братство? Не было равенства, нет и не будет вовеки. На Олимпе, среди богов, и то существовала иерархия, что ж говорить про людей. Да и как можно уравнять, поставить на одну доску, к примеру, яснополянского мужика и Льва Толстого, обозного солдата — и Суворова, надсмотрщика в ретираде — и меня, Бурылина Дмитрия Геннадьевича, получившего европейское образование? Люди никогда не будут равны друг другу по степени одаренности, образованности, по уму, телесному сложению,— значит, и потребности у них останутся разными, и правами соответственными должны быть наделены. Дунаев неглуп, этого не отнимешь. Если бы его подучить, мог бы сделаться и мастером. Или в политического деятеля вырасти. Прирожденный оратор, умеет завладеть аудиторией. Но идея, которую он исповедует, порочна в основе, приложение сил — не к той точке. Дунаев и прочие пропагаторы обвиняют нас, как они выражаются, капиталистов, в эксплуатации, чуть ли не в насилии, в грабеже... Что ж, нелепо отрицать: естественно, получаем прибыли, и немалые. Так было, так есть, так будет — испокон веку и на вечные времена. Но кто мешает этим горлопанам, любому из них, выбиваться в люди, как выбивались наши прадеды, наши деды, наши

отцы — из крепостных графа Шереметева, из мелких ремесленников, из офеней,— кто вам запрещает? И уж коли на то пошло, знать бы вам, смутьяны и пропагаторы, какой я городу своему — и вам, и вам тоже! — готовлю подарок! Вот вы вопите: кровососы, насильники... А я сколько стран объездил, коллекции собрал какие — и Востока, и Египта, и Европы, и Средней Азии, чего только нет — монеты, медали, оружие, книги, картины, гравюры, бронза, мрамор, венецианское стекло. Больше половины отцовского наследства и самим нажитого состояния вложил. И покуда аз есмь, буду собирать. А решил заранее: все городу отдам, и не после смерти, не по завещанию, а как только здание для галереи построю, вот уже скоро начну зодчего подыскивать. Что вы на это скажете, господа пропагаторы?

Он зло посмотрел на блаженно почивающую супругу, принялся одеваться. Неизвестно для чего. Не спалось. И на воздух, что ли, хотелось.

Было бы странно, если б в эту ночь спал Шлегель. Он, в готовности к действию, и не ложился, не снял форменных шаровар и сапог, только вместо мундира накинул пижамную, со шнурами, венгерку. В домашнем тесном кабинетике кругом книги, и весьма недурственные. Шлегель брал то один, то другой томик, раскрывал, откладывал, вспоминал стихи или присаживался к столу, набрасывал какие-то рожицы. Рисовальщиком он был небесталанным, и рожицы обретали портретное сходство: вот Дербенев, городской голова, вот Мефодий Гарелин, вот Кожеловский. А это кто? А это Бубнов, Андрей... Андрей... Андрей Бубнов... Рука сама по себе выводила шаржированные, утрированные изображения, и рукою повелевала подспудная зрительная память. Рядом с Бубновым неожиданно возник скуластый, южного типа, волосы боб-

риком... Кто это? Ответить Эмиль Людвигович не мог, но ведь неспроста карикатура эта появилась. Напряг память, вспомнил-таки: однажды повстречал Бубнова с этим вот юношей, одетым как и большинство мастеровых, но явно интеллигентным и нездешним. Любопытно-с...

Что касается Кожеловского, то коллежский асессор посадил в прихожей казака из вверенной ему сотни, наказал в случае чего поднять немедля, выпил для прочности сна здоровущий стакан смирновки и прямиком отправился в объятия Морфея.

Раклист, иначе говоря, ситцепечатник фабрики Полушина, партийный организатор первого района, где размещались наиболее крупные предприятия, Федор Кокушкин (кличка Гоголь) поднялся тоже рано. Забастовка по разработанному плану в семь — надо и отдохнуть людям,— но Федор дождаться этого времени вот никак не мог, режьте меня, четвертуйте, а не могу, братцы.

Из чайника поливала жена, а Кокушкин старательно разбирал под водяной теплой струей длинные, плохо промываемые волосы, а после расчесывал жениным гребнем и основательно завтракал — жареная картошка на бараньем сале, с лучком, а к чаю по-господски бутерброд с бужениной и варенье в тонконогой вазочке. Раклисты, как и граверы, зарабатывали недурно, хозяева их ценили. Наелся-напился, поглядел на спящих детишек — трое! — сказал жене:

— Пошел я.

— Давай уж, идиёт,— отвечала она.

Какая все-таки отличная штука майская трава, как хорошо, скинув рубахи, разувшись, лечь и глядеть ввысь, там в неспешном движении соприкасаются друг с другом толстые облака, там из серого становится голубовато-зеленым небо, там скоро из красного превратится в раскаленно-

желтое солнце. И тогда заплещется в Талке дезертирка-рыба, удравшая из травленной всяческой поганью Уводи.

— Искупаться бы,— сказал Андрей, он лежал па подстеленной тужурке.

— Холодно,— ответил Михаил.

— Попробую,— сказал Андрей и засмеялся.

— Рад дурак, что на земле живет, как моя мамаша говорит,— сказал Фрунзе, они усвоили меж собой тон легких, необидных подковырок.

Плавал Андрей недолго, но вкусно, Фрунзе тоже хотелось, однако не решился.

Когда вылезал на крутоватый, желтый бережок, обтирался вместо полотенца нижнею рубахой — успеет просохнуть на солнышке,— когда Фрунзе, крепышок, похвалил, что и у Андрея мускулатура ничего себе,— в эти минуты и начали реветь фабричные, заводские гудки.

3

Хотя они заголосили в неурочное время, большинство горожан не удивились, зная, к чему эти гудки. Они неслись над всем пространством, и Андрей, как и все местные, определял: это — у Бакулина, это — у Дербенева, поддержали бурылинский, маракушевский... Примерно через полчаса забастовщики придут вот сюда, на Талку, задача Андрея и Михаила — встречать, размещать на поляне, чтобы не было толчеи. Условились на заседании, что оба они выступать с речами не станут: Фрунзе — нелегал, Андрею тоже не следует до поры слишком явно проявлять себя перед полицией и жандармами. Федор Афанасьевич выразился в том смысле, что и без них ораторы найдутся, а вот следить за большевистской печатью, да и буржуазные газеты читывать и выводы из них де-

лать, и листовки составлять — этим, кроме них, некому будет заняться.

Андрей пытался было возражать, ему показалось, что роль им отводится очень уж пассивная, но Афанасьев выслушал непомерно запальчивые слова, ответил кратко и неожиданно резко: мало ли с чем ты не согласен, мало ли чего хочешь. Ты эти свои студенческие замашки брось, и от мальчишества пора избавиться. Запомни раз и навсегда: партия от каждого требует железной дисциплины, притом не такой, которая снаружи, для виду, а сознательной. Не по принуждению чтобы действовал, а по убеждению. Слушая Отца, в который раз Андрей удивлялся его уму, трезвости суждений и взглядов, а также той черте, что проявлялась у него в нужные моменты: щуплый, с негромким голосом, скромный и от природы покрестьянски деликатный, Афанасьев при необходимости делался жестким, умевшим повелевать. Андрей понял, что ответственный секретарь преподает наглядный урок не только ему, но и прочим, пилюлю проглотил и наставление принял.

И сейчас, памятуя о партийной дисциплине, Бубнов и Фрунзе не знали, как поступить: время истекало, близилось к семи, а забастовщики не появлялись. Гудки давно смолкли, из города не доносилось ни пения, ни шума. Ждать, похоже, не имело смысла, но и покинуть пост не решались. Наконец решили: будь что будет, влетит от Афанасьева так влетит, но сидеть в сторонке нестерпимо, ровно в семь пойдут в город. Если увидят встречные колонны, повернут быстро назад, чтобы здесь встретить.

Первую весть получили еще на зыбком, чуть не касающемся воды мостике через Талку: неслись трое босых мальчишек, рубашонки на ветру пузырями, мордахи немытые светятся:

— У Бурылина бунтуются-я-я!

— И у Маракушева тожеть!

Андрей крикнул вдогон:

— А еще где?

Но ребятишки уже умчались.

Опять посоветовались, надумали так: Михаилу на фабриках не появляться, может сразу попасть на глаза полиции, поэтому он отправится на квартиру Странника, где сейчас Афанасьев (по решению конференции в начале забастовки Отец должен был нигде не показываться, а ждать известий с каждой фабрики), Андрей же пойдет к Бурылину, где партийная организация слабее прочих.

Фабричные ворота — настежь, вошел беспрепятственно. Во дворе толпа, к забору жмутся несколько полицейских, револьверы в кобурах, шашки в ножнах, ведут полицейские себя смирно. Вдали, у стены, возвышаясь над всеми, стоит кто-то, лица отсюда не видать и слов не слышно. Андрей стал протискиваться вперед, его окликнули, увидел Балашова. Тихо, стой здесь, велел Странник, не высовывайся, идет все пока ладком. Кто выступает? Да ты не знаешь разве? Тарасов, Спиридон. Из наших, большевик. Хорошо, что именно он речь держит, он мастером служит, не простой рабочий, если уж он против Бурылина поднялся, это народ оценит. Стой, слушай... Это все Семен Иванович объяснял торопливо, урывками, на ухо.

— «Не хватает сил более терпеть! — читал Тарасов. — Оглянитесь на нашу жизнь, до чего довели нас наши хозяева. Нигде не видно просвета в нашей собачьей жизни! Довольно! Час пробил! Не на кого нам надеяться, кроме как на самих себя. Пора приняться добывать себе лучшую жизнь!»

Слушал Андрей как бы впервые и в то же время помнил каждое слово: текст ведь писал он. Закончив чтение, Тарасов замялся: видно было, что не знает, к

чему призывать дальше. Бубнов и Балашов переглянулись. «Надо мне»,— шепнул Странник. «Нет,— возразил Андрей,— ты районный парторганизатор, тебе в первый же день в каталажку вовсе ни к чему». — «А ты забыл, что тебе Афанасьев наказывал?» — «Нет, не забыл, но меня здесь не тронут». — «Почему это?» — «А потому, после объясню».— И Андрей начал пробиваться к возвышению.

Трибуной оказался расшатанный ящик. Взобрался, огляделся. Полная тишина. Все ждут. А из распахнутого в конторе окна смотрит сам владелец фабрики, он частенько бывал в доме Бубновых, всенепременно приглашаемый на семейные торжества,— папенька гордился близостью с человеком, столь уважаемым и просвещенным. Андрей посмотрел на Бурылина, показалось, что Дмитрий Геннадьевич усмехнулся. Посмотрим еще, как заулыбаетесь... Андрей круто повернулся к нему спиной.

— Товарищи,— сказал он и услышал собственный голос, кажется слишком напряженный. Спокойней, спокойней, увесистей надо. — Товарищи, — повторил он. — Я говорю от имени группы Северного комитета Российской социал-демократической рабочей партии. Не все из вас пока знают об этой партии. Я вам постараюсь коротко рассказать, за что мы боремся, к чему призываем весь рабочий народ России...

Нужные слова находились, сам это чувствовал, слушали внимательно, были одобрительные возгласы. Но когда перешел к тому, что партия ставит целью «скинуть царя», настроение моментально переменилось.

— Ты государя-батюшку не трожь!

— Ишь куда замахнулся!

— Хватит балабонить, слазь!

Напрасно Андрей пытался напомнить о Кровавом воскресенье, напрасно пытался что-то втолковать: говорить не давали. Следовало немедленно перестраиваться.

— Тихо, вы! Дайте человеку досказать! — перекрыл кто-то всех басом.

— Хорошо, товарищи,— сказал Андрей.— Не станем сейчас говорить о царе. Но вот товарищ Тарасов зачитал вам двадцать шесть требований, выставленных представителями всех фабрик и заводов города. Были на сходке и ваши, бурылинские. Вы согласны с этими требованиями? Кто согласен, поднимите руки.

Подняли, кажется, все. По крайней мере большинство.

— А если так, сейчас — не к станкам, а расходитесь по домам. Завтра утром собираемся на Воздвиженской площади. Нас много, и не удастся фабрикантам устоять перед нашим напором!

Расходились молча. По всему чувствовалась какая-то растерянность. Наверное, думал Андрей, слишком диковинным, непривычным кажется выйти на площадь всем миром, ведь раньше каждая фабрика и каждый завод бастовали отдельно, вели переговоры с управляющими, хозяева редко показывались перед стачечниками. Забастовка может провалиться: не заметно приподнятости, решительности, похоже, что изверились, не надеются больше ни на что. И почему не сошлись на Талке? И куда подевался Балашов, почему не подождал его, Андрея?

У ворот окликнули:

— Андрей Сергеевич, минуточку.

Приближался Бурылин, высокий, плотный, в отлично сшитом сюртуке. Он казался моложе своих пятидесяти трех, лишь походка тяжеловата.

Протянул руку.

— Здравствуйте, Андрей Сергеевич. Рад вас видеть.

В умных коричневых — как у ирландского сеттера — глазах Андрей не увидел ни усмешки, ни гнева, словно

бы ничего и не произошло. Только вот обратился Бурылин необычно, по отчеству,— он ведь знал Андрея с пеленок.

Сомневаюсь, что рады, хотелось сказать Андрею, однако на вольный тон с Бурылиным не решился, в детстве называл дядей Митей, лишь после — Дмитрием Геннадьевичем, относился почтительно. Поэтому Андрей вежливо, с обычной приветливостью поздоровался. Бурылин, как равного, взял под локоток. Да-а... Видят полицейские, сторожа видят. Поползут слухи: мол, на сходках бунтарские речи говорит, а после с фабрикантом под ручку прогуливается. Но и тут не отважился отстраниться.

— Знаешь, Андрейка,— давним, домашним тоном заговорил Бурылин, как бы продолжая прерванный разговор. — Я сегодня бессонницей маялся,— наверное, старость приближается. И принял я окончательное и бесповоротное решение: года через три, как только пополню собрание свое художественное, хочу приобрести полотна импрессионистов,— тогда заказываю лучшему архитектору проект, строю музей и передаю все коллекции в дар городу.

Андрей посмотрел на Бурылина с интересом: нет, он врать не будет.

— Что ж, достойное намерение,— ответил Андрей и, с некоторым над собою усилием отбрасывая привычно почтительное отношение к «дяде Мите», продолжал: — Однако ж, Дмитрий Геннадьевич, не находите ли вы, что городу нашему, точнее, рабочим, которых вы собираетесь облагодетельствовать, пока что важнее другое, а именно...

— ...укороченный рабочий день, заработок, жилье и прочее? — с несвойственной ему живостью подхватил Бурылин, они шли теперь по улице, и Дмитрий Геннадьевич то и дело приподнимал шляпу: ему кланялся чуть

не каждый встречный.— Ты это хотел сказать? Понимаю. Но ты помнишь ли, Андрюша: не хлебом единым?..

— Да. Не хлебом. Но и хлебом, в первую очередь. Даже поговорка на первое место все-таки хлеб ставит,— говорил Андрей, забыв о первоначальной стесненности в разговоре.

— Хлеб хлебом, верно,— продолжал Бурылин,— но я убежден, что путь к возвышению русского народа лежит не через житейские подачки, но через приобщение его...

— ...к великим достижениям цивилизации? — непочтительно перебил Андрей.

— Послушай, Андрейка,— сказал Бурылин устало,— я все понимаю: молодость, юношеский задор. Слушал я тебя, смотрел на рабочих. Не убедил ты их. Вот посмотришь, завтра выйдут на работу как миленькие, а если пятак прибавлю — бегом побегут. И не явятся они на вашу сходку, выпьют сегодня по случаю негаданного выходного и по гудочку — марш-марш!

А что, если он прав, думал Андрей, что, если прав? Не собрались на Талке ведь сегодня. И как там, на других заводах?

— Извините, Дмитрий Геннадьевич,— сказал он. — Мне придется вас покинуть.

— Сейчас,— отвечал Бурылин.— Андрюша, скажи мне как старшему, как другу твоего батюшки,— ты о нем-то, к слову, подумал, ему-то каково за тебя тревожиться, мало ему одного Володи? — ты мне скажи, неужто и в самом деле полагаешь, будто вы чего-нибудь добьетесь? Да ничегошеньки, поверь. Уж на что Франция, страна цивилизованная, с нашею не сравнить. Сколько там Парижская коммуна просуществовала? Два с половиною месяца, помнится.

— Что ж,— сказал Андрей,— может быть, сейчас и не добьемся. Но помяните и вы мое слово, Дмитрий Геннадьевич, помяните...

4

Дойти к Балашову не успел: повстречался Федор Кокушкин, оживленный почти нервически. Сказал, что Отец велел собираться не у Странника — тесно да и небезопасно,— а на Талке. Сообщив это, Кокушкин предложил вместе не ходить, это было правильно, Андрей свернул в проулок. Что-то не нравилось ему в Кокушкине, а что именно — определить не мог. Пожалуй, несколько показное горение, что ли. И нервозность. И еще — длинные, на концах вьющиеся — не с применением ли щипцов? — волосы. Последнее, впрочем, было чепухой. Андрей понимал.

От Афанасьева он ждал выволочки за то, что вылез на трибуну, да еще призывал «против царя». Но вышло наоборот: Отец говорил, что настало время выдвигать политические требования, хотя поправился тотчас: нет, не совсем так, надо сперва раскачать на всеобщую забастовку, вот сегодня по привычке разбрелись по фабричным дворам, а сюда не пришли...

Докладывали где, что и как. Андрей в записной книжке набрасывал нечто вроде протокола. Положение оказалось лучше, нежели он предполагал: следом за текстильщиками забастовали печатники, железнодорожники. Уж на что, казалось, далеки от них мелкие ремесленники — сапожники, портные,— но и те поддержали. Прикинули: бастуют сорок четыре предприятия, человек примерно тысяч тридцать. В завтрашнем успехе вроде не приходилось сомневаться.

На городской площади, перед управой, назначили говорить троим: Дунаеву, Лакину, Сарментовой. Условились, что Бубнов и Фрунзе им помогут подготовиться. А сами они, Андрей и Михаил, должны оставаться в тени, довольно и того, сказал Отец, что сегодня Химик у Бурылина высказывался. Одобрил он или осудил — Андрей так и не понял.

Договорились еще к утру дополнительно тиснуть тысячу листовок с «Требованиями». Андрей сочувственно поглядел на неразлучных двоих дружков, типографщиков,— он в числе немногих знал, каково им приходится. Конспиративная печатня размещалась в доме гужевого извозчика, ярого монархиста, на его благонадежность в глазах полиции как раз и уповали, когда снимали там комнатку, невзрачную, сырую, но с отдельным ходом. За несколько ночей, когда хозяин был в извозе, под полом вырыли изрядную яму, обшили тесом, сделали узкий лаз. Холодина, дух тяжелый, сгибались там в три погибели, задыхались чуть не до рвоты. За обнаружение типографии Кожеловский агентам сулил награду в три тысячи, страшно и помыслить, однако сколько ни усердствовали «духи», как их называли в ряду прочих прозвищ, а ничего не получалось.

5

И сразу Андрей был призван к папеньке. Заранее представил: папенька будет бегать по кабинету, жалко стукать нерабочим кулачком по столу, нарочито, для страху, опрокинет стул, укорит куском хлеба и данным им детям образованием, похвастается положением своим в городе, поставит в пример младших Бурылиных и Гандуриных, пригрозит лишением крова, пищи, денежных субсидий, пристращает полицией, жандармами, тюрьмой, будет увещевать и упрашивать, а завершит достойным, по его разумению, жестом: перст, указующий в сторону двери.

Когда-то Володя шуткою высказался: дескать, наш папенька что аглицкий король — царствует, но не правит. Оно и верно, хозяйкою и верховною правительницей была маменька, но, умница, она призрачному властителю отдавала надлежащие почести, исходила из давнего прип-

ципа: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Андрей тоже постановил себе досмотреть спектакль для него, единственного зрителя, до конца, не выразив никаких чувств.

Но Андрей не выдержал до заключительного акта, до выпроваживания за дверь, прервал-таки:

— Позвольте, отец.

Никогда и никто Сергея Ефремовича так в доме называть не смел, он изумился, остановил словоизвержение, Андрей продолжал:

— Вы можете, отец, меня выгнать из дому, не давать копейки, предать анафеме — ваше право. Но я стал революционером и буду им до конца, покуда жив. Вот и весь мой сказ. Я пойду, отец, хорошо? У меня дела важные.

Ответа не дождался. Но что-то побудило его остановиться у порога.

— Поди сюда, сынок,— позвал Сергей Ефремович,— поди ко мне, сыночек. Храни тебя господь,— сказал он и перекрестил Андрея.— Оборони тебя господь от бед и напастей. Старик я, ничего не понимаю, а душа-то болит за всех вас.

По тогдашним понятиям Сергей Ефремович и впрямь мог числиться стариком: ему пошел шестой десяток.

— Не плачь, папа,— попросил Андрей.— Не надо, прошу тебя.

И папой, и на «ты» Сергея Ефремовича дети никогда не звали тоже.

6

Тою же ночью, во втором часу, в почтовом вагоне, прицепленном к грузовому поезду, прибыл из Владимира сюда старший фабричный инспектор губернии, надворный советник (по табели о рангах соответствует армейскому подполковнику) Виктор Францевич Свирский, не либерал

и не ретроград, не взяточник и не бессребреник, толковый инженер и фабричный инспектор с достаточной практикой.

Фабричная инспекция в России была учреждена — по английскому образцу — 1 мая 1884 года. Круг ее обязанностей был немалым: регулирование продолжительности рабочего времени, в особенности для несовершеннолетних и женщин; обеспечение праздничного отдыха; предупреждение и устранение вредных для здоровья и нравственности условий; ограждение от несчастных случаев на производстве; обеспечение временно или навсегда потерявших трудоспособность, а также семей, кормильцы коих погибли на работе; регулирование отношений работодателей и рабочих; предоставление рабочим права отстаивать свои интересы, не нарушая общественного спокойствия и государственного благоустройства...

Все бы хорошо, если бы господа фабричные инспекторы не состояли на государственной службе в пожалованных им чинах, если бы в инспекциях имелись представители рабочих, если бы в России к тому времени существовали профессиональные союзы... Если бы...

До наших дней дошел составленный в начале века — при участии фабричной инспекции — поразительный документ. Здесь забота о рабочем выражена не голословно, не декларативно, не в общих выражениях, но точным языком цифр. Здесь в рублях, со всею предусмотрительностью обозначена стоимость человека.

Вот выдержки лишь по главным рубрикам и далеко не подробные (весь этот «прейскурант» чрезвычайно длинен).

Голова. Повреждения черепа, сопровождающиеся тяжелыми и стойкими болезненными явлениями,— 100 рублей; более легкие повреждения — 30; сотрясение мозга — 60—85.



Глаза. Потеря зрения на оба глаза — 100; на один — 35.

Уши. Полная глухота на оба уха — 50; на одно — 10.

Шея. Потеря речи — 40; затруднения речи — 10.

Спина. Повреждение позвоночника — 100; ограничение подвижности спинного хребта — 10—50.

Верхние конечности. Потеря пальцев (правой руки; есть графы и о левой руке, там «расценки» ниже на пятерку — десятку): большого — 30; указательного — 25, среднего и безымянного — 10; мизинца — 5; всех пальцев — 75. Потеря мизинца левой руки — 0. Ничего. Ни копейки.

Потеря правой руки — 75; левой — 65; обеих рук — 100.

Нижние конечности. Потеря больших пальцев — 10; всех — 25; стопы — 60; голени — 65; бедра — 75. Потеря обеих ног или одной ноги с потерей одной руки — 100.

И так далее.

В заключение подчеркнуто, что при нескольких повреждениях общая сумма выплаты не должна превышать ста рублей.

Документ вывешивался для всеобщего обозрения: человек должен был загодя знать, какая ему цена «оптом и в розницу».

Итак, документ. Заверенный, подписанный, утвержденный. И составленный отнюдь не с кондачка: в нем, как при оценке говяжьей, бараньей ли туши, определялись достоинства той или иной части. Или можно сопоставить этот перечень со спецификацией частей машины: есть агрегаты важные (голова, поскольку без нее человек — мертвое тело, или обе руки — работник перестал быть таковым), и есть детали малозначащие: подумаешь, оглох на одно ухо, получай десятку иломи дальше, все равно в цехе грохот и здоровому не расслышать ничего. Речь? Ерунда. И немые могут вламывать, еще лучше в чем-то, нежели «говорящие»: не возразят. Вот повреждение позвоночника — это хуже: не в состоянии будет

гнуть спину, поэтому за такое увечье — максимальная цена, сотня целковых.

В то время во Владимирской губернии среднемесячный заработок рабочих составлял: мужчин — 14—15 рублей, женщин — 10, подростков — 6,5—7,5, малолетних — 4—5.

Итак, полное увечье — полное, фактическая гибель! — оценивалось полугодовым жалованьем.

7

На вокзале Свирского встретил посланный чиновник с экипажем, и ждали гостя в обширной гостиной городской управы, ждали невзирая на поздний час: увидеться надо было незамедлительно в предвидении утренних событий. Собрались, кроме Дербенева, заступающий место (то есть заместитель) городского головы купец Кашинцев, члены управы Соловьев и Бубнов, городской секретарь почетный гражданин Алякринский и — неведомо ради чего — городской архитектор Напалков и санитарный врач Померанцев — словом, все члены городского «правительства». Доброхотно, ему не будучи подвластны, явились Кожеловский и заведующий фабрично-заводской конной стражей Колоколов. Не хватало только Шлегеля, но, по обыкновению, компанией сей он, когда возможно, пренебрегал; однако протелефонировал и предупредил, чтобы при необходимости немедля соединялись с ним, он в управлении.

Кожеловский оставался верен себе: послал за водкой и закуской, тому порадовался охочий до выпивки Алякринский, да и Напалков не отверг, остальные отказались, не соблазнился и Сергей Ефремович. Бубнов пребывал в смятении, два часа назад происшедший разговор с Андреем, злость на бунтовщиков, страх за себя, за сына, жалость к нему, собственная слабость — размягчили,

растравили. Сергею Ефремовичу смерть как хотелось рассказать о своем огорчении, но кому? Разве что Соловьеву, такой же член управы и не фабрикант, не купец, свой брат мещанин, и у него дети взрослые. Но выйти из гостиной посчитал неудобным, а вести беседу при Кожеловском — всенепременно прислушается, стерва, примет на заметку, а то и заявится с обыском: ему, полицейской шкуре, это занятие слаще меду или смирновской водки.

О том, что папенька ночует в управе, Андрей, вернувшись, узнал от няньки, открывшей дверь. Обстоятельство это пришлось весьма кстати: начинался дождь, на сеновале промочит, по улицам тоже недолго находишься, Андрею же непременно было надо закончить разговор с Иваном Уткиным. Станко дожидался за воротами, пока Бубнов выяснял обстановку. Андрей позвал. В прихожей разулись, в одних носках поднялись наверх, попросили у няньки чего-нибудь поесть. Николки, по счастью, не было, остальные спали.

— И Ленин боевые группы считает необходимыми,— говорил Станко, продолжая начатый на улице спор,— он говорит, что надо вооружать пролетариат и вырабатывать план восстания, правильно я запомнил или будешь оспаривать?

— Нет,— отвечал Андрей,— запомнил ты правильно, только не так понял. Ни Ленин, ни съезд в целом не ставят задачу вооруженное восстание начинать немедленно, лишь подчеркивают принципиальную его необходимость. А если бы съезд и потребовал восстания сейчас же, мы не смогли бы, обстановка не та. Восстание надо готовить, а не с бухты-барахты.

— А я и не с бухты-барахты,— обиделся Станко,— я не из кривого ружья палить собираюсь, но бомбочек десятка три припасено, вот, слыхать, не сегодня-завтра

губернатор припожалует, соберутся все власти в управе, мы по ним и махнем, казаков и полицию разоружим, револьверов, конечно, всем не хватит, примемся и камнем, и дрекольем — нас вон какая силища! — Авантюрист ты, Иван, знакомо тебе такое слово? Допустим, убьешь губернатора. Другого тотчас назначат, свято место, известно, пусто не бывает. И пойми ты, пойми, Станко, не готов у нас народ к вооруженной схватке. Он, если по совести, так и к политической стачке не очень еще готов, и неизвестно, чем нынешнее утро для нас обернется. Что, если придут одни партийцы? Четыреста человек, переарестуют всех — и делу конец. Видел, с каким настроением рабочие сегодня расходились? Не боевое настроение, прямо скажу. Ты, Иван, мужик решительный, но, уж не серчай, политическую обстановку не совсем правильно понимаешь, тебе только бы трах-бабах. Одиночными выстрелами да взрывами революции не сделаешь. — Ах, ручки замарать боитесь,— взвился Уткин,— больно чистенькие, а я предлагаю...— Мало ли чего предлагаешь,— тоже рассердился Андрей,— а партийная дисциплина... — Плевал я на вашу дисциплину! — чуть не заорал Станко и ушел взбешенный, едва не хлопнул дверью, не перебудил всех, от чаю с домашней колбасой отказался. Андрей, взбудораженный основательно, спать, однако, себя заставил: он умел, когда надо, засыпать сразу, — если каждую ночь бодрствовать, долго не протянешь.

8

На фасаде двухэтажного особняка городской управы, над расположенными в первом этаже магазином готового платья Силантьева и бывшей цирюльней, а по-новомодному — заведением куафера Сержа, лепились два каменных балкончика, вместит каждый от силы четверых. Пра-

вый заняли Свирский, Дербенев и Алякринский, на другом — Сергей Ефремович и Соловьев, да еще, любопытства ради, архитектор Напалков.

Казалось, площадь так переполнена, что и десятку людей больше не втиснуться, а народ все прибывал. Первыми явились бакулинские, чем Евламний Дунаев не преминул похвастать, когда столкнулся носом к носу с Андреем. Толпы прибывали и прибывали. Шли спокойно, тихо, без песен и выкриков, и если кто и суетился на площади и прилегающих улицах, так это купцы, владельцы мастерских, приказчики — поспешно задвигали, опускали ставни, с лязгом просовывали в петли железные прутья запоров, прилаживали дверные накладки, вешали полупудовые замки. Никто на торговцев и внимания малого не обращал.

Чтобы лучше видеть все, Андрей забрался на паперть Воздвиженского собора. Здесь почти никого не было.

Никогда еще и нигде Андрею не доводилось видеть столько людей, он даже не представлял, зная цифры, как велико рабочее население Иваново-Вознесенска и сколько народу может, оказывается, вместить не очень уж просторная городская площадь. (Впоследствии поспорят: Авенир Ноздрин станет утверждать, что на сходке было сорок тысяч, а Михаил Фрунзе скажет — шестьдесят. Пожалуй, правы окажутся оба, всяк по-своему: Ноздрин прикидывал, сколько собралось на площади, Фрунзе же брал во внимание общее число бастовавших.)

Если бы тогда существовала кинохроника, какие удивительные кадры оставила бы она для потомков... Если бы, на худой конец, хотя бы обычнейший ныне микрофон, чтобы все тогда на демонстрации услышали речь Дунаева, запомнили ее, рассказали во всех подробностях, а те — своим детям... К сожалению, не имелось такой техники, и никому в голову не пришло тогда записать выступления Евлампия Дунаева, Михаила Лакина, Клав-

дии Кирякиной, Матрены Сарментовой, сохранились лишь беглые заметки. Известно, что ретивый Кожеловский пытался было пустить в ход нагайки, но Дунаев по совету Балашова держал при себе недавний номер газеты с высочайше утвержденным указом о разрешении экономических забастовок, и озадаченный полицмейстер отступил. Известно, что Дунаев обошелся поначалу без привычного балагурства,— выступал он впервые перед такой огромной аудиторией, а понятно, как бывает в подобных случаях наэлектризован сам оратор,— но быстро нашел верный тон и обратился непосредственно к старшему фабричному инспектору Свирскому — Дунаев стоял на бочке недалеко от балкона,— и несколько экземпляров «Требований» тотчас из рук Евлампия поплыли туда, через минуту-вторую чиновник передал листки Свирскому, тот, приняв, показал их Дунаеву и толпе. Михаил Лакин, увидев на паперти Андрея, протолкался, спросил у «главного пропагатора», как он выразился, а что, если за Дунаевым следом ему, Михаилу, выступить? Андрей возразил: погоди, успеем, намитингуемся еще, а сейчас демонстрация чисто организационная, надо выработать линию поведения и поглядеть, какую линию выберут власти. Лакин спорить не стал. Матрена и Клавдия не подкачали: зря слов не тратили, выделили требования, относящиеся к женщинам, Сарментова напомнила, что женщин среди фабрично-заводских тружеников чуть не половина, с их претензиями надо считаться особо.

На расстоянии Андрей не мог видеть выражения лица папеньки, но представил: наверняка, возвышаясь у всех на виду, Сергей Ефремович силится казаться важным, величавым, а это у него всегда получается забавно. А вот фабричному инспектору — этому, кажется, уверенности не занимать. Голос Свирского отчетливо доносился и сюда.

Свой ответ, надо полагать, надворный советник обдумал заранее, отвечал внушительно, веско. Ваши требова-

ния, господа, будут незамедлительно переданы господам работодателям на предмет внимательного рассмотрения, в нем примет участие и он, старший фабричный инспектор, и двое его помощников, имеющих вот-вот прибыть. По выработке господами предпринимателями ответов на требования рабочих будут начаты переговоры. Однако, поскольку вести деловые переговоры на площади, в присутствии десятков тысяч человек, не представляется практически возможным, он просил бы выбрать от каждой фабрики и завода доверенных уполномоченных, которые и будут представлять ваши интересы.

Что ж, подумал Андрей, в логике Свирскому не откажешь. И в самом деле, на площади — какие переговоры, базар начнется, толпу не перекричишь, проку не будет. Он поискал глазами Афанасьева, да где там, разве углядишь, а если б и углядел, нет времени советоваться, вот уже выдвинулся к перилам балкона городской голова Дербенев, просит расходиться. Надо немедленно действовать.

— Товарищи! — крикнул Андрей с паперти.— Товарищи! На Талку! Все на Талку!

И, чтоб не успели его заприметить стражи порядка, спрыгнул вниз. Услышал, как его возглас подхватили в разных концах площади.

9

Социал-демократической группе то и дело приходилось действовать как бы на ощупь, спотыкаться, совершать одну ошибку за другой. Отчасти ее выручала явная растерянность городских властей, и они с подобным «бунтом» столкнулись впервые, тоже блуждали в потемках. Понадобится несколько дней, чтобы и та и другая стороны «самоопределились», а пока, явившись на Талку,

Андрей с горечью и почти отчаянием увидел, какая там неразбериха.

Никому и в голову не пришло изготовить хоть какие ни на есть полотнища или там фанерки с названиями фабрик. С площади расходились как попало, иные забега́ли домой, другие отставали, сбивались в кучки, чтобы поделиться впечатлениями,— словом, на большой поляне в излучине реки, той самой поляне, что суждено было стать «залом заседаний» первого в России — да что там в России, во всем мире! — «рабочего парламента», господствовала невероятная суматоха и бестолковщина. Никто не знал, где рассядутся рабочие одной фабрики, где — другой. Партийные организаторы созывали своих криком, голоса их перепутались, вообще ничего нельзя было понять. Мужчины, женщины, подростки мотались из стороны в сторону, спрашивали, где бакулинские, где гарелинские, полушинские, куваевские... Лишь часа через два разобрались, приступили к выборам депутатов.

Выборы эти весьма одобрял Шлегель. Прикидывал он так. Социал-демократов в городе несколько сот человек, и не каждый жандармскому управлению известен, да всех и не переарестуешь, тем более что вряд ли эсдеки станут руководить забастовкой в открытую, а будут действовать через выборных уполномоченных, в число которых введут и своих представителей,— главари большевиков окажутся на виду, бери любого в случае необходимости. И еще уповал ротмистр на то, что, чем скорее начнутся переговоры, тем быстрее они завершатся, фабриканты, конечно, серьезных уступок не сделают, но по мелочам отступят, успокоят, стачка сойдет на нет. Чем дольше она будет продолжаться, тем больше неприятностей, чем скорее — тем лучше.

Продолжались выборы и на следующий день, и еще с утра пятнадцатого, и не только на берегу, но и на улицах, на малых городских площадях, на полянках. Хорошо, что к этому времени партийные ячейки были созданы на всех фабриках и заводах, и хорошо при этом, что, зная Дунаева, Сарментову, Лакина и других в лицо, лишь немногие догадывались об их принадлежности к РСДРП,— в «политику» вмешиваться мало кто хотел, и партийцев избирали уполномоченными просто как авторитетных, надежных людей, которым все доверяли. Основные руководители — Афанасьев, Бубнов, Фрунзе в число уполномоченных не вошли, да и не могли войти еще по той причине, что на фабриках не работали.

Еще до окончания выборов, в субботу, четырнадцатого, перед городской управой опять собрались представители рабочих — не тысячи, но достаточно много. Фабричный инспектор Свирский объявил: работодатели предлагают, чтобы выборные от каждого завода и каждой фабрики обсуждали свои требования со «своим» хозяином, никаких общих сходок. «Верно!», «Согласные мы!» — послышалось отовсюду. Ловко придумано, мигом сообразил Андрей, древний принцип — разделяй и властвуй. Нужно выступить сейчас же, немедленно. Уважаемые и всем знакомые Балашов, Лакин, Дунаев, Самойлов, Сарментова — у себя на предприятиях, руководят выборами. Надо самому. Хотя и рискованно: поверят ли? И под арест можно попасть. Но другого выхода не было. Андрей вспрыгнул на бочку — «трибуну» эту так и не убрали.

— Товарищи, — сказал он, — когда идет драка, чем бьют сильнее — растопыренными пальцами или кулаком? Каждому ясно. А басню Крылова про лебедя, щуку и рака помните? Помните, конечно. А пословицу: «дружно — не грузно, а врозь — так брось»? Мы на эти

хитрости не поддадимся. Предлагаю голосовать: не согласны с тем, что предлагают хозяева.

Наблюдая со стороны, Шлегель думал: вырос, вырос мальчик, и отважился открыто выступить, и не побоялся, что рабочие примут за чужака, и слова нашел верные. Притом в пределах дозволенного, поводов к задержанию не дал. И даже голос подходящий, баритон, сильный, а давно ли, кажется, чуть ли не теноришком разговаривал, подобно Сергею Ефремовичу. Ничего не скажешь, с таким и потягаться не унизительно, достойный противник. Ну-с, посмотрим, посмотрим, Андрей Сергеевич. А вы-то поговорочку помните: «сила и солому ломит»? А к нам подкрепление прибыло — вам сие известно? Батальон пехоты. Серая скотинка, вы ее не распропагандируете. Срок придет — по-другому с вами поговорим. А пока посмотрим, посмотрим, что у вас получится, господа большевики.

10

Пообедать Андрей забежал домой, денег в кармане и копейки не осталось. Явился нарочно в не установленный семейным распорядком час — не хотелось встречаться с папенькой. Спорить все равно бесполезно, да и жалко его: изо всех сил старается быть грозным главою семейства, на самом же деле бесхарактерен, душою слаб,— впрочем, если уж очень разойдется, умеет поставить на своем.

Во дворе, на бревнышке, сидел Владимир, пострагивал палочку, нераскрытая книга лежала рядом. Чисто выбрит, и под распахнутой тужуркой свежая рубаха — то ли сам начал приходить в себя, то ли надоело Тоне видеть его растрепой.

Жестом попросил Андрея присесть, тот глянул на часы, времени в обрез, однако несколько минут можно,

— И как, от государя императора депешу об отречении еще не доставили вам? — спросил Владимир.

— «Легко быть остроумным, когда ни к чему не испытываешь уважения», — ответил Андрей прочитанными где-то словами, хотел было встать, поскольку говорить в таком духе смысла не видел, но брат его остановил.

— Послушай, Андрейка, — сказал он совсем по-иному, — тут папенька рвал и метал: и на сходке тебя видел, и третью ночь ты дома не спишь, вижу, взялся за революцию всерьез. Снова спрашиваю: ты понимаешь, чем это грозит тебе?

— Был ведь такой разговор, — отвечал Андрей, — к чему повторяться? Мне вот жаль тебя, был ты настоящий, а сейчас...

— Ладно, — прервал брат и взялся за палочку — опять выстругивать.

Обедом покормила маменька, и она, видно, тоже не хотела встречи сына с Сергеем Ефремовичем, суетилась, плакала, совала деньги. Андрей ее обнял, говорил бесполезно-утешительные слова, маменька его перекрестила и, как все матери на свете, наказывала себя поберечь.

Георгиевская улица оказалась перекрытой, городовые никого не пропускали, губернатора ждут, пояснил Андрею какой-то встречный. А начальство-то, значит, изрядно встревожилось, если сам господин губернатор припожаловал.

Егермейстер высочайшего двора, действительный статский советник Иван Михайлович Леонтьев, в парадном мундире, при орденах, восседал рядом с Дербеневым в открытой, запряженной парою коляске, впереди скакал начальник фабрично-заводской полиции Колоколов, по бокам «желтые», здешние казаки, в городе их мало кто боялся, свыклись, и существовали они больше для декоративности. Замыкал кавалькаду Кожеловский, он в седло садиться не любил, знал, что выглядит при

этом как собака на заборе, выезжал, по обыкновению, в пролетке.

О встрече этой Андрей рассказал Афанасьеву, тот, задумчиво расправив пятернею бороду, подтвердил: похоже, быть грозе. Отец ошибся: губернатор Леонтьев, хоть и блистал генеральскими отличиями и орденами, ничем иным не блистал — ни разумом, ни прозорливостью, ни решительностью. Своей должностью, весьма самостоятельной, тяготился и с нетерпением ждал скорой — по возрасту и выслуге — отставки, единственною заботой его было дослужить без помех и начальственного неудовольствия.

Однако один серьезный шаг Леонтьев сделал: приказал вслед за собой послать в крамольный Иваново-Вознесенск еще два батальона пехоты и сотню донских, весьма рьяных, казаков.

11

Воскресный день пятнадцатого мая изобиловал событиями большими, малыми, весьма разнообразными и противоречивыми.

Утром, когда Андрей по уже заведенному обычаю торопился на площадь — там сегодня предполагалось услышать ответ заводчиков на предложенный рабочими способ переговоров,— его окликнули:

— Господин Бубнов...

Голос незнакомый, юношеский, ломкий, робковатый. И в самом деле, принадлежал он пареньку лет семнадцати-восемнадцати, невысокому, обыкновенного вида. На кого-то похож, а на кого — не сообразить.

— Да,— сказал Андрей.— Ты чего хотел?

— Не признали, ага? Петька я, Никиты Волкова брат. Скажи на милость, как подрос. У Волковых после

той, окончательной, размолвки Андрей не бывал, а Петьку помнил совсем сопливым.

— Здравствуй, Петр свет Иванович, эк вымахал,— по-взрослому, снисходительно одобрил Бубнов.

— А я к вам от Никиты,— продолжал парень.— Он хочет с вами повидаться, дело, говорит, есть.

— Какое?

— Не знаю. Никита у нас теперь больно секретный стал, он ведь в городской управе писарем служит.

Гм, это новость. Любопытно. На кой, однако, ляд понадобилась Никите встреча? Провокация? Или совесть в нем заговорила, помочь намерен?

— Хорошо. Завтра вечерком у нас на задах, пусть не через калитку, а забором.

В полдень, не таясь, от Владимирского тракта по городу ладными рядами на мелкой рыси проследовала казачья сотня, за нею два линейных батальона, командиры — с шашками наголо.

В два часа пополудни, все на той же Талке, собралась партийная группа.

Специально большевистский центр по руководству забастовкой не выделяли, он сложился как бы сам собой: всех — четыреста с гаком — партийцев каждый раз не соберешь, и понятно, что по уговору каждый вечер приходили «закоперщики». Никому из членов организации, конечно, не препятствовали, если по своей инициативе явится, но многолюдных собраний решили не устраивать: слишком стремительно раскручивались события, лишние дебаты — помеха.

Впервые за несколько дней Бубнов увидел Фрунзе. Скулы выперли, от уголков рта — резкие складки. И бобриком стриженные волосы полегли назад. Голодал, поди, решил Андрей, нащупал припрятанные маменьки-

ны ассигнации, вынул, разделил пополам. Михаил не стал отказываться — свои люди.

В качестве «главного пропагатора» сегодня докладывал Андрей. У него на руках списки выборных. Успел прикинуть, вот статистика, вполне обнадеживающая и отрадная, сами посудите.

151 депутат. Из них женщин — 25. Членов РСДРП — около 70. Неграмотных — только двое. Если большевики и не преобладают, формально подсчитывая, то по сути решающая роль принадлежит нам, поскольку значительная часть беспартийных депутатов эсдекам сочувствуют. Остается решить, кого будем рекомендовать в руководство общегородского Совета уполномоченных.

— Прежде всего,— сказал Отец,— я думаю, что название само по себе неправильное, казенное: уполномоченных обыкновенно назначают, а у нас — выборные. Думаю, больше подходит название — Совет рабочих депутатов.

Согласились без спора.

Разногласия начались при обсуждении кандидатуры председателя Совета. Первым назвали Дунаева, но против сразу и весьма резко выступил Балашов, снова корил Евлампия за «экономизм», тот взбеленился, пришлось Отцу их урезонивать. Дунаеву, по всему видно, в председатели хотелось, но сошлись на том, что ему не хватает выдержки, а вот оратор хороший, пускай этим и занимается. Предлагали Самойлова — отклонили, недостаточно популярен. И вообще, сказал Фрунзе, целесообразнее в председатели выдвигать не партийца, чтобы не дать пищу для демагогии со стороны властей: де, никакой это не народный Совет, а кучка врагов царя и отечества. И следовало бы выбрать такого человека, чтобы его хорошо знали и рабочие, и фабриканты, и власти.

Трифоныча поддержали, а Бубнова осенило: Ноздрин! Как раз тот, о ком говорил Михаил. Гравер. Раклистов

и граверов хозяева ценят, но и для рабочих они не господа, свой брат. Кончил Авенир Евстигнеевич всего-навсего приходскую школу, но до многого дошел, стихи сочиняет, книги в его доме есть. Андрей к нему заглядывал, напротив живет. И человек немолодой, на пятом десятке, спокойный, рассудительный, непьющий.

Никто возражать не стал, за Ноздриным тотчас послали, чтобы заручиться его согласием, а тем временем постановили, что в секретари Совета надо выделить большевика, и здесь обошлось без словопрений, — Николай Павлович Грачев из «Компании», сиречь «Товарищества Иваново-Вознесенской ткацкой мануфактуры», тоже грамотен хорошо, электрик и в партии не первый день. Грачев здесь присутствовал, согласие изъявил, но сказал, что секретаря надо бы не одного. Решили: других секретарей, коли сочтут необходимым, пускай намечают сами депутаты.

Ноздрин пришел скоро — неторопливый, добротно одетый. Андрей в который уж раз отметил, что Авенир Евстигнеевич удивительно похож, если судить по фотографии, на поэта Надсона: такие же длинные волосы, борода, сливающаяся с усами, и такой же прямой, с широкими крыльями, нос. Только Надсон был худой, а Ноздрин полноват. Держался, как всегда, с большим достоинством. Предложение Афанасьева выслушал молча, ответил не вдруг, без особого, казалось, воодушевления, поблагодарил за доверие, — если депутаты поддержат, а партийные товарищи помогут, «попробуем, обещать ничего не могу, дело новое, но постараюсь, как умею».

Заседание Совета проходило, с разрешения губернатора Леонтьева, в одноэтажном, красного кирпича, здании мещанской управы, что на улице Негорелой. Чтобы не обострять для начала отношений, Леонтьева завери-

ли: посторонних не будет, примут участие только выборные депутаты. В дверях со списком стоял Николай Грачев, он, подмигнув, Андрея пропустил: таково было постановление партийной группы.

Явился Свирский, вышколенный, спокойный, пуговицы на вицмундире блестят; фабричный инспектор и открыл заседание. Начало для всех явилось неожиданностью: Свирский передал просьбу — не распоряжение, а просьбу! — губернатора. Во время забастовки может возникнуть надобность отпечатать объявления, обращения, а типографии закрыты. Не могут ли господа депутаты проявить должное благоразумие и позволить нескольким наборщикам и печатникам по необходимости выполнять указанные работы?

— Видал-миндал,— Дунаев толкнул Андрея.— Не приказывает начальство, а кланяется.

— Да,— подтвердил Бубнов,— это признак... Уважим просьбу его превосходительства? Уважим.

Дунаев встал, сказал, что препятствий к такой работе не видит, если, конечно, типографские сами не станут противиться, насильно их Совет заставлять не будет. На том и порешили.

— Господа,— говорил далее Свирский.— Настоящее совещание для всех явление новое. Взываю к вашему благоразумию и благонамеренности, лишь спокойствие, деловое отношение в рамках законности поможет вам, господа, отстаивать свои интересы и заслужить тем самым одобрение сотоварищей.

Затем Свирский уступил место только что избранному председателем Ноздрину. Протокол вел электрик Иван Добровольский, Грачев дежурил у дверей. Совещались недолго: поскольку вчера получили отказ предпринимателей обсуждать требования на общем митинге, эти же требования в пятидесяти экземплярах вручили Свирскому для передачи хозяевам. Свирский огласил еще ка-

венную записку о приеме министром финансов депутации рабочих Москвы,— видимо, инспектор хотел еще раз подчеркнуть стремление властей к «миротворению». Совещание закрылось. Длилось оно менее часа.

Так свершилось в безуездном городе Иваново-Вознесенске событие, которому суждено было войти в историю нашей страны.

Значение его чуть позже Ленин характеризовал так:

«Советы рабочих депутатов — *органы массовой непосредственной борьбы*. Они возникли как органы борьбы *стачечной*. Они стали очень быстро, под давлением необходимости, органами *общереволюционной* борьбы с правительством».

Владимир Ильич подчеркивал:

«Иваново-Вознесенская стачка показала неожиданно высокую политическую зрелость рабочих. Брожение во всем центральном промышленном районе шло уже непрерывно усиливаясь и расширяясь», а «давно ли казался он нам спящим глубоким сном, давно ли считали там возможным только частичное, дробное, мелкое, профессиональное движение?»

12

Почему и «грандиозная стачка», и первый в России общегородской (на отдельных предприятиях в других местах они появлялись и немного ранее) Совет депутатов возникли именно в Иваново-Вознесенске, провинциальном, административно незначительном, не имевшем предприятий тяжелой индустрии, с чрезвычайно низким образовательным уровнем основной части населения, с практически ничтожным числом представителей прогрессивной интеллигенции?

Безуездный, то есть занимавший низшую ступеньку в административной иерархии, Иваново-Вознесенск по

численности населения входил в список пятидесяти крупнейших городов империи. Социальный состав был весьма однороден, рабочие являлись абсолютным большинством. Крупное текстильное производство зародилось здесь в начале XIX века. Концентрация производства вела за собою и концентрацию рабочей силы — по этому показателю промышленность города стояла на первом месте в России. В 1902 году по стране в целом на предприятиях с числом рабочих 500 и выше работало примерно 69 процентов, а здесь — 93 процента всех занятых на производстве. Значение этого фактора понятно.

Далее. Промышленно-капиталистическое развитие города шло почти невероятными для России темпами. Если в 1880 году рабочих было около 11 тысяч, то к началу нового века число это утроилось, а в забастовочном движении 1905 года, по новейшим данным, участвовало до 70 тысяч человек.

Среди местного пролетариата не было никакого внутреннего расслоения: рабочая аристократия отсутствовала, узкопрофессиональных интересов практически не существовало, поскольку промышленность города однородна.

Заработная плата иваново-вознесенских, владимирских, костромских и ярославских текстильщиков была одной из самых низких в мире, жизненный уровень был на грани голодной смерти.

Вторая группа факторов, так сказать субъективных, тоже весьма значительна и своеобразна.

Ко II съезду партии здесь сложилась социал-демократическая организация, прочно ставшая на ленинские позиции. Попытки «экономистов» свернуть ее с правильного пути получили решительный отпор. Влияние меньшевиков и эсеров равнялось почти нулю, их здесь были считанные единицы, активности они не проявляли. У руководства местной группы Северного комитета

РСДРП в разные периоды стояли опытные подпольщики, организаторы, пропагандисты.

Близость к Москве, постоянные и непосредственные связи с Московским комитетом большевиков, теснейшее общение с Ярославлем, где базировался Северный комитет, позволяли своевременно получать и типографскую технику, и готовые листовки, и оружие и корреспондировать в «Искру», а затем в ленинские газеты «Вперед» и «Пролетарий», в решающие моменты посылать сюда крупных партийных работников.

Наконец, что выглядит достаточно парадоксально, майский революционный взрыв здесь был в значительной степени обусловлен... инертностью в период январских событий. Кровавое воскресенье не вызвало в городе сколько-нибудь заметного отклика. Кратковременные локальные стачки завершились безрезультатно, показав и недостаточность организаторского и пропагандистского опыта местных большевиков, и политическую незрелость рабочих, недавних выходцев из крестьянской среды, лишенных пролетарской закалки, и исключительно слабую политическую просвещенность женщин-работниц, и религиозный настрой, и прочность веры в «батюшку-царя», и сложности, вызванные тем, что Иваново-Вознесенск был удален от основных, находившихся за границей, центров партийного руководства. К чести основного ядра местной организации РСДРП надо сказать, что оно сумело быстро сориентироваться, выявить причины постигших их в январе неудач, мобилизовать силы, расширить ряды свои до 400 человек и в мае выступить против предпринимателей единым фронтом, превратить стачку с первых же часов во всеобщую, а через несколько дней из экономической — в политическую.

Что касается Совета рабочих депутатов, то возник он, по ленинской оценке, как продукт «самобытного народного творчества», но большевики незамедлительно

поняли значение этого принципиально нового, нигде до того не существовавшего, подлинно народного органа по практическому руководству забастовкой, разглядели в нем зародыш «органа *власти*» и приложили все усилия к тому, чтобы Совет все более активно и последовательно брал на себя функции местного временного революционного правительства. И в течение двух с половиною месяцев Совет успешно действовал как *государственная власть*, противопоставив себя властям официальным и заставив последних расписаться в полном бессилии, подчиняться указаниям Совета.

Глава вторая

1

— Про Николая Клеточникова где-нибудь вычитал? — спросил тогда у Никиты Волкова заранее настороженно-ироничный Андрей.

— Про какого еще Клеточникова? Слыхом не слыхал.

— Ну, тогда просвещу тебя малость. Был такой народоволец, Николай, кажется, Васильевич, он поступил на службу в Третье отделение и сообщал революционерам наисекретнейшие сведения. Значит, по его стопам намереваешься? Что ж, благие порывы...

Напрасно иронизировал, напрасно, думал потом Андрей. Мог ведь и оттолкнуть Никиту, а что-то с Волковым произошло серьезное, какой-то перелом. Он себя пересилил, не повернулся, не ушел, рассказал очень важное. И не просто рассказал, а передал копию ответов предпринимателей на «Требования»,— завтра ответы огласит Свирский. Нет, конечно, в качестве письмоводителя управы Никита Волков окажется нам весьма полезен, и напрасно стал его вышучивать, хотя, собственно, сравнение

с Клеточниковым — не укор, а похвала, но ведь Никита не понял, да что говорить, дурной у меня характер, не умею ладить с людьми; но что понимать под словом «ладить»? Впрочем, сейчас не время для самоанализов,— а когда наступит время для самоанализов?

Андрей читал вслух:

— «В настоящее время произведено не будет... Не можем согласиться... Отменены быть не могут... Принято быть не может... Находим крайне затруднительным... Вообще недопустимо... Не подлежит нашему обсуждению...»

Форменное издевательство,— говорил Андрей,— посмотрите, мы пишем: «Право читать в свободное время газеты», а они отвечают: «Во время рабочих часов чтение вообще недопустимо». Или вот: «Отпускать матерей через каждые три часа на полчаса для кормления детей». Пожалуйста: «Против... кормления матерями грудных детей на фабриках препятствий никаких не имеем». Да там и взрослые задыхаются, не то что младенцы...

— Картина ясная,— сказал Афанасьев.— Ни на какие уступки не пойдут. Предлагаю, чтобы Совет принял постановление — ответы возвратить через старшего инспектора. А по главным пунктам — восьмичасовой рабочий день, пенсии, политические свободы — составить заявление министру внутренних дел за подписью всех депутатов. Тебе, Химик, и тебе, Трифоныч, этим заняться. Пускай и наверху знают, что у нас — Совет депутатов и что мы переходим к требованиям политическим.

2

Деятельность Совета разворачивалась вовсю. На втором заседании он постановил закрыть в городе «казенки», то есть винные лавки, запретить азартные игры. На сле-

дующий день обсудил отказ предпринимателей удовлетворить «Требования» и возвратил их ответ. Перед городской управой провели многолюдную сходку. Губернатор запретил собрания на улицах и площадях, но вынужден был направить Совету письмо: «...разрешаю всем членам депутации в количестве не более 200 человек собираться в помещении мещанской управы... Часы заседаний депутации не ограничиваю. Безопасность и неприкосновенность личности депутатов гарантирую».

Однако уже через неделю арестовали члена боевой дружины, депутата, большевика-слесаря Якова Рязанцева, продержали до 14 июня. За депутатами Клавдией Кирякиной, Петром Козловым, Андреем Поляниным учредили надзор.

20 мая Совет принял важнейшее решение (проект готовил Бубнов): «Для поддержания порядка на улицах города во время стачки, который может нарушаться черной сотней и хулиганами, ничего общего с рабочими не имеющими, для того, чтобы по нашему уговору действовать согласно и встать на работу не раньше, чем на это согласятся все рабочие г. Иваново-Вознесенска, а также во избежание столкновений между работающими и бастующими товарищами — постановили устроить милицию из среды себя... Действиями этой милиции руководят депутаты...»

Это был акт *государственной* власти, Андрей в том себе отдавал полный отчет.

Совет сделался хозяином города. Он обязал торговцев открыть для забастовщиков неограниченный кредит, запретил повышение цен на продукты, организовал выдачу денежных пособий или чеков на получение продовольствия особо нуждающимся забастовщикам. Для детей до трехлетнего возраста выдавались деньги на молоко. За время забастовки финансовая комиссия Совета израсходовала около 19 тысяч рублей; они были получены от

Красного Креста, от рабочих Петербурга, Москвы, Ярославля, Владимира, Иркутска, Харькова, выручены от продажи фотографических карточек с изображенпем заседаиий Совета (даже «господа» их покупали — иа память, что ли).

Большинство фабрикаитов, однако, в панике бежали из города, управляющие старались ие показываться забастовщикам на глаза. Известиый скупостью и хамством Мефодий Гарелии крычал, что скорее себе все зубы вырвет, а рабочим не уступит ии в чем.

По улпцам скакали доиские, астрахаиские казаки, в боевой готовности держали три пехотных батальоиа. Но полицейский пристав, рапортуя Кожеловскому, вынужден был отметить: «Буйств и насилий рабочими учинеио не было, ведут себя тихо».

Стачка распространялась во всей округе: поддержали рабочие Шуи, текстильщики Вичуги, Кинешмы, Тейкова, Родников,— движение охватило весь промышленный райои. К движеиию присоединились крестьяне, спрашивали у партийного комитета, «как отобрать землю и земских начальников уничтожить», писали о том, что «научились у ивановских рабочих и тоже начинаем делать забастовку».

Готовились к вооружеииой схватке. За револьверами в Москву ездила Матрена Сарментова. На заводе Кирьянова делали кастеты, кинжалы, отливали корпуса для бомб и, когда удавалось, отбирали оружие у зазевавшихся солдат и городовых, у сторожей, у лесиых объездчиков.

Фрунзе срочио послали в Шую, где бастовало десять тысяч человек, так что писать заявление министру Булыгину выпало на долю одного Бубнова,— правда, после того, как основные положеиия обсудили сообща.

«Мы не можем изматываться иа работе, мы не можем жить без отдыха, точио иа каторге, мы не можем ждать,— писал Аидрей,— поэтому мы требуем, чтобы государст-

венная власть немедленно ввела в законодательном порядке 8-часовой рабочий день на фабриках и заводах».

Он писал далее о недопустимости вмешательства начальства и войск в дела рабочих во время забастовки, об установлении пенсий, о создании комиссии по рабочему вопросу из народных, выборных представителей, об установлении свободы печати, свободы собраний. И заканчивал уверенно: «Мы заявляем, что этой свободой мы будем пользоваться и впредь, и надеемся, что ни полиция, ни войска не будут нам препятствовать в осуществлении этого законного и необходимого нам права».

Проект письма на партийной группе одобрили, но решили выждать несколько дней: стачка в целом еще не приняла политического характера.

Лишь 23 мая положение круто изменилось.

В это утро под руководством депутатов рабочие организованно двинулись на городскую площадь, чтобы вступить в переговоры с губернатором. Еще не знали, что он уехал во Владимир, а здесь в качестве представителя высшей власти его сменил вице-губернатор Сазонов. По распоряжению «вица» все подступы к площади оградили войсками, казаки и пехота держали наготове винтовки, шашки, нагайки. Решили в открытую схватку с вооруженной силой не вступать, а двинуться всем на Талку.

Подняли — впервые! — красное знамя. Пели «Марсельезу». Было примерно пятнадцать тысяч человек.

Тайный агент доносил Кожеловскому: «На сходке рабочих на реке Талке оратор не из числа рабочих, а приезжий возбуждал народ против правительства, объясняя, что войну кровопролитную устроило именно правительство».

«Оратор не из числа рабочих» был Бубнов. Полицейский агент посчитал его за приезжего.

3

По решению партийной группы с 23 мая стал издаваться бюллетень большевистской организации. Андрей либо писал текст, либо редактировал, если составляли другие.

В проведении забастовки наладился твердый порядок. С утра собирались партийцы, намечали, какие вопросы обсудить на заседании Совета, подсказывали, кому выступить, о чем. Потом — Совет, депутаты собирались на Талке, рассаживались на песчаном выступе, некий остряк из грамотеев пустил прозвище — «мыс Доброй Надежды». Утверждали вчерашний протокол, обсуждали текущие дела, если надо, выделяли депутацию для переговоров с властями, зачитывали большевистский бюллетень... На противоположном берегу тем временем собирались рабочие, им докладывали о принятых решениях, начинался митинг. Постепенно митинги стали заменяться лекциями — говорили не только о текущих делах, но и о том, что такое классы, государство, почему существует эксплуатация и почему ее нельзя избежать, пока не свергнуто самодержавие. С лекциями выступали чаще других Бубнов и Фрунзе.

Большую речь держал Андрей 25-го.

— Вчера мы вам сообщали,— говорил он,— что фабриканты письменно изъявили согласие вступить с нами в переговоры, причем своим представителем выделили Дербенева, нам предложили послать пятерых депутатов. Что же вышло? Когда депутаты явились, городской голова заявил, что никаких переговоров не назначал, что фабриканты не изменили своего решения — каждому хозяину иметь дело только с рабочими своей фабрики. Ему показали письменное извещение вице-губернатора о переговорах. Дербенев ответил, что предпринимателям о такой бумаге ничего не известно. Как же так? Выходит, вице-

губернатор совершил уголовное преступление, написал от имени фабрикантов без их ведома. Рабочего за такой подлог судили бы, а для начальства, видно, законы не писаны. И еще мы получили от «вица» бумажку, в ней говорится, что мы несли запрещенные флаги. А между тем нигде не сказано, какой цвет материи дозволенный, а какой преступный...

— Насчет флагов я скажу,— Михаил Лакин выдвинулся чуть вперед.— Царский флаг, все знаем, из трех цветов: вверху белое, в середке синее, внизу красное. Я слыхал — это еще Петр Первый придумал. Верхнее белое — это высшее правительство, высшие господа, «белая кость», которая всем государством управляет. Синее — это самые наши кровопийцы, фабриканты и чиновники, наемные шкуры, которые нас давят, теснят, и неспроста ведь у жандармов мундиры-то голубенькие. А красное полотнище внизу — это и есть мы, мы с вами, кровью нашей выкрашено! Вот мы и поднимаем красное знамя в знак того, что не хотим подчиняться мерзкому правительству, а хотим, чтобы правительство было из рабочих и крестьян, тогда земля перейдет крестьянам, фабрики — в наше управление, тогда мы скажем кровопийцам, чтобы и они своим горбом себе на хлеб зарабатывали!

— Ура!

— Долой самодержавие!

— Вы государя не трожьте, грех! — Какой-то бородач деревенского облика, пробираясь к пеньку, говорил: — Государь — помазанник божий, фабрикантов и управляющих прогнать — одно дело, а государя никак невозможно, грех это перед богом...

— Ну-ка я ему отвечу,— Федор Афанасьевич хитро улыбнулся.— Ты, старина, Библию-то читал?

— А то,— сказал бородач.— Грамотные мы.

— Так вот и я почитывал на досуге, когда в тюрьме

сидел. Поучительно. Кой-чего знаю. Там прямо сказано: под царем ходить — это грех.

— Иди ты, нехристь,— бородач отмахнулся.

— Не веришь? Изволь. Первая книга Царств, двенадцатая глава, стих девятнадцатый: «И сказал весь народ Самуилу: помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам; ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя...» Вник, борода? Вот оно, грех-то в чем...

Бородач перекрестился.

— Врешь, поди?

— А ты дома загляни в Библию-то, коли я соврал — завтра приходи, уличи меня во лжи.

Вокруг смеялись,— правда, не слишком дружно. Отец казался очень довольным.

— Не выдумал, Федор Афанасьевич? — тихо спросил Андрей.

— Оборони господь. — Отец даже перекрестился для убедительности.— Ни единой буквочки, все как есть.

4

Власти перешли в наступление. Второго июня расклеили афишки, подписанные «вицем» Сазоновым: ввиду того, что собрания стали принимать явно политический характер и произносятся даже возмутительные речи против особы его императорского величества, всякие сходки и в городе, и на берегу Талки запретить.

Арестовали Михаила Лакина с женой, с ними еще троих, чтобы не разболтали. Свидетелей беззакония — депутатам ведь гарантировали неприкосновенность — полиция иметь не хотела, задержали еще одного депутата — Ивана Белова.

Кожеловский настаивал на массовой «изоляции» как рабочих активистов, так и приезжих агитаторов (стало известно, что несколько человек прибыли из Москвы).

Этому воспротивился Шлегель, его поддержал только что вызванный в Иваново-Вознесенск прокурор Владимирского окружного суда Данилов: такая акция может привести к взрыву.

Усилили патрулирование улиц. В город вступил еще один драгунский эскадрон. Фабриканты вывесили извещения о закрытии всех предприятий на неопределенное время, то есть прибегли к так называемому локауту.

Партийная группа, затем и Совет постановили: запрету вице-губернатора не повиноваться, сходки проводить, стачку продолжать.

Решение Совета объявили на общем собрании. Там присутствовали и москвичи — Александр Мандельштам (Одиссей), Станислав Вольский; от Северного комитета — Николай Подвойский, Алексей Гастев — все нелегалы. Николай Подвойский, переодетый рабочим, подгримированный, произнес речь. Выделили депутацию к Сазонову — протестовать насчет запрещения сходок. Велели заявить ему, что в случае насилия депутатское собрание снимает с себя всякую ответственность за могущие возникнуть последствия.

Депутация отправилась, на Талке решили ждать, покуда возвратятся. Приезжие, а с ними Афанасьев, Балашов, Фрунзе, Бубнов отошли в сторонку, под сосны,— переговорить, посоветоваться. К ним присоединился и Федор Кокушкин, это Андрею не понравилось, но возражать не мог: районный партийный организатор, имеет право. Кокушкин, по мнению Бубнова, слишком уж ретив, требовал чуть ли не вооруженного восстания, как и Станко, а какое восстание, когда револьверов два десятка и примерно столько же самодельных бомб? О том спорили с Кокушкиным многократно, и всегда Федор упрекал Андрея в интеллигентской мягкотелости. Вот и сейчас, подумал Андрей, он может внести в разговор ненужную горячность, но что поделать — не прогонишь ведь.

Потолковав, пришли к выводу: что бы ни ответил Сазонов, а завтра на Талке собираться, но при этом москвичам, ярославцам, руководителям здешней организации, в том числе и Бубнову, держаться в сторонке, их арест сейчас принесет огромный вред.

Ждать долго не пришлось, депутация вернулась. Возглавлявший ее большевик Владимир Лепилов, подергивая короткие усики, слегка заикаясь, рассказал: «виц» почти не разговаривал, даже сесть не пригласил, держался барин барином, сказал напрямую: «Теперь я вас не боюсь и собираться вам не позволю». На том аудиенция и закончилась.

Объявили рабочим. Единодушно решили: завтра — сюда, на Талку!

Неподалеку от бубновского дома стоял Никита Волков, помахивал тросточкой, сделал вид, что Андрея не замечает, но, когда Бубнов с ним поравнялся, кивнул в сторону проулка.

— Недавно разошлись,— заговорил он торопливо,— Сазонов, Дербенев, Кожеловский, Шлегель, прокурор и Левенец. Ночью будут аресты, а завтра могут и на Талку нагрянуть казаки.

— Спасибо,— сказал Андрей.— Пришли ко мне своего Петьку, один я не управлюсь всех наших оповестить.

Никита, Никита... «Доверять ему полностью нельзя, неустойчив, но, думаю, сведения дает важные,— рассуждал Андрей.— Я не тянул за язык, сам ко мне явился. Как-никак, а ведь из рабочих и марксистский кружок посещал... А что, если провокатор? Ну, так все-таки нельзя — быть слишком подозрительным...»

5

«В ночь с 2 на 3 июня я приказал сделать облаву в лесу и арестовать кучку приезжих из Москвы агитаторов;

арест, к сожалению, не удался. В 9 часов утра дали знать, что на Талке собираются отдельные кучки рабочих».

Из донесения
вице-губернатора Сазонова

«Недоумевая, в чем же дело, мы все-таки собрались 3 июня на Талке. Здесь уже были казаки. Мы спокойно сели у леса. Наши депутаты отправили с 4 казаками, стоявшими патрулями, бумагу, где от нашего лица требовали разрешения собираться. Какова судьба этой бумаги — неизвестно. Говорят, будто казаки ее потеряли».

Из листовки Иваново-Вознесенской группы
Северного комитета РСДРП

«Спустя полчаса раздался свист, потом второй, третий: патрули извещали, что нас окружают... А через некоторое время с открытого места от станции показались солдаты и отряд казаков с полицмейстером Кожеловским во главе... Прошла минута ожидания, резко и отчетливо прозвучала команда Кожеловского: «Пори и пли!»

...Толпа дрогнула и, разделившись на несколько частей, двинулась в лес».

Из воспоминаний
Семена Ивановича Балашова

«...Были очевидцами того, как полицмейстер выгонял из лесу сходку, собравшуюся после воспрещения вице-губернатора. После первого же раздавшегося выстрела в лесу подстрекатели всколыхнули десятки тысяч народа криками: «В японцев не умеют стрелять, а проливают нашу кровь» — и т. д.».

Из рапорта
жандармского ротмистра Левенца

«Не доходя сажен 200 до места собраний,— рассказывал один студент,— я услыхал крики толпы. Я побежал бегом и на месте собраний увидел только одних солдат. Я пошел по насыпи железной дороги, на которую бежали рабочие, спасаясь от казаков. В лесу мелькали белые фигуры на лошадях. Из леса по направлению к реке Талке шла фабричная девушка, на нее наскочил выехавший из леса казак и стал кружиться около нее, нанося удары нагайкой. Только крики и проклятья стоявших на насыпи заставили казака прекратить свою «забаву». Я пошел дальше по насыпи и увидел, как выезжали на опушку леса казаки поодиночке, делали выстрелы по стоящим на насыпи и скрывались. После нескольких выстрелов раздались крики: «Убили, убили!»»

Из буржуазно-либеральной газеты «Русские ведомости»

«Один студент», на чей рассказ ссылается газета, по всей вероятности, Андрей Бубнов: среди участников событий студентов было всего двое, но Фрунзе одевался по-рабочему, Андрей же носил мундир.

В городе бушевали вовсю. Подкапывали, раскачивали, валили телеграфные столбы. Били камнями окна в доме Дербенева. На Воскресенской перегораживали проволокой дорогу. Со стороны гандуринской фабрики тянулся дым пожара. Почти всюду закрыты ставни. Попались навстречу несколько подвыпивших — такого не случалось за все время забастовки. Здание городской управы оцеплено конными. Ну, папенька там празднует труса, подумал Андрей, и тотчас пожалел отца: незлобив, слаб, да и отец ведь. И в доме, поди, паника. Правда, Владимир там, успокоит, коли самого успокаивать не потребуется. Андрей тревожился, но все-таки поспешил не к родным, а к Афанасьеву, надежно укрытому в конспиративной квартире.

6

Городской комитет (так они стали себя называть, хотя формальное разделение Северного комитета РСДРП на три — Ярославский, Иваново-Вознесенский и Костромской — произошло позже, примерно через месяц) собрался в лесу возле Горина. Затеплили для свету небольшой костерок. Заседали «в узком составе», чтобы в случае налета не обезглавили всю организацию. Не велели приходить Балашову — он был заместителем Афанасьева в комитете. «Приберегли» Дунаева: довольно и того, что схвачен второй наиболее популярный среди рабочих оратор — Миша Лакин.

Когда «подбили бабки», выяснилось: ничего хорошего. Арестован восемьдесят один человек, в их числе около полуста депутатов, Авенира Ноздрина сцапали, Николая Грачева. Совет остался без руководства. Кого взамен? — спросил Афанасьев. Сошлись на Добровольском, вместе с Грачевым секретарствовал, навык есть.

Андрей предложил, чтобы Совет выделил следственную комиссию и потребовал от «вица» отстранить и предать суду тех, кто руководил расправой. Не обороняться надо, а наступать, говорил он, наступать организованно, а сегодняшний стихийный бунт — ни к чему, ну, побили стекла, подожгли Гандурина, проку-то? Помните, на Третьем съезде делегатов ознакомили с запиской Ленина — Фрунзе нам рассказывал,— в ней говорилось о том, что не следует допускать бесполезного расхищения сил в отдельных и мелких террористических актах. А для организованного восстания у нас нет оружия, и не подготовлена к этому основная масса.

Не спорили, однако на следующий день Совет принял весьма противоречивое обращение к властям. С одной стороны, в нем говорилось: «Мы знаем теперь, как нам надо вести борьбу с насильниками» — и проводилась мысль об

организованном проведении *мирной* стачки. С другой же стороны: «За кровь мы будем мстить кровью и огнем».

Дунаев кричал: а помните, что в январе питерские говорили: «Царь нам всыпал, ну и мы ему всыплем»? Однако ж не всыпали, убеждал Андрей, пойми, Евлампий, и вы все поймите, товарищи: не готовы мы к вооруженному восстанию, даже если и захватим в свои руки весь город, долго не продержимся, новая кровь прольется. Восстание может быть успешным только в том случае, если начнется в одной из столиц, тогда вот оно при определенных условиях в состоянии будет перекинуться на всю Россию.

Не убедил. Да в чем-то и Совет был прав: сдержать стихию он уже не мог.

То там, то тут вспыхивали пожары, звенели стекла. Фабриканты спешно удирали: кто на дачи, кто и в Москву. Прибыли еще войска: сперва рота, потом батальон пехоты, затем полсотни казаков и эскадрон драгун. Они стояли заставами на всех дорогах, патрулировали леса и ближние деревни. До стрельбы и схваток еще не доходило, но вот-вот могло дойти: ненависть достигала предела. Рабочих поддерживали крестьяне окрестных уездов.

Вернувшийся в город губернатор Леонтьев пошел на попятную, появились всюду извещения:

«На просьбу... о разрешении иваново-вознесенским рабочим собираться для обсуждения своих фабричных дел, под условием не заниматься вопросами политического характера, сим извещаю вас, что собрания на реке Талке мною разрешаются только 11 и 12 июня, с тем предупреждением, что если рабочие не сдержат своего обещания и вновь станут заниматься произнесением и выслушиванием противоправительственных речей, то разрешение это теряет свою силу и собрание будет немедленно воспрещено. Губернатор Леонтьев».

7

Шли втроем. Дунаев, любивший пофорсить, на сей раз был в красной ластиковой рубахе под широкий ремень, в картузе. На Страннике вместо привычной вышитой косоворотки — узковатая, с чужого плеча, наглухо застегнутая поддевка. Но пуще всех преобразился Андрей: ему предстояло выступать и опытный конспиратор Афанасьев велел загримироваться. Слегка подкрученные, как у приказчика, усики (наклеенные, конечно), темные очки, волосы припомадили, зачесали назад, в руках тросточка.

Догнали Авенира — его и Грачева выпустили накануне. С Дунаевым и Балашовым он поздоровался за руку, на Бубнова же посмотрел с некоторым недоумением, сделал легкий полупоклон. Трое захохотали, довольнее всех — Андрей. Конечно, Авенир Евстигнеевич обиделся, тогда Балашов представил вполне серьезно: мол, товарищ из Ярославля. Лишь через десяток шагов Андрей снял темные очки, пришло время смеяться Ноздрину, похвалил: ловко у тебя получается, соседушко, родная мать не угадает. Ну, от нее-то пришлось через окошко удирать, сказал Андрей.

Народищу — тьма, никогда еще, кажется, не бывало столько. Хотели, как и в начале стачки, выгоду из сходки извлечь лавочники, выкатили тележки со всяческой снедью. От них отворачивались — за месяц обнищали вконец. А те, у кого еще оставались кое-какие грошики, покупать стеснялись. Только для детишек брали по сахарному прянichку, заворачивали в носовой платок.

С пенька Балашов крикнул:

— Товарищи! Мы снова на Талке! Победа наша! Ура!

Сказал, что из Москвы, из Рыбинска, еще из никому не ведомого села Тюгаева прислано в помощь нам тысяча пятьсот рублей.— В первую голову будем тем выдавать, кто раненный, прошу поднять руки.

Таких оказалось более тридцати.

— Многодетным пособим, конечно,— прибавил еще Странник.

Настала очередь Андрея. Очень волновался. Но слушали внимательно. Призвал не работать, пока фабриканты не удовлетворят всех требований, и еще добавить к требованиям, чтобы всех арестованных, до единого, выпустили. А насчет необузданных вспышек, поджогов и прочего — надо бы удержаться, говорил он.

Когда закончил, подошел давний знакомый с бурылинской фабрики, Егор Демин, жил неподалеку, частенько виделись.

— Правильно ты обсказал, товарищ,— одобрил Егор,— хоть, по всему, и приезжий, а нужду нашу знаешь и про дела наши осведомлен. Почаще бы к нам приезжали,— он перешел на «вы»,— почаще бы, ведь со стороны-то кой-чё видней.

Засмеявшись, Андрей на миг снял темные очки.

— Батюшки, Андрейка! — обрадовался Егор.— Ну, брат, хитер, скажу!

— Только молчок,— предупредил Бубнов.— Мне теперь не раз придется обличье менять, здесь, надо полагать, шпиков хватает.

— Да уж наверно,— согласился Егор.— Я тут одного приметил, он в книжечку строчил, хотел дать по шее, он от меня — как заяц от волка.

— У тебя в семье как? — спросил Андрей.

— Да как... У всех нонче одинако. Кваском харчимся, лучок зеленый выручает. На картофь надеемся, да ведь огородишко у нас — сам знаешь. Батя совсем плохой, еле-еле жив. Норовим его малость пищей поддержать — ни в какую. Говорит, не в коня корм. А на работу выходить, наказывает, и думать не моги, покудов все прочие не согласные станут.

— Как полагаешь, долго продержаться еще можно?

— Со стачкой-то? Ох, Андрейка, опасаюсь — долго не выдюжим, подперло. Олюнька соседская за стенкой ревмя ревет, молочка просит. И у Прокудиных, рядом, вопят, у них Гришка хворает, помнишь — ноги кривые?

— Рахит,— сказал Андрей.— Извечная у голодных болезнь.

— Во-во,— подтвердил Демин.— И лекарь то ж самое сказал. Говорит, от сырости, от воздуха в избе спертого, от пищи плохой, ничем, дескать, помочь не могу...

Да, чем, чем помочь? — думал Андрей. Чем, как?

А пока они разговаривали, Дунаев завел любимую — на мотив «Разлуки» — «Нагайку»:

Нагайка, ты, нагайка!
Тобою лишь одной
Романовская шайка
Сильна в стране родной.

Откуда ни возьмись появился ротмистр Левенец; известный пьянчуга и картежник, во время стачки он вроде протрезвел.

— Господа, господа, пропустите, господин-товарищ, запрещено про политику...

— Ан и не так, ваше благородие,— сказал Дунаев.— Плохо вы приказания губернатора знаете, вот извольте прочесть, коли не читали.

Извлек свеженькую леонтьевскую листовку, прочитал громко:

— «Не заниматься вопросами политического характера...» А мы вопросами не занимаемся, ваше благородие, песни петь — какой же это вопрос? — и снова запел:

...разбоев диких
Конец не за горой,
Настанет час великий,
И рухнет царский строй.

Заканчивали все:

Нагайки свист позорный
Забудем мы тогда.
Пойдем вперед мы дружно
Под знаменем труда!

И все-таки Евлампий молодец, подумал Андрей. Врожденный агитатор.

Чтобы не спровоцировать власти, вместо прямых политических призывов стали читать лекции, с легкой руки Федора Самойлова привилось название «университет на Талке», оно и в газеты проникло. Андрей выступал чуть ли не каждый день, рассказывал о социалистах-утопистах, о Коммунистическом Интернационале, о Марксе, о Парижской коммуне, и, конечно, старался так говорить, чтобы рабочим было понятно, к чему он клонит, повествуя о «делах давно минувших дней». Понимало большинство, забастовка людям на многое открыла глаза.

Фабриканты шли на уступки: через управляющих объявили о повышении жалованья на 7—10 процентов, о том, что летние расценки будут действовать круглый год. Кое-кто и в городском комитете, и в Совете начал поговаривать: не пора ли становиться по рабочим местам? Но большинство не колебалось (аппетит, известно, приходит во время еды): ведь хозяева попятились, нажмем еще,— глядишь, и добьемся!

Добивались... Кожеловского убрали, назначили другого «дракона». На сходки стал беспрекословно являться фабричный инспектор. В ответ на шифрованную депешу из Петербурга губернатор ответил: «Арестовать главарей невозможно... Моя главная надежда — на истощение материальных средств... рабочих». О телеграмме рассказал Андрею прилежный — не слишком ли? — Никита Волков, и, понятно, Бубнов сообщил о ней всем на лекции.

Приняли восторженно: сдрейфил его превосходительство! Подержимся еще! Тем более скоро сенокос, многие подадутся на прокорм в деревню.

А господин губернатор окончательно раскис. Никита снял копию с его доклада правительству: «Если дальше разрешить сходки, то они почти наверняка могут принять противоправительственный характер; с другой же стороны, если разогнать сходки, то также, наверное... рабочее движение примет характер открытого мятежа... Воинские части крайне несочувственно относятся к своей роли охранителей порядка... У меня развиваются признаки сердцебиения и нервного расстройства... Я бы убедительно просил... разрешить мне приезд в Петербург для личного доклада и заменить меня кем-либо».

8

Велев приехать за ним через час, Шлегéль отпустил кучера, срезал с молодого клена прямую ветку, зажал в кулак у макушки и провел рукою к основанию, очистил листья, ножом отхватил верхушку, получилась тросточка. В последнее время у него появилась неодолимая потребность вертеть что-нибудь в руках. Нервы. Он устал. Сорок с лишним почти бессонных ночей не шутка. Даже приехать сюда, за несколько верст, и то показалось трудно. Служба, что поделаешь. И встреча с тем, кто ждет его у заброшенной сторожки,— ждет, конечно, не посмеет опоздать — настолько важна, и настолько ценен этот агент, в кабинете с ним — никак не возможно, даже самой поздней ночью. Такого агента провалить — невосполнимая потеря.

Агент и в самом деле ждал. Загодя поднялся, но, зная себе цену, остался на месте и руку протянул первым. Присели. И сразу приступили к сути.

В партийном комитете нет единства, докладывал

агент, озираясь по сторонам и поправляя длинные волосы. Афанасьев, Бубнов, Фрунзе, Дунаев настаивают на продолжении забастовки. Против — Сарментова. Балашов и Самойлов колеблются. В одном едины: ни в коем случае не допускать стихийных вспышек, но уверенности в том, что смогут их удержать, нет ни у кого. Ноздрина приглашали на заседание комитета, он встревожен настроениями раклистов, граверов, колористов, те собирались отдельно и хотят выйти на работу, это сильно может повлиять на остальных. В Совете колебания тоже, решили завтра сделать последнюю попытку — выйти на площадь и предъявить ультиматум. Некоторые депутаты поговаривают о том, чтобы сложить полномочия и предоставить массу самой себе. Завтра шествие обещает быть мирным.

Что ж, донесение исчерпывающее, подумал Шлегель, бог мне послал этого осведомителя. Неглуп. Грамотен. Разбирается в обстановке. Как его отблагодарить — вот задача. И в прошлый раз не принял решения, и теперь сомневается как: не сунешь ему в руку, и неудобно, и откажется, поди, ведь он чуть не интеллигент. С ним надо иначе...

— Я попрошу,— сказал ротмистр,— кратенько изложить сказанное на бумаге. Настанет время — мы отблагодарим вас за ценные услуги.

— Это вы напрасно, Эмиль Людвигович,— как равному сказал агент. — Я не денег ради.

— Деньги никому еще не мешали,— отвечал жандарм.— Кроме того,— словно бы поделикатничал он,— войдите в мое положение, мне перед начальством о работе отчитываться, мне документики надобны. А подпись поставьте условную, не беспокойтесь, никогда никто не узнает. Честь имею кланяться,— сказал он, тоже как равному.

— Всего наилучшего, — попрощался новоиспеченный шпик, он же ответственный партийный организатор

РСДРП по Вознесенскому посадскому району, депутат Совета от фабрики Полушина, крестьянский сын, квалифицированный рабочий-раклист, грамотный человек Федор Алексеевич Кокушкин, партийная кличка Гоголь.

Странно, думал Шлегель. Кокоулин, Кокушкин. Дурацкое совпадение. Впрочем, не все ли равно.

У любого подвига, если вдуматься, есть одна побудительная причина — стремление сделать людям добро. Истинные подвиги совершаются во имя правого дела. Они всегда осмысленны, осознанны, даже если объективно не приводят к цели. История не сохранила для нас ни единого случая, чтобы жандарм или иной служитель престола сознательно шел на смерть по идейным соображениям. У гитлеровцев не было своих Гастелло, Космодемьянских, Матросовых. Были, правда, фанатики, но не идейные борцы.

Предательство же многолико, подобно убийству. Предателями движут и страх, и корысть, и зависть, и честолюбие, и авантюризм, и шаткость идейных позиций, и стремление пощекотать себе нервы, и нездоровая потребность к самоунижению, и извращенность натуры, и пьянство, и жажда властвовать, и мстительность, и элементарная, «беспричинная» подлость... Ни одной «положительной» причины. Никогда — возвышенной цели.

Именно потому жизнь торжествует над смертью, а добро — над злом.

Федор Алексеев Кокушкин, крестьянский сын, рабочий парень, своим трудом, своим горбом выбившийся в раклисты... Его никто не толкал в революцию, да и как можно понудить, заставить человека сделаться революционером, это — добровольное, доброхотное, некорыстное дело. Можно понудить к предательству. К подвигу — никак.

Но и к падению, к измене Кокушкина не понуждали. Он кинулся в омут подлости по собственной воле.

Он был, судя по всему, хорошим работником в партии. И стал «хорошим» доносчиком, шпиком, иудой.

Как? Почему? Во имя чего?

Попробуй теперь разберись.

Он был достаточно умен и понимал, что выше раклиста ему так и так не подняться, владельцем фабрики не стать. Революция ему открывала дорогу, и, человек начитанный, он должен был и это понимать. И однако пошел поперек.

После революции Федора Кокушкина разоблачили, расстреляли.

Глава третья

1

Случилось то, что должно было случиться: Сергей Ефремович взбеленился, взорвался и, когда Андрей ненадолго заглянул домой — ночевал у товарищей,— грянул гром: «Вон! Чтоб ноги не было! Проклинаю!» Маменька, сестры плакали, Владимир пытался что-то сказать, Андрей его остановил, молча вышел, взял в мезонине шинель. Поздно, будить людей ни к чему, устали все, полез на собственный сеновал. В дырку от выбитого сучка посвечивала луна, хрумкал внизу жеребец Васька. Все знакомое. И, как ни кинь, родное... Ладно, рано или поздно это должно было случиться.

А взорвался папенька неспроста, в городе настали тревожные дни. Только за вчерашнюю ночь — несколько поджогов, разгромлено около сорока лавок. Никита Волков передал, что лавочники заявили об убытках — тридцать тысяч рублей. Арестовали сто восемьдесят человек, раненых полно. Опять разбушевалась стихия.

Начиналось, однако, мирно. Двадцать третьего с утра, как решили, от речки двинулись на площадь, человек

этак тысяч семь. Ноздрин объявил решение Совета — заявить губернатору: или мир, или война; или фабриканты соглашаются выполнить требования, или за дальнейшее Совет не отвечает. Но призвал рабочих соблюдать спокойствие и порядок, не вызывать власти на крутые меры. Согласились. Шли организованно, пели — не революционное, а так, кто во что горазд. На Приказном мосту — казаки, дальше, по обе стороны Мельничной, шпалеры солдат, и площадь с трех сторон ограждена казаками. Народ заволновался.

Губернатор — а с ним Свирский и новый полицмейстер Иванов — на балкончике появился не сразу, выслушал Ноздрина, объявил, что фабрикантам, поскольку они разъехались, будут тотчас разосланы депеши, а сейчас он просит с площади удалиться, ответ будет дан завтра на Талке им лично.

В ожидании Леонтьева утомленные, сморенные жарою люди сидели прямо на мостовой.

— Ладно! — крикнул Дунаев.— Мы сейчас на Талку пойдем, друг с дружкой посоветуемся. Но запомните, господа: или мир, или война!

Поднялись, и Андрей не сразу понял, чем изменился лик площади, отчего вдруг в безветрие поднялась пыль. Когда передние тронулись, когда за ними потянулись остальные, он увидел: все булыжники вывернуты, мостовой нет, голая, в оспинах, земля. И у каждого — камень в руке. И это видел, конечно, не он один. Видел и губернатор, и его свита, видели казаки.

Запели «Варшавянку», ее знали еще не многие, но звучало достаточно грозно:

В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут...

Теперь Андрей больше всего боялся, чтобы не полетели булыжники. Достаточно было одному казаку или

солдату сделать неосторожное движение, поднять винтовку, замахнуться нагайкой хотя бы на собственную лошадь — и поднимется, и пойдет! Но этого, слава богу, не случилось.

Зато на следующий день, когда явившийся вместо губернатора Свирский объявил о категорическом отказе фабрикантов, тут-то и началось сызнова: валили столбы, рвали провода, громили магазины, поджигали дома и дачи фабрикантов, не трогали только мелких или честных лавочников (были и честные). Полиция пряталась, казаки держались в сторонке.

На Талке, в кустах, нашли труп. Никаких следов увечья. Потребовали вскрытия, определили: умер от голода. Моментально это разнеслось по городу. Рассвирепели пуще прежнего. Уже и казаков не стало видно.

Партийный комитет заседал почти непрерывно, что-то надо предпринимать, говорил каждый, а что именно? Было ясно: если не остановят погромы, дело кончится большой кровью.

Помог, как ни удивительно... фабрикант, Грязнов. Утром 25 июня от Грязнова получили депешу: изрядно уступил. И сокращение рабочего дня, и прибавка к жалованью, и отмена обысков, и выдача квартирных, и прием на работу всех забастовщиков. Следом подобное же протелеграфировал Щапов.

Зазывать на Талку не понадобилось, бежали отовсюду: наша берет! Наша-то берет, говорил Андрей, а вот нам чужое брать не годится, погромы надо прекратить, а все награбленное — иначе не скажешь — надо вернуть. Мы не разбойники, а пролетарии.

Вернуть, понятно, не вернули, да и что было возвращать — продукты съедены. Но понемногу приутихли. Тем более, что в город входили и входили войска. Денег в стачечной кассе почти не оставалось. Забастовщики измучились.

2

Свиты его величества генерал и товарищ министра внутренних дел, любимчик государя Дмитрий Федорович Трепов, всесильный диктатор столицы, стоял сейчас навытяжку у дверей, подобно исправному и преданному новобранцу, и если не «ел глазами начальство», то, во всяком случае, сопровождал взором властителя, который пересекал по диагонали взад-вперед свой кабинет.

Накануне у его величества был скверный день. Обычная утренняя забава — стрельба в царскосельском парке по воронам — окончилась безрезультатно. Завтракая, опрокинул солонку — дурная примета. У одиннадцатимесячного наследника престола, цесаревича Алексея, случился понос. В расстройстве чувств Александра Федоровна потеряла перстень с печаткой, муж, что редко с ним случалось, обозвал императрицу дурой, она заперлась в будуаре. Обозленный Николай велел кликнуть «кого-нибудь» из ближней свиты, засели за ломберный столик, и вскоре проиграно им было пять рублей серебром с копейками — трата весьма существенная. За обедом почти не ел, в ужин наверстал упущенное, принял изрядно коньяку и почивал весьма худо.

Дмитрий Федорович о великих государевых огорчениях не ведал.

Все, что докладывал он, как, впрочем, и другие заботы об отечестве, Николая Александровича вообще мало интересовало, скорее тяготило. Не случайно в его дневнике то и дело мелькают подобного рода записи: «Вечером кончил чтение отчета военного министра — в некотором роде одолел слона», «Опять начинает расти та кипа бумаг для прочтения, которая меня так смущала прошлой зимой», «Опять мерзостные телеграммы одолевали целый день».

Сейчас единственно, чего хотелось Николаю Александровичу,— чтобы Трепов поскорее убрался, хотелось, как простому мужику, опохмелиться: голова трещала и во рту стояла погань. Однако доклад был выслушан, генерал ждал высочайших повелений. Истинных причин недовольства его величества он знать не мог и относил гнев на свой счет. Николай остановился перед Треповым, сказал почти грозно:

— Передайте... Протелеграфируй,— поправился он (забыл вдруг, что полагается всем говорить «ты»),— протелеграфируй этому... этой старой квашне, да, квашне, как его...

— Леонтьеву,— торопливо подсказал генерал.

— Без тебя знаю,— оборвал Николай.— Протелеграфируй ему...— Дальше сообразить не мог. Государь император изобразил на лице задумчивость, прошелся по кабинету еще разок и сказал вяло: — В общем, тебе-то голова для чего? Понимать должен. Ступай...

Едва затворилась дверь, поспешил к заветному шкафчику. Рука подрагивала. День опять начинался прескверно... У наследника понос...

Через десять минут из царскосельского телеграфа пошла к Леонтьеву депеша с предписанием запретить рабочие собрания, взять под охрану фабрики и заводы. Раздосадованное царским неправедным гневом, превосходительство не удержалось и подпустило другому превосходительству шпильку: «При неуспехе передать власть военному начальству на предмет восстановления и поддержания порядка...»

Однако на сей раз Леонтьев откликнулся торжествующе: «Порядок в городе восстановлен».

От кратких слов так и веяло самодовольством: поздненько распорядились, без вас справились.

Этого Трепов стерпеть не мог. Последовало:

«Возлагаю на вашу личную ответственность выясне-

ние и арестование агитаторов рабочих масс Иваново-Вознесенска. Требую полной энергии».

Суть оплеухи заключалась в том, что адресовался Трепов не к Леонтьеву, а к начальнику Владимирского жандармского управления, подчеркивая тем самым губернаторову слабость. И еще: начальник губернии мог и соврать, а жандармы — народ вышколенный.

Но Леонтьев, изворотливый, умевший при случае и соврать — по трусости или для выгоды,— тут не обманул: в тот день, когда государь учинял неповинному слуге своему, Трепову, разнос, когда превосходительства обменивались депешами, а именно 27 июня, Совет решил с 1 июля стачку прекратить, установив явочным порядком сокращенный рабочий день. Даже мизерного пособия — 15 копеек в день на каждого нуждающегося — больше Совет платить не мог: в кассе оставалось 180 рублей.

3

1 июля была пятница. Проработали недолго — отвыкли за пятьдесят с лишним дней. Да и на фабриках разлад. Владельцы отсиживались в Москве, управляющие получали от них только самые «общие» распоряжения, действовали нерешительно, а иные просто боялись выходить к рабочим. Производство разладилось. Кое-где не хватало сырья. Местами нарушалась подача воды. Словом, работа шла через пень-колоду, а большинство фабрик и часть заводов по-прежнему стояли.

После обеда привычно потянулись на Талку, не поодиночке, не стайками, а большими, в сотни человек, группами. Афанасьев и Балашов были в Костроме на конференции Северного комитета, Фрунзе, вернувшись из Шуи, захворал, трясла лихорадка. Андрей помчался к речке вместе с Матреной Сарментовой.

Поляну запрудили, как в лучшие времена, в разгар

стачки. Верткий, почти всегда оживленный Дунаев ликовал: сами собрались, никто не звал, не пропало даром наше агитаторство.

— Чему радуешься? — неожиданно для Евлампия вспылил Бубнов.— Авантюра это, не можем дольше бастовать, люди с голоду мрут.

Теперь не то, что в первые дни забастовки, Бубнова знали хорошо, встретили одобрительно. Однако, едва начав говорить, он увидел на лицах удивление: ведь говорил он сегодня совсем не то, что прежде, на государя императора не замахивался и про общую свободу не втолковывал, а убеждал стачку закончить, и всем вместе, но так, чтобы предприниматели не вообразили, будто отказались рабочие от своих требований. Если попробуют нажимать — не подчиняться. Продолжительность рабочего дня на каждом предприятии устанавливать самим. За время забастовки пускай уплатят. Мастеров и конторщиков, которые над рабочими издеваются,— вон за ворота.

Убедил. Поверили. На следующий день работали на всех сорока пяти предприятиях. На требование начальника губернского жандармского управления арестовать активных агитаторов и депутатов Шлегель ответил: «Не представляется возможным». Казалось, налаживалась нормальная жизнь.

И это Андрея совсем не радовало. Забастовка, думал он, прошла вхолостую, сохранился прежний порядок. Уступили, да и то некрупно, Грязнов и Щапов, эти «штрейкбрехеры среди фабрикантов», как он их прозвал. Помитинговали, поголодали, поморили детишек, прибавилось калек,— и вернулись «к нашим баранам». Какой был смысл тогда, какой? И сражались как бы в одиночку. Да, поддержали шуйцы, кохминцы, тейковцы, да, побунтовали в уезде крестьяне, да, прислали денег питерцы и

москвичи. Но забастовка в конечном счете оказалась ограниченной, местной, здешней, и потому не могла она привести к радикальным результатам, не могла. И сколько понаделали ошибок, сколько пришлось тратить времени на разъяснение очевидных истин — неграмотен, темен еще народ,— сколько было споров среди большевиков! И вернулось все на круги своя, и воцарилось спокойствие в граде сем.

Спокойствие продолжалось недолго, и гром грянул совсем не с той стороны, с какой его можно было ждать.

Бесценным человеком проявил себя Никита Волков, ему теперь Андрей полностью доверял. Не побоялся, прибежал к Бубнову — тот временно квартировал у Егора Демина (того самого, что не узнал его в гриме),— известил: беда, Андрейка, двинули господа в атаку, ровно японцы, только что «банзай» не кричат... И наскоро объяснил суть.

Времени оставалось мало, Андрей (он выполнял обязанности секретаря комитета, пока другие руководители еще находились в Костроме) сумел позвать лишь Ивана Уткина, Дунаева, Матрену Сарментову, Мишу Лакина и, хоть не хотелось, Кокушкина.

«Работодатели» сделали ход конем, говорил Андрей, объявили то, что называется локаутом. К десяти утра на всех предприятиях будут заперты ворота, вывешены объявления: хозяева не желают делать никаких уступок, самовольного прекращения работ не потерпят, те, кто желает оставаться на прежних условиях, дают расписку, остальным — полный расчет. Неделю на размышления. Не согласны — увольняют всех до первого сентября... А там кончится страда в деревне, говорил Андрей, и хлынет сельская голытьба, согласная на любые хозяйские условия.

— Крепкий орешек подсунули,— сказал Миша Лакин.

— Так ведь это господа орешки щипцами колют, а мы зубами раскусываем, зубы у нас, пока от кислот не вывалятся, на все пригодны,— привычно сбалагурил Дунаев.

— Замолчи, черт тебя подери! — заорал Андрей (после говорили, что сделался белый-белый).— Хватит языком трепать, положение слишком серьезное.

— Не гавкай, не ротмистр,— вскинулся Дунаев.

Андрей перевел дух, извиняться не стал — не до того было.

— Итак, — сказал он, — надо уговаривать рабочих соглашаться на ультиматум, другого выхода нет. Поднаберемся сил — опять начнем борьбу, а теперь не время.

— Не согласен,— заявил Дунаев.

— Не согласен — и не надо,— отрезал Андрей,— другие согласны, изволь подчиняться партийной дисциплине и на бочку больше не выскакивай, ты к ней слишком привык. Новые времена — новые песни, тактику надо менять круто,— говорил Андрей.— И довольно дебатов, давайте расходиться, надо предупредить активных партийцев, чтобы утро не застало их врасплох.

Прежде чем идти на «свою», соседнюю с домом, фабрику Гарелина, Андрей забежал к Фрунзе, три дня, кажется, не виделись. Михаил — под овчинным полушубком, бледный, в поту. Говорили недолго. Михаил сказал, что решение Бубнов принял верное. Иван Черников, у которого Фрунзе квартировал, сидел тут же — от него не таились,— помалкивал.

И прежде чем пойти на «свою», то есть полушинскую, фабрику, разъяснять активистам, как надобно себя вести, партийный организатор посадского района Федор Кокушкин (Гоголь), ввиду чрезвычайности обстоятельств, крадучись постучал в окошко к господину ротмистру Шлегелю, выманил во двор, поспешно доложил. Шлегель принял меры: его агенты через час отправились к тем,

кто работал в ночную смену, отправились по рабочим казармам, по баракам.

Наутро расклеенные на запертых воротах листки не оказались для большинства неожиданностью. Привычно потянулись было на Талку, но партийцы предупредили: там может оказаться засада, собираться в Черновском лесу.

Пришли сильно наэлектризованные, Андрей это понял сразу. Народу собралось не так уж много, от каждого предприятия по нескольку представителей. Получается, подумал Андрей, что кроме нашего Совета стихийно образовывается второй, какой-то «совет представителей», что ли. Он, стараясь успокоить себя и товарищей, шутливо перекрестился: господи, благослови, дай мне силы твои и твердость духа твою... Вскочил на пенек.

Встретили недружелюбно: долой, хватит, послушали тебя, вышли на работу, а оно вон как обернулось, долой, пускай Дунаев говорит, наш он... Андрей терпел, стоял молча, пока не утихли.

— Товарищи,— заговорил он,— надо нам теперь пойти на уступки хозяевам, бороться мы больше не в силах («Коли ты не в силах, так и не борись» — услышал негромкую реплику), надо подкрепиться, и касса у нас пуста.

Перебьемся, начали кричать, нам не привыкать, а помрем — так на том свете хуже не будет, может, в рай попадем. В деревню подадимся на заработки. Бастовать!

Крики криками, а дальше случилось то, чего Андрей уж никак не ожидал: очередным оратором оказался Иван Черников (вчера помалкивал и вообще неразговорчив). И еще более удивился, услыхав речь отнюдь не косноязычную,— видно, Черников ее обдумал.

— Хватит,— говорил он,— крутят так и этак господа-хозяева наши. Я сам к станку вышел, брюхо подвело,

а теперь вижу — нет, пятиться негоже. Или все — по-нашему, или — мы тоже не дураки — взять полный расчет, да стребовать, чтобы за время стачки заплатили, да за две недели вперед, не то вдребезги их заведения разнесем. Вон как площадь-то оголили, до одного камушка, а если по кирпичику из стен возьмем — и стенок не останется. И депутатов наших слушать не желаем.

Что поднялось!

— Депутаты! А чего депутаты? Они к губернатору ходют, к городскому голове, их там чаем-кофием потчуют!

— Прода-а-лися!

— Черников! Правильно говоришь! Сдохнем, а в кабалу не пойдем!

— Айда купцов громить!

— Громить не станем, надо мирно...

— А только забастовку...

— Чего забастовку?

— Надо!

Притаившись за стволом, вслушивался в эту кутерьму продажная шкура Васька Кокоулин, вслушивался и силился понять. Как же так, то эти, которые большевики, звали бунтоваться, а теперь отговаривают, народ же зовет к стачке. Все перевернулось...

«Смысла в том нет»...

Бесполезно пытаться перекричать. Андрей позвал тех, кто стоял рядом. (После Матрена Сарментова рассказывала ему: пятнами ты весь пошел, Андрей, аж страшно глядеть было.)

— Идемте отсюда к дьяволовой матери, — сказал Андрей. И, словно бы не видя Матрену, скверно выругался. Матрена, привычная к таким словам, на Бубнова глянула в изумлении: от него-то впервые услыхала.

Неунывающий Дунаев сказал, не скрывая торжества:

— Кто был прав, Химик, а?

— Прав был я,— ответил Андрей, стараясь, чтобы звучало твердо.— Извини, Матреша,— сказал он Сарментовой.— Я пойду один,— сказал он всем и круто свернул с тропинки в кусты.

Из припасенного загодя полуштофа, шевеля кадыком, глотал Васька Кокоулин. И мутная его рожа, и гулкие глотки, и струйка водки по небритому подбородку, и вся его развинченная фигура предстали Андрею мерзостными, паскудными. Нет, он и не подозревал, что Васька — «дух», шпик, платный агент. Просто за все время забастовки в городе не было пьянства. Сейчас Васька был как бы живым олицетворением того, что сделалось, что творилось,— провала, краха, бессмысленности стачки, именно провалом и бессмысленностью представлялось Андрею случившееся. И, не владея собой, он шагнул к Ваське, молча выбил из слабых пальцев еще не опорожненный полуштоф. Кокоулин глянул горестно и непонимающе, качнулся, рухнул наземь.

Быть уверенным в своей правоте и испытать горечь поражения — кому не доводилось переживать подобное? Случалось, и закаленные надламывались, никли, сдавались. Трудно, унизительно оказаться поверженным, разбитым в схватке один на один — в словесной ли схватке, в рукопашной ли. А когда на тебя наваливаются все, когда и близкие товарищи, единомышленники тоже против тебя, когда лишь Матрена посочувствовала, но по-женски, по-человечески, не более, когда не с кем поделиться, посоветоваться в позорные, унизительные минуты — Миша Фрунзе лежит в приступе лихорадки, члены комитета, черт побери, в этой окаянной маменькиной утехе, Костроме,— когда ты не можешь, как в детстве, ткнуться

в чьи-то колени, поплакать, ощутить ласковое прикосновение и услышать такие же ласковые, от которых проходит любая боль и обида, слова, когда ты не успел даже влюбиться всерьез и нет для тебя и не материнской, а родной, по-иному родной, женской, все утишающей ладони,— как плохо, горько, одиноко, неприкаянно и бессмысленно жить...

4

На общегородской конференции Андрей докладывал чрезмерно возбужденно, вел себя столь несвойственно для его обычной уравновешенности, что поглядывали с удивлением, Афанасьев неоднократно прерывал, приговаривал: «Спокойней, Химик, спокойней, давай без возгласов, не митинг, а конференция». Впрочем, нервозности поддались и остальные.

События, что называется, проходили в городе бурно, слишком уж бурно и путано. После локаута, после провала в Черновском лесу начали снова поджигать, буйствовать, громить лавки, всюду шныряли провокаторы. Совсем двойственным стало положение депутатов Совета: они в большинстве уговаривали выйти на работу, но из деревень стали возвращаться те, кто на лето нанимался в батраки, и, не разобравшись толком, вину сваливали опять же на депутатов, грозили расправой, депутаты очутились меж двух огней. Ноздрин и тот растерялся, плюнуть на все и уехать с глаз долой сулил, он гравер первой руки, ему-то место всюду найдется.

Но, после споров, позицию и действия Бубнова одобрили.

По решению Северного комитета, принятому в Костроме, о чем сообщил Афанасьев, Иваново-Вознесенск выделялся в самостоятельную организацию. Без долгих прений ответственным секретарем выбрали, понятно,

Отца, в комитет — Балашова, Фрунзе, Дианова, Дунаева (гордости не скрывал!), Сарментову, Уткина, еще нескольких. Четвертым в списке был Андрей, ему снова поручили возглавить пропагандистскую комиссию и связи с Москвой.

Вскоре он впервые угодил в полицейский участок.

Возвращался из лесу возле Горина, где митинговали рабочие Куваевской мануфактуры, шуму подняли столько, что уже не понимали, о чем ведут разговор. Андрей решил не вмешиваться — бесполезно,— однако не выдержал, вышел вперед, окончательно забылся, запамятовал, что не «университет на Талке», а массовка, притом сумбурная, заговорил о подготовке к вооруженному восстанию, которое рано или поздно охватит Россию.

Не согнали, но и не поддержали. Едва умолк, снова принялись гомонить о своем, и Андрей, подавленный, отправился восвояси.

Уже виднелись неподалеку тусклые, освещенные закатным солнцем домишки жилой слободы Сластихи, уже стал он понемногу и успокаиваться, когда услышал сзади еле различимый — скорее запахом поднятой пыли, чем звуком,— перестук копыт. Двое казаков. Притиснули конскими боками, повели. Интересно, как выследили? Должно быть, прятались в секрете, а на массовке — шпики, вот и подсказали, кого цапнуть.

На Кокуе, в полицейском участке, унтер и разговаривать не стал, выслушал только старшего из казачьего наряда, велел арестованного в клоповник. Их благородие приедут — разберутся, пояснил-таки Бубнову.

Их благородие полицмейстер Иванов теперь не слишком опасался беспорядков — город затихал, да и войск хватало,— укатил на рыбалку по случаю субботы и, возвратясь через двое суток, умиротворенный после пикни-

ка, знатной ухи с возлияниями, прочих земных радостей, и узнав вдобавок, что задержанный есть сын члена городской управы, уважаемого и приятнейшего Сергея Ефремовича,— лишь формальности ради сделал Андрею внушение, больше отеческое, нежели казенное, и отпустил с миром.

За эти двое суток, в вонючей камере, на засаленных нарах, среди всякой шушеры, лежа на голых досках, оторванный от дел, забот и товарищей, Бубнов спокойно поразмышлял и пришел к тем выводам, которые так или иначе должен был сделать.

Через некоторое время в прокламации «Уроки стачки» он писал:

«Товарищи! Пусть малого мы добились... но зато пусть всякий себя спросит, что было до забастовки и что теперь. Не раскрыла ли глаза забастовка?.. Разве не увидели мы ясно, кто наши враги?.. Разве не увидели мы, для чего нужны царю войска и полиция, и чьи интересы они защищают?.. Забастовка научила нас требовать: «Долой самодержавие!» и «Да здравствует демократическая республика!». Забастовка показала нам также, что добиваться политической свободы нужно с оружием в руках. Научила она нас, что только тогда, когда мы будем организованы и вооружены, мы силой добьемся своих прав».

Нет, время в полицейском участке не пропало понапрасну. От уныния, отчаяния даже и следа не осталось.

— Знаешь,— говорил он, когда прогуливались не спеша с выздоравливающим Фрунзе,— мне вдруг пришло в голову, я подсчитал: продержались мы ровно столько, сколько Парижская коммуна,— семьдесят два дня. Случайное совпадение, конечно, а видится в нем какая-то многозначительность. И ведь насколько мы с тобою знаем, наш Совет в России — первый...

В 1926 году он прочитает только что обнародованные, хотя и написанные вслед за событиями, ленинские слова:

«Иваново-Вознесенская стачка показала неожиданно высокую политическую зрелость рабочих».

Да, в главном, в основном это было именно так.

Всеобщая стачка завершилась 22 июля.

Но на отдельных предприятиях забастовки вспыхивали на протяжении всех последующих месяцев. С августа по декабрь 1905 года их было в Иваново-Вознесенске 63, притом большей частью на политической почве.

Стачки гремели по всей стране.

Революция продолжалась.

5

Никогда еще общественная жизнь России не была столь напряженной и противоречивой.

Восстал броненосец «Потемкин» — это был, по ленинской оценке, новый и крупный шаг вперед в развитии революции. Неслыханное в империи событие: целая воинская часть взбунтовалась против царя. Несмотря на неудачу, «броненосец «Потемкин» остался непобежденной территорией революции и... перед нами налицо несомненный и знаменательнейший факт: попытка образования *ядра революционной армии*»,— писал Владимир Ильич. Следом начались вспышки протеста на других кораблях и в армейских частях.

6 августа обнародован царский манифест и положение о выборах в законосовещательную Государственную думу, ее прозвали булыгинской «в честь» автора проекта, министра внутренних дел Булыгина. Подавляющая часть населения — трудящиеся города и деревни, женщины, военнослужащие, учащиеся — избирательных прав не получала. Большевики расценили проект как маневр, рассчитанный на раскол революции, призвали бойкотировать выборы.

23 августа правительство подписало Портсмутский договор с Японией, унизительный, позорный. Россия

лишалась южной части Сахалина и Курильских островов. Она потеряла 400 тысяч человек, угробила около трех миллиардов рублей. Зато царизм теперь, завершив бездарно проведенную империалистскую войну, мог развязать себе руки для борьбы против революции. Войну затевали, чтобы революцию предотвратить, войну заканчивали, чтобы наступать на революцию.

Царизм готовил наступление.

Большевики это понимали и готовились дать отпор. В октябре Бубнова послали в Московский комитет для установления связей и для того, чтобы договориться о помощи оружием. Зашевелилась «черная сотня», оружие было крайне необходимо. Но знал бы Андрей, к какой беде приведет доставка револьверов сюда...

6

Первым делом отправился в Петровско-Разумовское: где сейчас находится МК — не знал, надо было повидаться с Глебом Томилиным. Оказалось, занятия в институте давно прерваны, как и в других высших учебных заведениях. Воистину «все смешалось в доме Романовых».

Дожидался Глеба.

Судьба схлестнет их летом 1922 года, когда Бубнов будет руководить агитпропом ЦК, а Томилин жалко цепляться за левых эсеров,— тогда придется драться в открытую... «Я не признавал и не признáю никогда права одних людей судить других за убеждения,— говорил тогда Бубнов.— Мысли — неподсудны. И я не смею утверждать, будто и мы, большевики, до революции, после нее,— все до малой малости делали правильно, непререкаемо, безупречно. Нет, мы спотыкались, мы ошибались, мы, поправляя других, поправляли себя. Но мы старались всегда — только вперед. Чего-то, быть может, в частностях не понимали и мы. Но вы, эсеры, не поняли главного. И нас рассудила история».

Но это было потом. Пока Глеб — товарищ, друг, и Андрей ждал его в их комнате, в нумерах института, листал полузабытые книги: учебник статистики, пособие по геодезии, курс химии... Казалось почти невероятным, что это было, что сейчас кто-то может думать всерьез о каких-то геодезических инструментах, о химических символах, о законах статистики... Его сейчас интересуют одни законы — развития общества. И одна статистика — революционная: сколько было стачек, сколько в них участвовало, чего добились...

Около полуночи ворвался наконец растрепанный Глеб — о том, что Андрей здесь, сказал внизу сторож — и сразу, будто вчера только расстались, выпалил наиважнейшую новость: выпустили из Таганской тюрьмы Грача, просидел пятнадцать месяцев, с женой только через проволочную сетку в комнате свиданий разговаривал, а через два-три часа после освобождения уже в МК,— вот человек, подумай, представь!

Проговорили долго, а наутро были в Техническом училище в Лефортове — Немецкой слободе. Училище не аристократическое, и неспроста городской комитет большевиков обосновался там. Глеб со всеми здоровался, хлопал кого-то по плечу, распоряжался, советовал,— он, чувствовал Андрей, себя здесь понимал за одного из главных. Насчет оружия договорились быстро: привезут. Баумана повидать не удалось: митинговал. Андрей решил на следующий день возвращаться домой.

7

«ВЫСОЧАЙШИЙ МАНИФЕСТ

Божиею милостью, Мы, Николай Вторый, Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский, и прочая, и прочая, и прочая.

Смуты и волнения в столицах и во многих местностях Империи Нашей великою и тяжкою скорбью преисполняют сердце Наше. Благо Российского государя неразрывно с благом народным, и печаль народная — Его печаль. От волнений, ныне возникших, может явиться глубокое нестроение народное и угроза целости и единству Державы Нашей...»

А слог, слог прямо библейский, а задушевность-то какая, чуть слеза не прошибает, не иначе как господ литераторов приобщили к составлению...

«Великий обет Царского служения повелевает Нам всеми силами разума и власти Нашей стремиться к скорейшему просвещению столь опасной для Государства смуты. Повелев подлежащим властям принять меры к устранению прямых проявлений беспорядка, бесчинств и насилий, в охрану людей мирных, стремящихся к спокойному...»

Господин студент, подвиньтесь, подвиньтесь, дайте же прочитать... Пожалуйста, помилуйте, я не загораживаю...

«...выполнению лежащего на каждом долга, Мы, для успешнейшего выполнения общих предначертаемых Нами к умиротворению государственной жизни мер, признали необходимым объединить деятельность высшего Правительства.

На обязанность Правительства возлагаем Мы выполнение непреклонной Нашей воли».

Какой же именно, государь-самодержец? Да успокойтесь вы, господин, я совсем от вас не заслоняю. И не курите, прошу вас.

«1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов».

Так-так. Значит, неприкосновенность и свобода. Всюду свобода. Послушай, малый, не дыши в затылок, сивухой разит на версту. Да не барин, а противно, вот и все. Свобода, говоришь? Это оно так...

«2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь теперь же к участию в Думе, в мере возможности, соответствующей краткости остающегося до созыва Думы срока те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив засим, дальнейшее развитие начала общего избирательного права вновь установленному законодательному порядку».

Отчасти, извините, туманно в заключительной фразе, ваше величество. Какой же, конкретно, установите избирательный порядок? Туманно, туманно... Ах, черт, извините, барышня, я подумал... Извините...

«... и 3. Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной Думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от Нас властей.

Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед Родиною, помочь прекращению сей неслыханной смуты и вместе с Нами напрячь все силы к восстановлению тишины и мира на родной земле».

Постараемся, напряжем все силы...

«Дан в Петергофе, в 17-й день октября в лето от Рождества Христова тысяча девятьсот пятое, Царствования же Нашего одиннадцатое».

Итак, вы в Петергофе, государь? В столице побаиваетесь, так надо понимать? И одиннадцатый год царствуете? Засиделись, засиделись.

«На подлинном Собственной его Императорского Величества рукою подписано: «Николай»».

Хм, и мы тоже «собственной рукой» — «добьемся мы освобожденья»... Да оставьте вы, господин, целуйтесь с другим кем-нибудь, не терплю слюнявостей.

А кругом целовались, пели, цепляли красные — смотри-ка, даже красные! — банты, и шли торжествующие чиновники, торжествующие полицейские, торжествующие лавочники, торжествующие студенты, торжествующие барышни, торжествующие подонки, торжествующие...

Свобода! Свобода! Ур-ра! Боже, царя храни! Свобода!

Следующим утром, восемнадцатого октября, в Москве, на Немецкой улице, во время политической демонстрации черносотенцем был убит наповал один из руководителей Московской организации большевиков Николай Эрнестович Бауман.

Свобода! Свобода! Боже, царя храни!

О гибели Баумана узнал Андрей из газет, поскольку вечером 17 октября заторопился домой.

Лобзания, красные банты, красные полотнища, портреты государя, веселые лица, пьяные хари, растерянные полицейские, распахнутые двери особняков, трехцветные флаги, «Варшавянка» и «Боже, царя...». Свобода!

8

На Рылихе, в квартире Балашова, поутру двадцать второго октября партийный комитет заслушал сообщение Бубнова о положении в Москве. Решили освобождать из тюрем политических заключенных. На площади уже собрались тысячи. Знамена с надписями: «Долой самодержавие!», «Да здравствует революция!».

Почтили память павших. Выступали Бубнов, Фрунзе, Лакин. Новый помощник полицмейстера уговаривал разойтись «по-хорошему» — не послушались. Через Приказный мост — к Красной тюрьме. Солдат оттеснили. Ворота — настежь. Камеры — настежь! На волю, товарищи! Присоединяйтесь к нам!

Соковским мостом — в Ямы, там вторая тюрьма. Афанасьев, Балашов, Бубнов, Фрунзе — впереди. Кованые створки раздвинуты заранее, но во дворе — штыки наперевес, лязг затворов: назад! Стрелять будем! Свобода...

На Талку!

Дошли туда лишь человек двести — триста,— многих разогнали в пути пьяные черносотенцы. Возле сторожки открыли митинг. Тем временем на противоположном берегу появились казаки, вахмистр потребовал выслать представителей для переговоров, в противном случае откроют пальбу. Большевики заколебались.

— Надо идти,— решительно сказал Фрунзе.— Пойду я.

— Нет, я,— быстро возразил Андрей.

— А ну-ка, сынки, — сказал Афанасьев,— не митингуйте. Не до споров. Пойду я.

Отбросил палочку, неожиданно перекрестился и, оскользаясь по глинистому скату, невысокий, сухонький, с трудом выпрямивший спину, пошел...

...оловянная, тяжелая, медленная, неслышная вода трудно обтекает столбы-опоры, несет щепочки, вялую листву, обрывок алого полотнища...

...покачиваются под ногами, давно прогнили, могут рухнуть, не упал бы...

...остановился, полуобернулся, помахал рукой своим, снял очки и аккуратно спрятал в кожаный футлярчик, борода треплется на ветру, и осенние вялые...

...нет, это немыслимо, стоять и смотреть, смотреть, как, вскинув голову, маленький, без привычной палочки, шапчонка еле держится, вот-вот свалится, простынет он на ветру, немыслимо смотреть, как он...

...перебирают копытами, грызут удила, шашки посверкивают, хлещут по голенищам нагайки, у вахмистра в зубах папироска, а вон, вон хари черносотенцев, пьяные, бессмысленные.

...тишина, какая во всем мире вдруг тишина, и одинокая чайка-мартын кружится, кружится молча...

— ...Стой, куда ты, черт тебя, стой, говорю!

— ...Да не могу я, Семен, пусти, Странник, пусти...

...вскрикнула и упала, подхватив зазевавшуюся у поверхности рыбешку, полетела...

— ...Не мальчишка ты, Химик, стой, приказываю!

— Да отпусти ты шинель, Странник, не убегу, ладно...

...нескончаемым, а длина мостика всего-то сажен двадцать от силы, сухонький, прямой, шапчонка свалилась-таки, простынет, сляжет, больной он, старый, сорок седьмой год завер...

...вают дубинами, дрекольем, тяжелыми пивными бутылками, хоругвь на длинном древке, государев портрет па...

...лицом перед ними, маленький, сухонький, с обнаженной головой, а напротив — еле рассмотреть — знакомый кто-то, чья это физиономия, очень зна... да неважно, нет, почему-то важно, а, это Васька Кокоулин, Сенькин брат, пьянчуга и сволочь...

...какая тишина в мире, какая... и летят последние листья, пластаются по медленной, равнодушной, стылой...

...десятки здоровенных глоток, сотни здоровенных кулаков, маленький, выпрямившийся, борода треплется на ветру, голова непокрыта, и надо...

— ...Стой, твою такую бога...

— ...А-а-а!

...и молча наземь...

«Доношу Департаменту полиции, что... Федор Афанасьевич Афанасьев 22 октября сего года на реке Талке в г. Иваново-Вознесенске, во время произнесения им, Афанасьевым, речи на возвышенном месте, под красным флагом...»

Из рапорта начальника Владимирского губернского жандармского управления

Андрей продирался сквозь оголенные кусты, они хлестали по лицу, цеплялись за отвороты шинели, кричала над рекой одинокая чайка. Присел на корточки, свинцовой, медленной водой смыл с исцарапанных щек слезы и кровь.

9

«Правительства, которые держатся только силой штыков, которым приходится постоянно сдерживать или подавлять народное возмущение, давно уже сознали ту истину, что народного недовольства не устранить ничем; надо попытаться отвлечь это недовольство от правительства на кого-нибудь другого».

Ленин. «Искра» № 1

«В некотором царстве, в некотором государстве жили-были евреи — обыкновенные евреи для погромов, для оклеветания и прочих государственных надобностей...»

Максим Горький. «Русские сказки»

Жили-были они и в безуездном городе Иваново-Вознесенске, ибо в числе некоторых других категорий евреев, коим дозволялось проживать за пределами черты оседлости, значились и ремесленники особо ценных специальностей. В них здешние фабриканты испытывали нужду.

Над Вознесенским посадом, над бывшим селом Ивановом — вопль, единый и отчаянный; над хибарками жалкие, истертые перья из вспоротых подстилок; по мостовой, усыпанной осколками битой посуды, волокли, прямо по секущему, терзающему стеклу, полураздетых, истерзанных, изнасилованных; со второго этажа усердно, старательно выталкивали в узкое окошко сундук, он пролезать не хотел, а вытолкнуть его было необходимо, сундук с жидовским барахлом; пахло паленым волосом: подожгли седую бороду — и человек вспыхнул, упал, его растоптали; таскали за волосы, гогоча, неприкосновенного повсеместно священнослужителя, почему неприкосновенного, если это пархатый...

Для успокоения души своей черносотенцам в городе евреев не хватило. И, отобедав после праведных трудов, приняв дополнительно горячительного, верноподданные отправились громить всех, кто подвернется под руку.

От них разило сивухой, потной прелью, сапогами, портянками, луком, верноподданничеством, селедкой, ненавистью, дешевой ливерной колбасой, гнилыми зубами и кровью. Они выступали грозно и уверенно,— свобода! — перед собою несли грубо намалеванные богомазами доски, и «парсуны» того, кто «... и прочая, и прочая, и прочая», и трехцветные, с кровавой полосой понизу, флаги, и дреколья, и опорожненные бутыли, и каменья. Полагалось им петь только «...царя храни», но, хлебнув изрядно,

горланили и неподобающую «Камаринскую» и непотребную, из сплошного похабства, «Семеновну».

Они выступали, шествовали по улицам,— свобода! — и никогда еще город не ведал такого страху.

Заслышав их издали, Андрей выбежал во двор.

Еще вчера, наспех собравшись, Владимир всею семьей уехал в Питер, чтобы оттуда — к родителям Тони, в Кронштадт. Бог ему, как говорится, судья. Сестры замужем. Николка, беспутный шалопай, пропадает неведомо где, Михаил — в столице.

...Ворвутся, повалят наземь, примутся топтать сапожищами, и услышишь, как хрустят собственные ребра, и захлебнешься собственной кровью, и станет в глазах темно, и погаснет все, что есть вокруг тебя, а они пойдут дальше, воняя пóтом, сивухой, верноподданничеством и безнаказанностью.

Они повернули сюда.

Дробно семеня по выложенной кирпичом дорожке, белый, аккуратно причесанный, на груди — серебряная цепь, должностной знак члена городской управы, в дрожащих руках — икона Георгия Победоносца, к запертой калитке приблизился Сергей Ефремович. Перекрестился истово и торопливо. Увидел Андрея, сделал знак — прочь. Андрей остался.

Голос папеньки, всегда-то писклывый, звучал сейчас на самых верхних нотах, как ни старался Сергей Ефремович придать ему солидность. Андрей услыхал пропитой баритон:

— Не трожь, это Бубнов, городской управы...

И орущая, воняющая, осатанелая орда протопала дальше...

10

«Его превосходительству господину прокурору Московской судебной палаты.

Прокурора Владимирского окружного суда

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Доношу Вашему Превосходительству, что 29 октября сего года вечером полицейский обход под начальством надзирателя м. Ям Лебедева на окраине г. Иваново-Вознесенска, по Дуниловскому тракту, задержал трех показавшихся подозрительными лиц, шедших по направлению из деревни Котельницы. По приказанию Лебедева задержанные были обысканы, у двух из них оказались револьверы и патроны, почему всех троих отправили в полицейскую арестантскую местечка Ям, где при более тщательном обыске у одного из задержанных, как оказалось мещанина Петра Иванова Волкова, 17 лет, была найдена в рукаве пачка из 110 прокламаций от имени Иваново-Вознесенского Комитета Российской Социал-демократической Рабочей Партии. У другого из задержанных — студента Петербургского Императорского Технического Института Михаила Васильева Фрунзе, 21 года, — была отобрана его записная книжка с заметками, касающимися рабочего движения в Иваново-Вознесенске, и три рукописных черновика воззваний, в том числе черновик с редакционными исправлениями той прокламации, которая отобрана в печатном виде у Волкова. У третьего задержанного, студента Московского Сельскохозяйственного Института Андрея Сергеева Бубнова (сына члена Иваново-Вознесенской городской управы) был найден один печатный экземпляр той же прокламации...»

Господин прокурор умолчал о некоторых, весьма существенных, обстоятельствах.

Прежде всего, задержанных «для порядка» били, били умело, так, чтобы не оставалось внешних следов. Били еще до того, как у Бубнова из потайного кармана выпал

браунинг, а у Фрунзе обнаружили смит-вессон. Били потому, что показались «подозрительными лицами». А когда у «подозрительных» нашли оружие, полицейские вовсе рассвирепели, каждому из троих накинули на шею ременную петлю, концы ремней привязали к седлам и хлестнули коней.

По-взрослому Андрей жалел в эти минуты Петю Волкова. Как ни просил Андрей у полицейских, чтобы отпустили парнишку,— разве их уговоришь. А у Пети в рукаве листовки, и не выкинуть целую пачку — заметят.

Гнали не шибко, но и отставать было нельзя: при малейшей задержке петля врезалась в тело. Но главное заключалось не в боли, а в чувстве невероятного унижения. Позже, в камере, Андрей думал: так вот половцы, татары волокли в плен, в рабство, от далеких тех времен идет стремление не просто причинить боль, а унизить, растоптать — не тело, а душу, человеческое достоинство... Противиться было бесполезно: придушат, кинут в кусты и делу конец, виновных не отыщут, полиция усердствовать не будет... Уже перед въездом в город остановились. Андрей вытер пот. Михаилу велели влезть на плетень — для чего, хотят на коней, что ли, посадить? И тотчас полицейский дернул лошадь, Михаил упал, подвернул ногу,— всю жизнь после хромал.

А о том, как происходил «более тщательный» обыск в ямской арестантской, свидетельствует подписанная всеми троими жалоба на имя прокурора Владимирского суда: «Нас били кулаками (всех), нагайками (всех), поленом (Фрунзе и Волкова), таскали за волосы (Бубнова), топтали и били ногами (Волкова и Бубнова)...»

Об этом господин прокурор предпочел умолчать. Он продолжает в канцелярски-эпическом тоне:

«31 октября Помощник Начальника Губернского Жандармского Управления Ротмистр Шлегель приступил к производству дознания... по признакам 103 и 139 ст. Угол.

Улож. ввиду заключающегося в отобранных воззваниях призыва к ниспровержению Самодержавия и оскорбительных для Государя Императора выражений...»

11

Их выпустили на волю 16 ноября, в среду, в шесть часов пополудни.

Именно в этот день, месяц спустя после обнародования высочайшего манифеста, на привокзальной площади внеуездного Иваново-Вознесенска была затоптана, растерзана, загублена черносотенцами, вопившими «Смерть жидовке!»,—дочь московского врача, студентка-медичка, член Российской социал-демократической рабочей партии (фракция большевиков), посланец МК, привезшая сюда чемодан с револьверами для своих товарищей, смуглая, черноносая красавица, человек чистейшей души, ничем, даже малой малостью перед людьми себя не запятнавший, не предавший в пустяке, не солгавший, не...

Словом, погибла Оля Генкина. Ей было двадцать три. Почти столько же, сколько Бубнову.

Ее похоронила полиция, ночью, тайком, похоронила рядом с Афанасьевым, за оградою Ново-Успенского кладбища, там, где по церковным законам — за оградою, неотпетыми — полагается предавать земле самоубийц, бродяг, вероотступников. Как ни скрывали «фараоны», о могилах этих вскоре знал весь город. Сюда, никого и ничего в отчаянии не опасаясь, пришел студеным вечером Андрей.

Мела пурга. Стонали крепкие, взращенные на плодородной кладбищенской почве деревья. Кренились подгнившие — вот-вот рухнут — кресты. Никого не было вокруг.

И даже Михаила не позвал с собою.

Никто не мог видеть Бубнова.

Никто не знает, о чем он думал тогда.

Никто не знает, кем была для него Оля. Во всяком случае, не только товарищем по делу, партийным товарищем.

Быть может, и его мысли высказал многие годы спустя поэт, которому принадлежат слова надписи, выбитой над братской могилой, где рядом с Федором Афанасьевым и Ольгой Генкиной лежат еще двадцать четыре большевика — далеко не все из павших,— сложившие головы свои в те годы и в дни Великой Октябрьской.

Здесь высечено теперь:

Сердце свое распахни перед памятью павших,
Жизнь отдавших за светлое счастье твое.
Умерли вы, но любовь и бессмертие — с вами.
В дело народа вложили вы жизни свои...

Мела пурга. На площади горланили пьяные черносотенцы.

Подыхал в фабричном лазарете с проломленным черепом — свои же, в пьяном затмении, шарахнули — шпик и пропойца Васька Кокоулин.

В городской управе делопроизводитель Никита Волков, торопясь, снимал копию с важной для большевиков бумаги.

Перед лампадою молился истово Сергей Ефремович Бубнов.

На Рылихе, у Балашова, заседал комитет.

Год тысяча девятьсот пятый близился к концу. Но ему, пятому году, еще предстояло заявить о себе Декабрьским вооруженным восстанием — высшим взлетом первой русской революции.

Этой революции не дано было победить — к тому не сложились условия.

Но — генеральная репетиция состоялась!

От Балашова возвращался Бубнов мимо тюрьмы. Сколько еще тюрем его дожидались...

Глава четвертая

1

Тюрьмы, тюрьмы... Таганка, Лубянка, Бутырка, «Кресты», Владимирка, Александровский централ, Казанка, Нижегородская крепость, Петропавловка, томская и киевская, самарская и харьковская, нерчинская и мензелинская, да еще и еще... Каторжные, исправительные, пересыльные, военные, мужские, долговые, женские; тюремные зáмки и арестантские отделения полиции, дома предварительного заключения и приюты для несовершеннолетних,— как только не обозначались, не именовались тюрьмы на великой Руси! Даже сумасшедшими домами они значились.

Велась регламентация, она предусматривала и кто управляет, и как сими заведениями. И кого из арестантов бить батогами, кого — пороть плетьми, сечь розгами, келейно или всенародно. И сколько государственных денег жаловать заключенным за их подневольный труд, и какою пищею поддерживать изнуренные их телеса — все до малой малости было предусмотрено в империи Российской.

И предопределено было, предписано: тюрьма должна заставить человека, если он человек, поверить, что он полнейшее ничтожество, отброс, что его удел — бесправье да еще тяжкий, порой бессмысленный труд. Даже и трудом, создавшим человека, пытались его уничтожить. Впрочем, не всякого. Других старались искалечить *отсутствием* труда. И кто скажет, какое из наказаний было страшней.

Тюрьмы, тюрьмы... Все они были разные, и все — одинаковые.

У каждой — глухие ворота, где железные, где с оковкою дубовые, где из ощеренных кольев.

Стены — то выложенные из кирпича, то сложенные из бревен, то из отесанных камней, стены, пропитанные слезами, стонами, тоскою, безнадежностью.

Во всех — одинаковый запах: плесени, параши, солдатской затерханной шинели, ржавого железа, тухлой воды, крысиного — мыши дохнут здесь, только крысиного — помета, мокрой швабры, арестантской кислой баланды, немытых тел, шипящего газового рожка, грубого табака.

А звуки — разве не у всех одни и те же, сходные до малости: удары сапог по каменным плитам, неслышное почти шорханье шерстяных носков, ежели кому захотелось подслушать, подглядеть, и лязг запоров, и пересвист дверных петель, и перестукивание через стенку, и перекличка в ватерклозетные трубы, и стоны по ночам, и вопли избиваемых, и бряканье ложек о миски, и оклики часовых.

Одинаковый цвет — серый. Что стены, что потолки, что полы, что шапки, что лица арестантов, что баланда, трижды в день, что бумага от начальственных щедрот два раза в месяц — все оно серое, как и небо за верхним отверстием «намордника». И серая жизнь, когда не сообразишь, что лучше — то ли обитать с уголовным отребьем, то ли пребывать в «одиночке», где хоть можно побыть наедине с собой, поразмыслить, порассуждать.

И еще — вкус... Недопеченного, липкого хлеба, пустых, с раздрызганною перловою крупой, невнятных щей, и рыжеватого кипятка, и — с тухлинкою — сырой воды, и лежалых пряников, купленных в здешней лавчонке, и мороженой сладкой картошки.

Свет, вяло сочащийся через «намордник», а в ночные часы — мерклый, мертвенный свет от газового рожка, от свечки, от блеклой электрической лампешки, всегда ограниченный, неживой, безрадостный.

Схожий распорядок. Подъем командою ефрейтора, вахмистра, унтера. Вынос параши, вонючей и стыдной параши. Или выводка — слово-то какое скотское! — в сортир. Завтрак. Допрос (кому предусмотрен). Мордобитие. Прогулка после нищенского обеда. И потом, быть может, снова допрос. Когда обретаешься в «одиночке», вызова к следователю ждешь чуть ли не с нетерпением,— все-таки общение с живым человеком, пускай и врагом, все-таки яркий свет, и нормальный стул, а не откидная табуретка, и вода в стакане, все-таки могут угостить папироской — не откажешься после обрыдлой казенной махры... И ужин — кипяток с горбушкой, — и вечерняя перекличка, и опять стук лошадиных кованых сапог по коридорам, да позвякиванье ключей, да стоны во сне, да скрип отверзаемого «глазка»...

Тюрьмы... Они существуют издревле. Тюрьмы — почти ровесницы человечеству и, как знать, может, и умрут где-нибудь вместе с ним...

Пещера или «каменный мешок», деревянный острог или усовершенствованная американская «Синг-Синг», жуткий ли Алексеевский равелин или патриархальная, с оттенком либерализма, Владимирка, параша или общий, у всех на виду, клозет, свеча или газовый рожок, оловянная кружка или медная, баланда из капусты или брюквы, Николай ли Палкин или Александр-«освободитель», Николай ли Александрович... Суть не в том.

Важно: тюрьмы есть тюрьмы.

Важно: они одинаковы.

Важно: люди в них разные.

Хотя по-особому разные.

Если «на воле» людей отличают признаки расовые, национальные, социальные, имущественные, должностные, возрастные, половые, психологические, анатомические, физиологические, то в тюрьме деления всего два: «политики» и уголовники. Прочие факторы несущественны и во

внимание не принимаются. Нет, еще отделяют женский пол от мужеского — во избежание соблазна. Остальное — тьфу.

К уголовникам власти снисходительнее: опасны лишь для отдельных, в сущности, лиц (изувечат, ограбят, изнасилуют). Не баламутят умы. Не жаждут книг, бумаги, чернил, не строчат жалоб, не объявляют голодовок,— напротив, жрать им только подавай! — не пропагандируют надзирателей. Сидят себе и сидят как миленькие.

Иное дело — «политики». С ними не оберешься мороки, за ними — глаз да глаз. И до чего только — в тюрьмето! — не додумывались они!

Сочиняли стихи, поэмы, даже романы, конструировали философские системы и делали научные открытия, изучали иностранные языки и вырабатывали планы государственного переустройства, придумывали машины и ухитрялись рисовать.

История мест заключения российских знает изобретение уникальное и предназначенное для сугубого, здесь же, внутреннего употребления.

В одиночке Петропавловской крепости, дабы общаться с братом, тоже участником заговора,— сидел в соседней камере,— знаменитым романистом Александром Марлинским, вольнодумец Михаил Александрович Бестужев и здесь блеснул живостию ума и составил азбуку, дав ей название «стенная»,— вскоре для большей ясности стали ее называть «тюремная».

Изобретение это гениально по своей простоте и неизмеримо велико по значению. Скольких людей нехитрая эта азбука (буквы расположены в горизонтальные и вертикальные ряды, каждая получает двузначное цифровое определение, только и всего) — скольких она спасла от самоубийства, от помешательства, от необузданной и бессмысленной вспышки гнева, от падения, от предательства, сколько с ее помощью предотвратили арестов, провалов,

в скольких людей, и заключенных, и пребывающих «на воле», вселили веру и надежду!

Как на памятниках астрономам выбивают знаки зодиака, композиторам — нотные, воинам — мечи, так бы вот, допустим, на одетой кованым железом двери камеры в Алексеевском равелине, где изнывал от одиночества опальный, опозоренный, дерзновенный штабс-капитан лейб-гвардии Московского полка Михаил Александрович Бестужев,— на двери этой поместить бы доску из бронзы с таблицей, изображающей придуманную им азбуку.

2

Профессиональный революционер, писал Бубнов, «ежесекундно чувствовал себя солдатом революции и членом партии, находящимся в ее полном распоряжении. С революционной работы он уходил в тюрьмы, в ссылку и выходил «на волю» только для того, чтобы немедленно взяться за партийную работу. И ни в тюрьме, ни в ссылке он не бросал своей работы (применительно к обстоятельствам) или подготовки к ней».

Из его «биохроники».

1907-й. После Лондонского съезда был одним из руководителей подготовки всеобщей стачки текстильщиков в Иваново-Вознесенске, Шуе, Тейкове, Родниках. По дороге в Кострому арестован. После освобождения переведен в Москву, член городского комитета партии, ответорганизатор Рогожского района.

1908-й. Ответорганизатор в Сокольниках. Делегирован на Всероссийскую партийную конференцию в Париж, за несколько дней до выезда арестован.

1909-й. После годичной «отсидки» назначен агентом ЦК в Центральной промышленной области.

1910-й. Кооптирован в состав Большевистского центра в России. Через несколько дней арестован, пробыл в «предварилке» три с лишним месяца. Осужден к годичному заключению в крепости. Срок отбывал в Нижнем Новгороде, после чего был оставлен там в ссылке на два года.

1911-й. Выйдя на свободу, кооптирован в Организационную комиссию по созыву всероссийской партийной конференции, но сразу арестован.

1912-й. На Пражской конференции (заочно) намечен кандидатом в члены ленинского ЦК. По освобождении уехал из Нижнего в Петербург, сотрудничал в «Правде».

1913-й. Введен в состав редакции «Правды» (литературные псевдонимы — А. Глотов, С. Яглов), работал в думской фракции, в Петербургском комитете РСДРП. В июне арестован, выслан в Харьков.

1914-й. От воинской повинности освобожден «по нездоровью». Сразу после начала империалистической бойни выпустил интернационалистскую листовку — арестован. Через три месяца выслан этапом сначала в Полтаву, затем в Самару.

1915-й. В Самаре возглавил большевистскую организацию.

1916-й, октябрь. В связи с провалом предполагавшейся самарской конференции партийных организаций Нижнего Поволжья арестован...

3

Перестукиваться было не с кем, по обе стороны камеры пусты. Это Бубнов понял в первый же день,— никто не откликался на азбуковую дробь. Оставалось лежать и размышлять.

Что ни говори, а цивилизация — полезная штука.

После вонючей, прокислой тюрьмы в Иваново-Вознесенске, после тяжеловесной Таганки, после угрюмо-при-

давливающей крепости в Нижнем здешняя, самарская, вполне пристойна даже. Потолки сводчатые, однако не слишком низкие; панели понизу наведены масляной краской, выше — известкой. Пол не кирпичный, а цементный, гладкий, без выбоинки, и для красы протерт мазутом — пованивает, но зато блестит. Окошко двустворчатое, рамы открываются внутрь, решетка с той стороны, и нет постылого, заслоняющего, искажающего свет козырька-«намордника». И вместо нар — койка с одеялом, наподобие солдатской. Правда, стол вделан наглухо и на окошке внутренний ставень, но закрывается лишь для наказания провинившегося, а покуда он откинут, ставень, и можно любоваться голым деревом на воле. Ничего, жить можно, подумал Андрей Сергеевич, усмехнулся. Волчок, понятно, прорезан, но какая же камера без волчка, словно церковь без икон. И вот что отрадно: параши нет. Совсем культурно живем, подумал он.

Разносили обед. И это известно: в оловянной кружке, в медной миске — тяжеловатые предметы, господа, не запомнили урок с народником Ипполитом Мышкиным, закатил тогда литой тарелкой в рожу смотрителю Шлиссельбурга. И обед тоже известный, будто по всей России один и тот же кашевар готовит арестантскую серую бурду. Черпак баланды — суп. Затем полчерпака такой же баланды, только чуть погуще,— каша. И тепленькая бурда-жидкость — чай. Есть не хотелось, но Бубнов себя заставил, как заставляет себя хворый вталкивать в рот противное на вкус и в то же время необходимое лекарство. И лег поверх солдатского, колючего некогда, теперь же вытертого, как портянка, одеяла. Допрос был утром, больше, судя по всему, не вызовут. Можно полежать и поразмышлять, вспомнить. Подходящее место для воспоминаний — тюрьма.

Это неизбежно: когда человек остается в одиночестве, когда он (в камере ли, в собственной ли комнате, одоле-

ваемый бессонницей, выброшенный ли кораблекрушением, затерянный ли в горах) остается наедине с собою, беспощадно перед собою открытый, такой, каким никогда не покажется даже самому близкому,— невольно человек перебирает и судит прожитую жизнь, и она встает, не обязательно в «хронологической последовательности», пускай фрагментами, пускай с «перескоками», а встает, припоминается заново.

Самым ярким, самым незабываемым за эти десять лет было, конечно, знакомство с Лениным. Произошло оно для Андрея при обстоятельствах чрезвычайно важных — не случайная встреча, не мимолетная беседа, не взгляд издалека на улице,— впервые он увидел Владимира Ильича не где-нибудь, а на партийном съезде!

Первая четверть 1906 года. После Декабрьского вооруженного восстания — спад революции с временными «приливами». Военное положение в ряде губерний, диктаторские права властей, карательные экспедиции. К апрелю 14 тысяч «мятежников» казнены или убиты, 75 тысяч — арестованы. Свирепствуют черносотенцы. Стремительно «правеют» либералы. Царь маневрирует: объявлены выборы в Государственную думу. Меньшевики отрекаются от вооруженной борьбы. Стачки продолжаются: за три месяца в них участвует 269 тысяч человек, две трети — в политических забастовках. Владимирская губерния — на втором, после Петербургской, месте по количеству стачек. Иваново-Вознесенская партийная организация растет, она численно входит в первую пятерку (900 человек, тогда как в Питере — 3 тысячи, в Москве — 2,5, в Баку и Харькове — по 1 тысяче). Усиливается жандармская слежка, усиливается полицейский надзор.

В начале марта Андрей Бубнов арестован после заседания пропагандистской коллегии. Тюрьма во Владимире. Выпущен «за недостаточностью улик». И новость: созван съезд. За границей. Избранный делегатом от Шуи, уже

выехал туда Михаил Фрунзе. От Иваново-Вознесенской городской организации проголосовали за Николая Андреевича Жиделева, но при получении в Петербурге мандата меньшевики ухитрились лишить его полномочий. Городской комитет постановил: направить в Стокгольм Бубнова. Собрание проводить некогда, снабдят письмом, а протокол оформят после, задним числом.

Из столицы — поездом в Гельсингфорс, а там на пароход. Опаздывавших кроме Андрея оказалось еще двое мужчин и две женщины, познакомились при оформлении мандатов. Один из спутников все время помалкивал, другой — Михайлович (Тучапский) — был говорлив, но оказался ярым меньшевиком. В бесполезные здесь дискуссии, да и небезопасные, не ввязывались. Зато с двумя партийками Андрей, обычно в присутствии женщин скованный, почувствовал себя просто и легко,— быть может, потому, что по виду обе казались значительно его старше, или по другой причине: простой и легкий тон сразу определила та, что помоложе. Назвалась поначалу неожиданно: товарищ Яковлев. Именно так, в мужском роде. Засмеялась, объяснила: на съезд должен был ехать ее муж, Яков Свердлов, но пермские большевики переменили решение, обстановка в городе была слишком напряженная, там требовалось его присутствие, и тогда вот избрали ее, Клавдию Новгородцеву, а псевдоним дали «по мужу». Клавдия Тимофеевна — светленькая, с гребенкой в зачесе, пухлощекая, нос «уточкой» — держалась непринужденно, свободно. Другая же, товарищ Саблина, делегированная из Казани, выглядела усталой и очень пожилой (впоследствии Андрей узнал, что ей было тогда всего-то тридцать семь) и больше расспрашивала, чем рассказывала. Обнаружила удивительное знание обстановки и на Урале, и в Иваново-Вознесенске, задавала вопросы не общие, а вполне конкретные. Чувствовалось, что крупный партийный работник. Поняв это, Андрей

спросил, встречалась ли она с Лениным, каков он собой. Саблина чуть заметно улыбнулась, ответила, что встречаться доводилось, а каков он — скоро увидят сами, в подробности не вдавалась... Нетрудно себе представить изумление Бубнова, когда на следующее утро он узнал, что товарищ Саблина — это Надежда Константиновна Крупская, о которой столько рассказывала ему Варенцова...

Прибыли в шведскую столицу поздно, и в дешевеньком отеле, куда их поместил встретивший в порту распорядитель, тотчас Андрей разыскал Фрунзе. Оказался здесь и Евлампий Дунаев, посланный Московской организацией. Перебивая друг друга, объяснили обстановку на съезде. Она оказалась очень и очень сложной. Меньшевики воспользовались тем, что в крупных промышленных центрах России социал-демократические организации понесли большие потери, и за счет экономически отсталых губерний и малых городов обеспечили себе на съезде численное превосходство. И хотя собрались ради объединения, буквально с первых же минут, с выборов бюро, с утверждения порядка дня, начались жесточайшие разногласия. Они обострились до предела при обсуждении аграрного вопроса. Съезд явно принимал меньшевистский характер. «Впрочем, — сказал Фрунзе, — убедишься завтра сам...»

Опоздавшие, в том числе Бубнов, первый раз явились на съезд к тринадцатому его заседанию, то есть в разгар работы: всего заседаний состоялось двадцать семь. Собирались дважды в день: с утра и после обеда. До председательского звонка, приглашающего в зал, обычно толпились в «предбаннике», весьма благовидном: пол устлан сукном, стены обиты штофом, посредине — длиннющий полированный стол (подавали сюда чай), изысканно-

гнутые стулья. Вероятнее всего, именно в этой комнате Народного дома Андрей Бубнов и увидел впервые Ленина.

Нет никаких документальных подтверждений того, что Ленин разговаривал с Бубновым отдельно, специально, тет-а-тет. Но не вызывает сомнений и то, что они познакомились лично. Доказательства тому просты.

Во-первых, большевистская фракция съезда насчитывала всего сорок шесть человек и со многими Владимир Ильич встречался прежде, появление новых товарищей не могло остаться незамеченным.

Во-вторых, вокруг Бубнова на двадцатом заседании разгорелся некий скандал: мандатная комиссия под председательством меньшевика Ерманского (в протоколах съезда — Руденко; почти все делегаты ради вящей конспирации «шли под псевдонимами», притом, как правило, не под постоянными, а специально для сего случая придуманными) пыталась, прикрываясь формальными доводами, дезавуировать полномочия Ретортина (Бубнова). Андрей Сергеевич выступал с разъяснениями; голосовали и переголосовывали... Ленин, конечно, этот инцидент не пропустил мимо себя.

В-третьих. По вопросу о принятии одной из резолюций на шестнадцатом заседании небольшая группа большевиков подала в президиум письменное заявление. Почти рядом с ленинской — подпись Ретортина.

В-четвертых. Вечерами, по свидетельству Клавдии Тимофеевны Новгородцевой-Свердловой, «большевистская часть съезда собиралась в каком-либо небольшом скромном ресторане. Приходил Владимир Ильич... велась живая, непринужденная беседа...». Как тут, в неофициальной обстановке, не узнать каждого из собеседников...

...Нет, это не звон председательского колокольчика, это звяканье ключей. Принесли кипяток, выдали замусоленный какой-то, словно в кармане таскали, кусочек

сахару. Потом вывели в клозет. Наглухо задвинули наружный засов. Лампочка стала гореть вполнакала. «Одиночка». Самарская тюрьма. Тринадцатый по счету арест...

...Он сразу понял, что это — Ленин. И совсем не потому, что перед Владимиром Ильичем особо почтительно расступились или, наоборот, восторженно кинулись к нему,— нет, обстановка на съезде была не торжественная, не парадная, обращение с единомышленниками — ровное и равное, ничьи заслуги специально не выделялись и не подчеркивались. Но все, кто вспоминает о Ленине,— все без исключения, все до единого, — говорят о том, что при вполне обыденной, неброской — разве что невероятной мощи «сократовский» лоб — внешности, при скромнейшей манере держаться, при полнейшем отсутствии «вождизма», актерства, рисовки — при всем этом Владимир Ильич производил впечатление необыкновенное. «Светился весь каким-то особенным светом» — так о Ленине, кажется, не говорил никто другой. Это сказал Андрей Сергеевич Бубнов.

Участия в том разговоре не принимал, стоял поодаль, старался уловить каждое слово. И как завидовал он Мише Фрунзе и Володе — Климу Ворошилову: прямо перед ними, слегка покачиваясь с носков на пятки, изредка прикасаясь дружески к плечу того или другого, стоял — Ленин. Андрей ловил каждое слово и безмерно удивлялся: Владимир Ильич допытывался подробностей, а главное он знал — и о всех этапах стачки, и о гибели Отца и Оли Генкиной, и о деятельности Совета, и о том, как Фрунзе с боевой дружиной дрался на пресненских баррикадах, о об «университете на Талке»...

Как хотелось, наверное, Бубнову подойти, сказать, что и он, вот он самый, тоже участвовал во всех событиях и фактически «рабочим университетом» руководил... Андрей

даже обиделся, что Фрунзе не подозвал, не представил: вот, дескать, наш «ректор университета»,— но Михаил был весь поглощен разговором с Лениным, и его нетрудно было понять, а значит, и простить. И Андрей продолжал вслушиваться. Последние из сказанных Владимиром Ильичем слов он запомнил, кажется, наизусть:

«Без научных знаний, и особенно без знания революционной теории, нельзя уверенно двигаться вперед. Если мы сумеем вооружить основную массу рабочих пониманием задач революции, мы победим наверняка, в кратчайшие исторические сроки и притом с наименьшими потерями».

Ленин сказал это достаточно громко, и многие повернулись к нему, вслушиваясь. Председательствовавший на заседании Федор Дан, высунувшись из двери зала, неистово тряс колокольчиком...

...Но зато на V съезде, в Лондоне, год спустя, в гулкой готической церкви Братства, когда всклокоченный, кипящий, блистательно владеющий ораторскими приемами Юлий Мартов обрушился на предлагаемый большевиками лозунг о *подготовке* вооруженного восстания, когда он обозвал сторонников Ленина заговорщиками, когда Бубнов, следом за Лядовым и Покровским, произнес даже не речь, а скорее реплику, весьма язвительную, в том смысле, что Мартов говорит «с высоты» ЦК и ЦО, органов, как известно, в ту пору меньшевистских, а «малые организации сами работают для подготовки и делают это,— он выделил иронически,— плохо», и в Иваново-Вознесенске народился «очень вредный тип боевой организации», и «пусть опытные товарищи нам укажут лучшие способы и средства», а то мы «мелкие» и неопытные,— когда Андрей Сергеевич на едином выдохе произнес все это и выслушал не менее ядовитые аплодисменты мень-

шевиков, к нему, после скорого закрытия заседания, подошел Владимир Ильич.

И молча пожал руку. Ладонь у него была сильная, горячая, трепетная.

Тюрьма затихла, только солдатские сапоги, да позвякиванье ключей, да едва слышный лязг открываемых волчков. Сон к нему не шел, хотя обыкновенно в любой обстановке он засыпал моментально, что вышучивали товарищи, говорили, что Химик может не то что на полуфразе, а на полуслове вдруг захрапеть, лишь бы принял горизонтальное положение.

Что редко случалось с ним, захотелось курить. До смерти захотелось. Постучал в дверь — надзиратель сегодня, кажется, беззлобный. Волчок отверзся, глянул и впрямь добродушный глаз. «Приспичило, что ли, барин?» — спросил тенорок. «Да нет,— отвечал «барин»,— дал бы ты мне табачку на завертку».— «Это можно»,— согласился надзиратель, но, памятуя строжайшую инструкцию, дверь не отворил, а просунул через волчок обмусоленную самокрутку. Подходящий, кажется, парень, через него надо попытаться — без поспешности — установить связь с товарищами. С Валерианом Куйбышевым прежде всего...

Лампочка светила тускло, воняло тюрьмой.

4

Из статьи Г. М. Кржижановского.

«13 арестов, почти 5 лет тюремного заключения, тревожная напряженность нелегального положения, гнетущая обстановка ссылки, издевательства царских судов и охранки, трогательные жертвы и страдальческие образы друзей, длинный список, почти мартиролог, первых рост-

ков партийного организма, ставка самого ценного, что есть у человека,— самой жизни... только т. Бубнов мог бы дать нам сводку этих своих переживаний коммуниста-борца...»

Из писем Н. К. Крупской.

«Бубнов... хороший товарищ, очень простой, очень много работает, готовится к каждому выступлению, вообще работяга, заботливый... Чувствуется организатор».

Из жандармских документов.

«Бубнов... является особо серьезным и видным представителем... организации Российской СДРП...»

«...Агентурные данные о Бубнове сами по себе уже совершенно достаточно изобличают его в политической неблагонадежности и определяют как человека, опасного для государственного и общественного спокойствия».

«На допросах Бубнов виновным себя в принадлежности к какой-либо противоправительственной партии не признал и не дал каких-либо выясняющих по существу дела объяснений. Принимая во внимание все вышеизложенное и находя дальнейшее пребывание Бубнова вредным не только в столицах и столичных губерниях, в г. Самаре и Самарской губернии, где имеются два казенных завода, но и в других местах, где имеются значительные предприятия, изготовляющие предметы на оборону, полагал бы мещанина А. С. Бубнова выслать в административном порядке в Восточную Сибирь под гласный надзор полиции, продлив таковой до 5 лет».

Срок ссылки Бубнову, Куйбышеву, учителю Андроникову, не так давно бежавшему из Тобольской губернии, и Прасковье Стяжкиной, жене Валериана Куйбышева,

в то время беременной, определен был в пять лет, притом отправляли не в Иркутск, обычное место для «политиков», где условия были еще сравнительно терпимые, а в Туруханский край, на север Енисейской губернии.

Из справочников.

Площадь Туруханского края — 1 миллион 600 тысяч квадратных верст, втрое больше Франции. Население (по переписи 1897 года) — 11 тысяч; во Франции — 38 миллионов. «По климатическим условиям никакая обработка почвы невозможна. Почва представляет собой промерзшую тундру или лесные болота». «В ужасном климате, разбросанные по редким поселкам на громадном расстоянии, почти не имея средств существования, кроме охоты и рыбной ловли, ссыльные находились здесь в исключительно тяжелых условиях, и многие из них погибли».

Здесь отбывали наказание декабристы Ф. Шаховской, Н. Бобрищев-Пушкин, С. Кравцов, И. Абрамов... Сюда отправили большевиков — депутатов IV Государственной думы А. Е. Бадаева, М. К. Муранова, Г. И. Петровского, Н. Р. Шагова и Федора Самойлова, иваново-вознесенца, товарища давнего, с которым Андрей дружил... Здесь были — не по своей воле — Свердлов и Сталин... Здесь покончил самоубийством Иосиф Дубровинский, рекомендовавший Бубнова в российский Большевистский центр. Здесь, о чем Андрей Сергеевич не знал, смертельно заболел Сурен Спандарян, бывший студент Московского университета, участник той памятной демонстрации...

Зимой — морозы, летом — жара и мошка; и нерожалая, скудная земля, и пыльные бури, и гнилые, нудные дожди, и бездорожье, и крохотные поселения, где каждый человек на виду. Вот куда их гнали.

В кандалах.

На предыдущих, очень немногих, страницах рассказано о десяти годах жизни Бубнова. Этот период достоин целой книги. Однако я ограничил рамки непосредственного повествования двумя отрезками биографии — двумя революциями. Все, что было «между» и «после», пришлось спрессовывать, сжимать. В такой уплотненный слой рукописи попадает и история женитьбы Бубнова.

Из ответа на запрос автора.

«Сотрудники Чистопольского краеведческого музея разыскали церковные книги. В одной из них значится, что бракосочетание Андрея Сергеева Бубнова и Марии Константиновой Мясниковой свершено 1908 года сентября 5 дня в тюремной церкви г. Чистополя (бывш. Казанской губернии)».

Из личного разговора.

«Слава богу, наконец-то... А я уж думал, что...»

Да, конечно, «роман без любви — это не роман» — так выразился однажды кто-то из критиков. Но для меня важнее было показать своего героя в первую очередь как революционера, и мне казалось это существенным тем более, что об Андрее Сергеевиче написано мало. Конечно, можно было развить и «любовную линию», только в данном случае я не вижу в том надобности. Хотя, понятно, Бубнов не был ни аскетом, ни отрешенным от всего человеческого фанатиком.

Вскоре после Октябрьской революции были пущены такие словечки: «кожаная куртка» и «ускомчел» («усовершенствованный коммунистический человек»). Оба эти обозначения, весьма насмешливые, относились к «комиссарам», якобы не знавшим в жизни ничего решительно, кроме *идеи*. Все это ерунда, конечно. И любили «комиссары», и страдали, и ревновали, и... Впрочем, смешно доказывать аксиомы.

В начале августа 1906 года из Казанской губернии приехала в Шую член РСДРП с двухлетним стажем Маруся Мясникова. «Перетянула» ее сюда большевичка Вера Любимова, соученица по фельдшерским курсам. Мясникову быстро «засекла» охранка, Маруся перебралась в Иваново-Вознесенск, где жила ее землячка, Надежда Стопани, сестра видного революционера Александра Стопани. Деревянный ее домишко был и конспиративной, и явочной квартирой. В холодной, сырой комнатенке постоянно капала сверху вода, зимой стены промерзали. Одну половину отделили перегородкой, там — стол и железная койка. В другой половине чуть не каждую ночь кто-нибудь оставался, нередко приходилось коротать здесь время и Бубнову, в то время нелегалу,— жил, скрываясь от полиции, в Кохме, за восемь верст, но иногда задерживался тут допоздна,— и Стопани его не отпускала, поила чаем, вели долгие разговоры. Маруся Мясникова среди них, вероятно, чувствовала себя совсем девочкой. Да и на вид она казалась юной — высокая, в длинной, «курсистской» юбке под кожаный ремень, с короткой стрижкой (опять-таки мода курсисток; позже она отпустит косы); ее широко расставленные серовато-голубые глаза смотрели на всех внимательно, и, пожалуй, всех внимательней — на Химика, и это Андрей, как и всякий мужчина, разумеется, замечал.

Виделись они редко, почти все время Андрей проводил в Кохме, случалось и так, что Марусю дома не заставал: она и работала в фабричной лечебнице, и вела марксистский кружок, и подолгу просиживала в читальне. Вот здесь-то подчас и находил Марусю Бубнов, долго бродили по улочкам...

А сочетались законным браком в чистопольской тюремной церкви, в Казанской губернии. Загадочно: почему же так? Мне думается, объяснить это не столь трудно.

Чистополь? Андрей Сергеевич к тому времени находился в Москве. Мария же Константиновна, чистопольская уроженка, прихворнула и отпросилась к родителям «на поправку» в свой купеческий, знаменитый ярмаркой и торговой пристанью прикамский городок. Здесь ее и навестил Андрей, здесь и пошли к венцу.

Но почему в тюремной церкви? Об этом догадаться труднее, однако я попробую. Мне строить предположения все-таки проще, нежели другим: я коренной чистополец и знаю историю и топографию города. А сам факт венчания в тюремной церкви не столь уж маловажен, ибо кого-то может ввести в заблуждение: как же так, ведь Андрей Сергеевич тюремного заключения здесь не отбывал.

В Чистополе тогда имелось шесть православных церквей, и лишь в кладбищенской, там, где полагалось лишь отпевать покойников, не «обкручивали», в остальных же — милости просим (тюремная церковь находилась не в самом остроге, но рядом с ним). Главный городской собор стоял (и по сей день, уже в качестве музея, стоит) над спуском к рыжеватой Каме. Второй храм, не менее красивый, высился на центральной площади, напротив городской думы. Тут и полагалось законным браком сочетаться детям именитых, почтенных горожан. К их числу относился и отец Марии Константиновны. Однако нетрудно себе представить, как именно он был разгневан и тем, что дочка «ударилась в политику», и тем, что жениха выбрала «каторжанина». Тут уж не до пышной, всем напоказ, принародной свадьбы...

Наверное, причина и в том, что «молодые» тоже страх как не любили всякую мишуру и шумиху. «Законное бракосочетание», вся эта официальная церемония нужны им были, как и всем атеистам-революционерам, только для одной чисто практической необходимости: в случае ареста — получать свидания, а если сошлют — поехать вместе.

И наконец, Бубнов, в ту пору «нелегал», никак не мог желать лишней огласки, не хотел, чтоб на его след напали жандармы.

Ну и, может, решили по-молодому и созорничать: тюрьма, дескать, нас повенчала...

А любовь... Наверное, была она, ведь не силком просватали, выгоды от брака ни тот ни другой по своим характерам искать не могли, да и какую выгоду ждать от супруга-подпольщика, без крыши над головой, постоянно в опасности, вечно под угрозой ареста. И семейная жизнь профессиональных революционеров не могла быть спокойной, благоустроенной, тихой, неразлучной, они оба это понимали, конечно. Значит, любовь была, не что иное...

И если в книге этой «любовная линия» отсутствует, то лишь потому, что опять же, рассказывая о герое не придуманном, а реально существовавшем, я не считаю себя вправе здесь более, чем в остальном, придумывать, присочинять, заниматься домыслами и предположениями в самом интимном, в том, чего вообще не следует выносить напоказ.

Любовь, вероятно, была, но после судьба сложилась так, что Андрей Сергеевич и Мария Константиновна расстались. Наверняка им обоим было трудно и больно. Они сумели сохранить взаимные дружбу и уважение. Мария Константиновна и фамилию Бубнова носила, и встречалась с Андреем Сергеевичем и по делам, и по-дружески, и вот это, мне думается, важно...

Итак, в Туруханский край. В кандалах.
В пути освободила их Февральская революция.

Идет 1917 год.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Глава первая

1

Про Сухановых присяжные остряки сначала выражались так: «ни бе ни ме». Потом кто-то, кажется Александра Михайловна Коллонтай, пустила в ход другое: «и бе и ме». И это было точнее: муж, Николай Николаевич Суханов-Гиммер, юношей ходил в толстовцах, потом ударился в эсеры, после заделался активным меньшевиком, ему частенько и крепко доставалось от Ленина. А жена, Галина Константиновна Флаксерман, была убежденной большевичкой, пользовалась в партии неограниченным доверием, тот факт, что была замужем за Сухановым, никого не смущал: Николай Николаевич был борец честный, взглядов своих не скрывал, но и в охранное отделение тоже не помчался бы ни при какой погоде. Но и у властей всяких, и царских, и теперешних, «временных», Суханов числился вполне благонадежным, и его «профессорская» квартира, по-старопетербургски уютная и удобная во всех отношениях, имела черный ход и, расположенная на Аптекарском острове, в местах окраинных, сделалась для Центрального Комитета большевиков пристанищем и надежным, и приятным: поили вкусным чаем с печеньями и вареньями, предлагали, пока собирались участники заседания, просмотреть книги, альбомы, притом всегда интересные, печатной дряни не держали.

Рассыльная из Петроградского комитета — ее Бубнов почему-то заприметил еще на VI съезде, она там и пол подметала, и бумаги разносила, и бутерброды готовила,— тоненькая барышня, вся восторг и благоговение, дочка Сергея Ивановича Гусева-Драбкина, Лиза, пояснили Бубнову, заметив, как он приглядывается к юному созданию (приглядывался потому, что думал о сыне, о Германе, который жил с Марией Константиновной в Москве),— вот эта самая Лиза и пришла к нему. «Товарищ Андрей, вас просил товарищ Андрей...» Совсем запуталась, бедняга, в конспирации. Но в общем понятно: у Якова Свердлова партийная кличка Андрей... А просил товарищ Андрей, чтобы Бубнов прибыл на Карповку к Сухановым по важнейшему делу и без опоздания сегодня, десятого октября, к пяти пополудни... Все это Лиза выпалила единым духом, посматривала на Бубнова восторженными глазами: еще бы, какие дела ей доверяют, разговаривает с членом ЦК! Интересно, а сколько же годков ей? Спросить? Еще обидится,— женщина, как ни говори. Но спросил, оказалось — шестнадцать скоро. М-да, солидный возраст. Но, прибавила Лиза, она член партии. Вот оно как, партийный товарищ, значит. Бубнов протянул руку.

На Карповку он явился в пору, не слишком рано и без опоздания,— педантичность Бубнова стала притчей во языцех. Не доходя до квартиры Сухановых, привычно сделал круг переулками, проходными дворами — не привести бы за собой «хвоста». «У меня это в кровь въелось,— говаривал он,— куда бы ни заходил, сперва обязательно покружу — как собака, прежде чем улечься...»

Отворила горничная, на вешалке — несколько пальто. Под вешалкой, у хрупкого столика, за стаканом знаменитого сухановского чая расположился давний знакомый — Рахья, у него Бубнов спросил, все ли собрались. Эйно Абрамович помотал головой отрицательно, из него слова

не вытянешь, сколько анекдотов про молчаливость финнов сложено, а этот — из финнов финн.

По ковру методично и почти неслышно прохаживался Сталин, молча пожал руку, затем поздоровался с Троцким, Урицким, Свердловым, Дзержинским, Ломовым, раскланялся с Александрой Михайловной Коллонтай, издали кивнул Сокольников. Оставался еще один, совершенно Бубнову неизвестный.

От всех присутствующих он отличался прежде всего сугубо «пролетарским» видом: пиджачок словно бы с чужого плеча, темная косоворотка с белыми пуговками, перехваченная тонким ремешком, стрижка тоже «фабричная»: сзади, кажется, под кружок, а на лбу — челочка. Непонятно. Собрался ЦК, откуда и почему здесь этот товарищ? Бубнов направился к нему, чтобы познакомиться, но в эту минуту вошла неразлучная в последнее время пара — Зиновьев и Каменев и, к удивлению Андрея Сергеевича, первым делом — к незнакомцу. Зиновьев еще издали протягивал ладонь, и точно таким жестом, как двойник, протягивал узкую руку Каменев.

Должно быть, выглядел Бубнов растерявшимся, и Свердлов гулко засмеялся, закашлялся, приложив к губам платок. Бубнов, как и остальные, знал: Якова добивает жесточайшая чахотка, профессиональная болезнь революционеров. Свердлов прокашлялся еще и сказал Андрею Сергеевичу:

— Знакомься, знакомься, Андрей, с товарищем Константином Петровичем Ивановым.

— Ай-ай-ай, батенька, весьма и весьма невежливо и непохвально с вашей стороны — не подать руки представителю революционного пролетариата,— очень живо и очень весело сказал Константин Петрович. Ни голос, ни смех его нельзя было спутать ни с чьими иными.— Возгордились, товарищ Химик, непохвально...

— Здравствуйте, Владимир Ильич,— радостно сказал

Бубнов.— С приездом вас,— добавил он, не найдясь, что бы сказать еще.

— Итак, все, кажется, в сборе? — спросил Ленин.— Начнем, товарищи?

2

«Отсутствовать» в Петрограде, «скрываться в Разливе» (место, где он скрывался, знали очень и очень немногие) вынужден был Владимир Ильич ровно три месяца.

Слушая доклад Владимира Ильича, продолжавшийся два часа, Бубнов — а он умел и внимательно слушать, и в то же время зрительно и отвлеченно вспоминать — восстанавливал в памяти недавние события — и размышлять при этом он умел тоже.

Июль — конец двоевластия: под председательством Керенского сформировали второе коалиционное правительство, начали переходить к открытой военной диктатуре, хотя еще поигрывали в демократию, созвали Государственное совещание, в Москве созвали, питерских рабочих побоялись. Но и москвичи, руководимые большевиками, оказались неплохи: в день открытия — всеобщая забастовка, участвовало четыреста тысяч человек. Потом — мятеж Лавра Корнилова, образование «Директории», «Демократическое совещание», третье коалиционное правительство... Третье и, судя по всему, последнее... Да, еще был Предпарламент... Мечется Александр Федорович Керенский, мечется, стремится удержать власть, и от обещания всяческих свобод отказаться в открытую боязно, и народу власть передать боязно, да что там боязно — неохота, вот в чем суть.

Встречаются люди, чья внешность как бы загодя создана для того, чтобы рисовать с нее шаржи, притом не вполне дружеские, а проще — карикатуры. Даже так: есть люди, которые выглядят карикатурами на самого

себя. Таков Керенский, думал Бубнов. С незадачливым правителем России доводилось Андрею Сергеевичу встречаться на митингах.

Все в Керенском было ненатурально, фальшиво и уродливо, и это, прикидывал Бубнов, проверяя себя, не от моей предвзятости,— в конце концов, есть идейные противники, к которым не испытываешь отвращения. Ставший пресловуто знаменитым ежик пепельных волос, казавшихся грязноватыми. И тоже пепельно-серые, пористые, отвислые, как у мопса, щеки. И небрежно воткнутый между ними неоформленный какой-то нос. И глаза, лишенные цвета и выражения. И бескостные — к ним Бубнов не притрагивался, но издали видно — руки, одна всенепременно засунута за борт френча, — а как же, Наполеон! Кривые ноги в узких голенищах сапог,— хоть бы навыпуск брюки носил, не подчеркивал уродства. И эти приемчики провинциального актера,— ах, душка Керенский! — горделивые повороты в три четверти, анфас, этакое монументальное «замирание». И голос хриплый — думается, чтобы подчеркнуть, как он, бедняжка, умаялся, проповедуя народу... Что-то бабье во всем обличье, повяжи платочек — вполне сойдет за старую кликушу... Не зря его именуют с издевкою Александрой Федоровной, угораздило же на такое совпадение с именем-отчеством императрицы...

Какие только ничтожества не правили после Екатерины Второй государством нашим, думал Бубнов. И после Романовых на сцену опять полезли всякие, вроде этого самого Керенского...

И, думая обо всем этом, Бубнов любовался говорившим сейчас Лениным. Вот уж, снова отмечал Бубнов, кто лишен всякого позерства, вот уж кому рисовка несвойственна, нет ни малейшего стремления (ни малейшего!) «показать себя». А есть напряженная работа мысли, есть воля, есть целеустремленность — вот что

главное. Конечно, доклад свой Ленин продумал заранее. И в то же время, как бы ни продумано было, живая речь словно рождается на твоих глазах, поражает и логикой, и страстностью...

Что вся власть должна перейти к Советам — это ясно, говорил Ленин. И переход власти к Советам, говорил он сейчас, означает на практике вооруженное восстание. Отречься от него значило бы отречься от главного лозунга большевизма и от всего пролетарского интернационализма вообще...

С удивительной настойчивостью, думал Бубнов, подчеркивал Владимир Ильич положения Маркса о правилах восстания как искусства, как особого вида политической борьбы: не играть с восстанием, а идти до конца, собрать большой перевес сил в решающем месте, в решающий момент, действовать с величайшей решительностью, наступательно, ибо оборона есть смерть вооруженного восстания, стараться захватить неприятеля врасплох,— смелость, смелость и еще раз смелость.

А у нас, говорил Ленин, с начала сентября намечается какое-то равнодушие к вопросу о восстании, время значительно упущено. Тем не менее вопрос стоит очень остро и решительный момент близок. Политически дело совершенно созрело для перехода власти.

Он выдвигал задачи совершенно конкретные, технические, как он выразился: о комбинировании главных сил, о выделении самых решительных элементов — «ударников», рабочей молодежи, революционных матросов — для захвата и удержания важнейших пунктов и объектов, он подчеркивал: надо сочетать искусство и тройную — да, тройную! — смелость, он выдвигал лозунг — погибнуть всем, но не пропустить неприятеля. И снова, снова повторял: промедление — смерти подобно!

Два часа Ленин говорил, смахивал с бритого подбородка пот, сбросил назойливый парик, расстегнул пиджа-

чок, потом его повесил на спинку стула, расхаживал по комнате — искал проймы жилета, чтобы заложить палец, а жилета и не было, косоворотка,— и Бубнов, следя за каждым жестом и вслушиваясь в каждое слово Ленина, думал о том, что, видимо, наступает решающий, воистину решающий момент, неспроста же Владимир Ильич покинул подполье, неспроста...

Поводом для восстания Ленин считал областной съезд Советов Северной области и явную подготовку второй корниловщины, по сообщению из Минска. Он прочитал заранее подготовленную, продуманную до мелочей, написанную без малейших помарок резолюцию,— Андрей Сергеевич видел в его руках этот тетрадный листок. Резолюция содержала в себе оценку международного положения (нарастание революционной ситуации в Европе, угроза мира империалистов с целью удушения русской революции), военного положения (несомненное решение буржуазии, Керенского и К° сдать Питер немцам, подготовление второй корниловщины), внутриполитической ситуации (приобретение нами большинства в Советах, крестьянские волнения)... И в качестве вывода:

«Признавая таким образом, что вооруженное восстание неизбежно и вполне назрело, ЦК предлагает всем организациям партии руководиться этим и с этой точки зрения обсуждать и разрешать все практические вопросы...»

— Владимир Ильич, — сказал Зиновьев, — у нас доставало времени поговорить и поспорить, я высказывал свою точку зрения, вам со мною вольно было не согласиться. Я апеллирую к Центральному Комитету. Вы говорите, что за нас уже большинство в России и большинство международного пролетариата... Вы лишь выдаете желаемое за действительное, Владимир Ильич, и это

огорчительно, потому что, если ваша позиция станет известна не только нам, но и широким слоям партии, найдутся горячие головы, кинутся за вами — на собственную же погибель, на погибель революционного дела...

Бубнов взглянул на Владимира Ильича. Тот встал, покачался с носков на пятки, хотел было потеребить несуществующую бородку, провел ладонью ото лба к затылку.

— Так-с, так-с,— молвил Ленин скороговоркой,— архилюбопытно, товарищ Зиновьев. Что ж, как говаривали неглупые люди, древние римляне, audiatur et altera pars — следует выслушивать и противную сторону. Найдутся ли еще представители таковой?

— Найдутся,— откликнулся Каменев, он сидел рядом с Зиновьевым. — Григорий абсолютно прав, восстание преждевременно, его ждет заведомое поражение, Владимир Ильич, и не решительное, как вы определяете, наступление, но, коли уж пользоваться военной терминологией, оборона до созыва учредительного собрания, и там...

— Оборона? — живо подхватил Ленин. — Слышали, слышали мы такие речи, дообороняемся до того, что Керенский и корниловцы сдадут Питер немцам. Вы говорите об упадке революции? Кадетские зады повторяете, господа! (Ленин не удержался и в запале назвал обоих оппонентов господами, видимо думая при этом и о кадетах.) Это не упадок революции, а упадок веры в революции. Массы требуют от нас дела, а не слов, победы в борьбе, а не разговоров, мы до того можем доиграться, что нам заявят: и большевики не лучше остальных, мы им выразили доверие, а они действовать не сумели! Потерять с таким трудом завоеванное доверие, не воспользоваться им для блага масс — что может быть страшнее? Лучше уж тогда прямо выйти на митинги, признаться в своей беспомощности...

— Совершенно верно,— подтвердил Сталин, он стоял в дверях и пускал трубочный дым в прихожую,— при Ленине курить никто себе не позволял, знали его нетерпимость к этой, «простите, батенька, наивреднейшей и наибессмысленнейшей привычке». — Совершенно верно, — повторил Сталин. Свердлов — он вел заседание — спросил недоуменно: что, собственно, верно? Ты о чем, Коба?

Сталин пыхнул трубкой, он любил озадачивать собеседников: пронзесет вводную, неожиданную фразу и замолкнет, пускай подумают-погадают, к чему он клонит.

— Я имею в виду, — сказал Сталин, по-кавказски растягивая слова,— что совершенно правильно говорит товарищ Ленин. Революции сейчас более чем когда бы то ни было нужны джигиты, а не...— Он опять сделал паузу, выразительно повел взглядом на Зиновьева и Каменева.

Прения вели безо всяких формальностей. Урицкий не преминул пошутить: вот никто не спрашивает разрешения и не ждет, а берет слово, когда считает нужным, так и власть надо брать. Посмеялись. Затем выступал Бубнов.

Суть своей речи он повторил и пятью днями позже, на закрытом заседании Петербургского комитета. Общая оценка настроения, которую дал товарищ Ленин, в данный момент такова: приближаемся к развязке, кризис назрел, события начинают развертываться, мы втягиваемся в схватку с силами, идущими против нас, мы стоим накануне выступления...

Такими словами он говорил на заседании ПК, а здесь, в узком кругу, высказывался много резче, Зиновьеву с Каменевым и от него досталось. Однако оба стояли на своем.

Для руководства восстанием решили выделить Политическое бюро, в его состав кроме Ленина, Бубнова, Сталина, Сокольникова, Троцкого предложили... Каменева с

Зиновьевым. Как говорится, volentem ducunt fata, nolentem trahunt — желающего судьба ведет, не желающего — тащит.

Высказывались все, и не по разу, продолжалось заседание около десяти часов, чуть не до утра. Хозяйка дома, Галина Константиновна, едва успевала разливать в объемистые чашки крепчайший чай, хорошо, что было два самовара: один начинал остывать — вносили другой.

Расходились в четвертом часу. Галина Константиновна уговаривала всех ночевать, комфорта особого не обещала, но ведь и в худших условиях доводилось... Особенно убеждала Владимира Ильича, он отказался наотрез:

— Что вы, что вы, и так сколько беспокойства принесли, да и Надежда Константиновна встревожится, и Маргарита Васильевна — речь шла о Фофановой; в ее квартире, на Сердобольской, остановился Ленин.— А вот Свердлова и Дзержинского,— продолжал он,— если можно, приютите, им добираться дальше всех...

Понятно, что имел в виду Ленин: обоих названных мучила чахотка. Феликс Эдмундович заупрямился было, тогда Ильич спросил:

— Прикажете решение ЦК выносить по этому поводу?

Остались. Осталась и Коллонтай — не отпускать же ее в такую глухую пору.

— А вас я, Владимир Ильич, к Маргарите Васильевне, хоть убейте, а тоже не пущу,— с твердым финским акцентом сказал Рахья.— И решения ЦК не потребуется, оно уже есть, мне поручено вас оберегать. Заночуете у меня, тут пять — семь минут ходьбы. А Надежду Константиновну я предупредил.

Разговаривали уже на улице, сыпал мелкий, такой уж питерский, дождик.

— А, да-да,— рассеянно проговорил Ленин в ответ Рахье; он смотрел вслед удалявшимся Каменеву и Зи-

новьеву и, похоже, слов Эйно Абрамовича толком и не расслышал.— Знаете,— сказал он, обращаясь к Бубнову и Рахье, —это весьма и весьма огорчительно — терять друзей. Плеханов, Мартов, теперь вот они... Но я надеюсь, ни Григорий, ни Лев еще не потеряны для революции. Я думаю, они еще опамятуются.

Он сейчас не был ни вождем, ни решительным, готовым к сражению бойцом, ни тем собранным, словно бы никогда не поддающимся унынию и растерянности Лениным, он был сейчас просто Ульянов, просто человек, искренне огорченный непониманием двоих единомышленников, их ничем не объяснимым протестом, когда и спорить-то, казалось, было не о чем, столь ясна обстановка. Он смотрел им вслед, смотрел недолго — фигуры под одним зонтиком скрылись в дождливой мгле.

— Пойдемте, Владимир Ильич,— заторопил Рахья.— Промокнете окончательно, и время позднее.

— Уже раннее,— сказал Ленин, вздохнув, посмотрел опять в сторону, где скрылись те двое.— Может, еще одумаются,— повторил он.

Да, конечно, ему и в голову не приходило, до какого предательства, до какого неслыханного штрейкбрехерства докатятся Зиновьев и Каменев через неделю, выболтав в «Новой жизни» все планы партии, которые должны были храниться в строжайшей тайне.

— Позвольте, я вас провожу немного, Владимир Ильич,— попросил Бубнов, ему хотелось еще несколько минут побыть рядом, хотя бы просто помолчать рядом с ним.

— Нет, нет, перкеле,— сердито сказал Рахья, сам перевел: — Черт побери, неужели ты не понимаешь, товарищ Бубнов, что Владимир Ильич устал? И не следует идти кучисто,— он, видно, хотел сказать «кучно», да забыл правильное слово,— ты что думаешь, если Антекарский, так здесь шпиков нет? Пойдемте же, Владимир Ильич...

И они пошли, рабочие по облику люди, оба невысокорослые, оба одинаково промокавшие под нудным октябрьским дождем, оба усталые,— и Бубнов увидел: едва они тронулись, как от стены дома, где жили Сухановы, отделился кто-то, похоже, в шинели, последовал за ними. Нащупав в кармане браунинг, Андрей Сергеевич кинулся, догнал, схватил за шиворот, сказал шепотом:

— Пристрелю, сволочь!

— Не надо, товарищ Бубнов,— шепотом же попросил юноша — по голосу было понятно, что юноша.— Я брат Гали Флаксерман, Юрий. Быть может, вы меня видели на Шестом съезде... А сегодня мне поручено было охранять ваше заседание и сопровождать Владимира Ильича после. Не задерживайте, прошу. Я должен проводить их до самого дома.

Прикрыв ладонью спичку, Бубнов чиркнул, осветил лицо — точная копия Галины Константиновны, других доказательств не требовалось. И кажется, в самом деле видел его на съезде.

— Извините,— сказал Бубнов.

Когда Военно-революционный комитет 25 октября назначал Юрия Флаксермана заместителем комиссара гвардии Преображенского полка, того самого, что нес охрану Зимнего и заседавших в нем «временных», Бубнов рассмеялся.

— А я-то его за шпика принял, пристрелить хотел...

Дождь пронизывал, просекал пальто. Бубнов подумал, что надо бы в конце концов обзавестись кожанкой — и удобно, и стало теперь как бы форменной одеждой революционера-боевика. Было холодно, и сапоги пропускали влагу. Андрей Сергеевич, однако, не спешил домой, если можно было назвать домом временное пристанище на Звенигородской. Он еще пройдется немного, а потом, вернее

всего на углу Каменноостровского и Большого проспектов, возьмет извозчика — там они всегда, в любую пору ожидают седоков. Спать ему не хотелось вовсе — разволновался. Шутка ли: вошел в состав Политического бюро по руководству восстанием! Из всех партийных поручений и обязанностей, какие только доводилось ему выполнять за четырнадцать лет, это — самое ответственное. Но, в конце концов, не в этом дело, не в нем самом. Главное — восстание близко, Ленин безусловно прав. Близка революция.

Он поспал около двух часов, наскоро позавтракал и отправился на съезд Советов Северной области; большевистская фракция должна была обсуждать специально к съезду обращенное письмо Ленина. «Промедление смерти подобно. Лозунг «Вся власть Советам» есть лозунг восстания»,— говорилось в нем. С письмом члены ЦК ознакомились во время ночного заседания в Карповке.

Придя на съезд, Бубнов узнал сногсшибательную, как выражаются, новость: Каменев и Зиновьев успели за эти короткие часы состряпать и собственное письмо съезду, где выступили против только что принятого решения ЦК...

Глава вторая

1

10 октября, вторник. Рязань. На собрании кадетской партии: «Мы должны установить конституционную монархию. Нам не следует отвергать законного наследника престола, Михаила Александровича».

Петроград. Делегаты III общегородской конференции РСДРП (б) знакомятся с ленинскими «Тезисами», в кото-

рых, в частности, говорится: «Задача взятия власти Советами есть задача успешного восстания».

11 октября, среда. Петроград. Большевистская фракция съезда Советов Северной области, обсудив специально адресованное ей письмо Ленина, вырабатывает проект резолюции, на следующий день принятой съездом: «На стороне Советов не только право, но и сила. Время слов прошло».

12 октября, четверг. Петроград. Исполком Петроградского Совета принял Положение о Военно-революционном комитете; главная его задача — мобилизация сил на вооруженное восстание.

После сражения с германской эскадрой в Рижском заливе Временное правительство готовит эвакуацию столицы. Газета Павла Рябушинского, того самого, что в августе призывал задушить революцию «костлявой рукой голода»,— газета «Утро России» публикует статью лидера правых кадетов Родзянко: «Бог с ним, с Петроградом! Опасаются, что в Питере погибнут центральные учреждения (т. е. Советы и т. д.). На это я возражаю, что очень рад, если все эти учреждения погибнут, потому что, кроме зла, России они ничего не принесли».

Москва. Общегородская конференция фабрично-заводских комитетов приняла решение о Красной гвардии, о борьбе за власть Советов.

13 октября, пятница. Петроград. На заседании Предпарламента министр иностранных дел Терещенко клянется в верности «союзникам»: война закончится тогда, когда они согласятся...

Распространены листовки Петроградского избирательного комитета меньшевиков-оборонцев: «Родина в опасности!.. И в эти грозные, решительные дни распространяются слухи, что где-то подготовляется выступление, что кто-то призывает рабочих и солдат сорвать революционный мир и порядок... Большевики и сбитые ими с толку

невежественные рабочие и солдаты бессмысленно кричат: «Долой правительство! Вся власть Советам!»»

14 октября, суббота. Петроград. На явочной квартире Ленин встречается с руководителями партии и Военной организации при ЦК РКП(б). Обсуждаются вопросы подготовки вооруженного восстания, в том числе и вопрос о Военно-революционном комитете (ВРК).

Москва. Областное бюро РСДРП(б) целиком поддержало ленинскую резолюцию, принятую на заседании ЦК 10 октября.

Иваново-Вознесенск. Обновленный руководящий состав партийного комитета заявил о готовности поддержать вооруженное выступление в центре.

15 октября, воскресенье. На заседании Петербургского комитета РСДРП(б) по докладу члена ЦК Бубнова обсуждаются практические задачи восстания. Только на Обуховском заводе в Красную гвардию записалось две тысячи человек, имеется 500 винтовок, пулемет, бронеавтомобиль.

Крупнейший нефтепромышленник, «русский Рокфеллер», кадет Лианозов заявил: «Революция — это болезнь. Раньше или позже иностранным державам придется вмешаться в наши дела... Все нации должны понять, насколько для их собственных стран опасны большевизм и такие заразительные идеи, как «пролетарская диктатура» и «мировая социальная революция»... Впрочем, возможно, такое вмешательство не будет необходимым. Транспорт развалился, фабрики закрываются, и немцы наступают. Может быть, голод и поражение пробудят в русском народе здравый смысл».

2

Голова болела непрестанно, немилосердно, болела даже во сне. Хорошо еще, что он не потерял способности мгновенно засыпать. Но пробуждался он с тою же неутихаю-

щей головной болью, с постоянным насморком — питерский климат сказывался. И с утра не хотелось есть.

Последнее обстоятельство — не по времени, странное. Петербург, да и вся европейская часть России — в Сибири было получше — голодная. В обеих столицах выдавали сейчас по две осьмушки дурного хлеба на душу, спозаранку за этими жалкими осьмушками выстраивались «хвосты»,— слово это в России недавно вошло в обиход. «Давали» — тоже новое слово — «давали» еще воблу, селедку, немного пшенки. Папенька жаловался в письме: на базаре хлеб и мясо вздорожали с начала года втрое. Андрей Сергеевич улыбнулся, прочитав,— это ли страх; а вот когда нет ни за какую цену... Может начаться настоящий голод, и помощи ждать неоткуда, не от кого...

Он возвращался с заседания Петербургского комитета,— комитет не переименовали, он по старинке назывался Петербургским. Доклад Бубнов сделал короткий, зато в прениях говорили много,— митинговать все разохотились, подумал он, усмехаясь. Понять можно: сколько веков молчали... Сам он многословием не отличался, да и приучил себя к лапидарности — иной день приходилось выступать по четыре-пять раз.

Последние месяцы, с того дня в середине марта, когда они с Валерианом Куйбышевым вернулись из несостоявшейся ссылки, с этапа, в Самару, были похожи на — он поискал сравнение — на мелькание «туманных картин» в руках умелого манипулятора «волшебным фонарем». Несколько дней в Самаре. Вызов в Москву — стал членом бюро Центрально-промышленной области и членом исполкома Московского Совета. Поездки в родной Иваново-Вознесенск (не бывал там с похорон маменьки — скончалась в 1913-м. Находился в Харькове, в ссылке, попрощаться с маменькой не отпустили, пришлось нелегально, успел только на панихиду, и прямо при выходе из церкви задержали «фараоны», даже на кладбище не позволи-

ли, отконвоировали к поезду). Митинги в Кохме, в Тейкове, в Шуе, опять Москва и следом — Питер. Даже забывал порой, в каком городе находится, машинально садился не в тот трамвай; велев извозчику везти на Моховую, и очень удивлялся, очутившись возле Московского университета,— ему нужна была другая Моховая, питерская. Все профессиональные революционеры жили так, не один он, и Бубнов преотлично понимал состояние Ленина, о котором, посетив Ильича в Разливе, рассказывал Серго,— томится в вынужденном безделье. Впрочем, какое безделье, тот же Серго говорил, что Ленин там, в шалаше, писал объемистый труд по теории государства... Но понять Владимира Ильича легко: он рвался к живому делу, к сиюминутным действиям, поступкам, решениям, к общению с людьми — рвался к тому, к чему рвались все они, профессиональные революционеры.

Октябрьская погода нынче выдалась очень уж нехороша, дожди не переставали, но сегодня прояснилось на считанные часы, лужи не успели просохнуть, однако сверху не лило, и он шел пешком.

Великая смута и неразбериха водворились на Руси, думал Бубнов, шагая по Владимирскому, тускло освещенному электричеством,— у подъездов уже выходили караулить, с ружьями, обитатели. Все перемешалось, перепуталось... Власть Советам — и долой «собачьи и рачьи советы». Защитим Питер — и «слава богу, если он падет». Долой войну — и «как прикажут господа союзники». Земля народу — и нет, извините, муниципализация земель. Только республика, подлинно демократическая,— и призыв не отвергать «законного наследника престола». Агитки Демьяна Бедного — и лирические вздохи символистов. «Хвосты» за четвертушкой ржаного — и очереди у подъезда Мариинки, где танцевала Карсавина и пел Шаляпин. Солдатские митинги — и евангелические собрания. Красная гвардия — и спиритические сеансы.

На фронте братание, дезертирство, неповиновение офицерам — и «вперед, в атаку, за отечество, мать вашу перетак!». Разруха, паралич транспорта, инфляция, распад экономических связей — и ночные рестораны, дамские декольте, позументы, лакированные сапоги, фраки, шампанское, «пир во время чумы». Большевистская партия с тех пор, как вышла из подполья, выросла в пятнадцать раз, в ней теперь более трети миллиона,— и «все большевики во главе с Лениным — германские шпионы». И партии, партии, партии — непосвященный голову сломает, чтобы хоть запомнить: «октябристы», кадеты, трудовики, эсеры правые и левые, «меньшевики-интернационалисты», «Единство» — всяческие масти, всяческие оттенки, но едины в одном: все против нас, а мы — напролом, а мы — наперекор, а мы возьмем власть не сегодня-завтра, и мы не только возьмем, но и удержим ее, господа и квази-«товарищи»!

Вчера, по совпадению, получил два письма — от Фрунзе и от Куйбышева, отрывочные, наспех набросанные, но все-таки главное сказано. Миша, откомандированный с фронта в Шую, сообщает, что в Иваново-Вознесенске и всех ближних промышленных центрах Советами безраздельно руководят большевики, фактически установлена диктатура пролетариата и даже в городской думе потеснили меньшевиков и эсеров. Что ж, отлично, Миша, рад за своих земляков... У Валериана же, в Самаре, там было посложней: до конца сентября эсеры и меньшевики препятствовали созданию Красной гвардии, однако и там их одолели, недавно провели губернский съезд, в исполком вошли старые знакомцы Андрея — Масленников, Милонов и еще один новичок, Митрофанов, ну и он сам, Куйбышев,— готовимся взять власть. Превосходно, Валера... О положении в Москве подробно рассказывал Георгий Ломов-Оппоков, там тоже все в порядке, в нашу пользу... Да, все в порядке. А вот Маруся, она ведь тоже

в Москве, не пишет, и давно. Как ни прикинь, а не получилась их семейная жизнь. То ли помешало вечное «кочевье»... Да нет, разве мало примеров, когда не сделались помехой ни ссылки, ни аресты. И Свердловым, и Подвойским, и тем же «Ильичам», как их зовут по-домашнему. С Марусей что-то другое, а что — разве поймешь. В политической ситуации легче разобраться, чем в себе самом. Быть может, просто не было настоящей любви, а была потребность в любви и чувство товарищества, принятое за любовь? Как знать, Андрей... Вот завершим революцию — станем разбираться в личном... Но когда это случится? За нашей революцией неминуемо последует мировая...

Промчался лихач с фонариками, дутые шины разбрызгивали воду, Бубнов свернул на Звенигородскую. Голова не переставала болеть, но есть захотелось. Хорошо бы сейчас настоящего, крепкого чайку, да где там. У хозяйки, правда, припрятаны запасы, но не для него. И хорошо бы выспаться вволю, но завтра — заседание ЦК. Судя по всему, решающее. И надо к нему подготовиться, обдумать все до мелочей. Ленин, вероятнее всего, на заседание придет.

В Лесновско-Удельнинскую районную думу, где назначили заседание ЦК, трястись на трамвае было черт те знает сколько, но деньги были на исходе, извозчика Бубнов не взял. Впрочем, имелась в трамвайном «путешествии» своя выгода: успеет просмотреть купленные утром газеты.

Сперва читать не удавалось. Вагон битком набит, вдобавок еще возник презабавный скандал: барышня в модном саке и с вуалькой визжала на кондуктора, назвавшего ее «товарищем». Когда пересекли Неву, стало просторнее, Андрей Сергеевич устроился подальше от двери —

и без того насморк, не дай бог свалиться в такие-то дни,— разворачивал одну газету за другой. Многое, о чем здесь говорилось, он знал и без репортеров, кое-что было новостью, но ведь важно и то, как трактуются события, и важно, о чем станет известно населению.

...Могилев. Ставка верховного главнокомандующего. Сюда стягиваются верные Временному правительству гвардейские полки, казачьи части.

...Юнкерам Павловского, Петергофского училищ приказано быть готовыми к выступлению на Петроград. Прибывают в город юнкера из Ораниенбаума.

...В Зимнем расквартирована часть петроградского броневого дивизиона.

Ясно. Готовитесь, Александр Федорович? Но и мы...

...По приказу Петроградского Совета Сестрорецкий казенный оружейный завод выдал рабочим несколько тысяч винтовок.

...В Нижнелитейном районе на митинге городской милиции принята резолюция: вся власть Советам.

А вчера представители ВРК докладывали: в Петроградском гарнизоне, по боевому, не по списочному расчету, полтораста тысяч человек. Но и не в числе главное. В том, кто сильнее духом, на чьей стороне правда...

Возле парка Лесного института — здание виднеется меж оголенными деревьями — трамвай делал круг. Идти еще далековато, хорошее место для заседания предложил Михаил Калинин, надежное место: самый конец города...

Листья на широкой аллее давно размокли, не шуршали, не взлетали от ветра. Бубнов вспомнил о Владимире: ведь он учился здесь, ходил по тем же аллеям. Хорошо, что Володя воспрянул духом, большевиков поддерживает безоговорочно, сейчас он в Иваново-Вознесенске начальником городской милиции, встретились в прошлый раз побратски, по-дружески. И Фрунзе им доволен...

Дума — двухэтажная, бревенчатая, с заковыристой башенкой. Стемнело, а свету в окошках не видать. Калинин — конспиратор опытный, зашторил наглухо все окошки. У крылечка Эйно Рахья.

— Здравствуй, перкеле, — созорничал Бубнов, повторив излюбленное финское словечко. Рахья шутки не принял, отмолчался, по обыкновению.

— Ноги вытирайте,— сказала в прихожей бойкая девчонка; словно у себя дома, она держала жестяной поднос, пахло настоящим чаем; пакетик сахару, как водилось, Бубнов имел в кармане.— Раздевайтесь,— сказала она буднично.

Очень буднично выглядел и кабинетик: столишко «дамского» типа, конторские столы, стулья — с бору да с сосенки. И даже — уловил Бубнов с порога,— как бы условившись до начала заседания не говорить о самом важном, перекидывались житейскими словами, Ленин шутил о чем-то с оживленным Урицким. Кроме членов ЦК Бубнов увидел в комнате и других товарищей — заседание сделали расширенным...

Вносили стулья, свертывали самокрутки, принимали поочередно — стаканов не хватало — чай от девушки по имени Катя.

В этой будничной обстановке открылось поворотное в истории России, во всей мировой истории заседание ЦК РСДРП(б) 16 октября, в понедельник, около семи часов пополудни.

3

Ленин: «Положение ясное: либо диктатура корниловская, либо диктатура пролетариата и беднейших слоев крестьянства... необходимость самой решительной, самой активной политики, которая может быть только вооруженным восстанием».

Иван Рахья: «Массы ждут лозунга и оружия».

Николай Крыленко: «Настроение в полках поголовно наше».

Каменев и Зиновьев: «Данных за восстание теперь нет».

Резолюция: «Собрание вполне приветствует и всецело поддерживает резолюцию ЦК (от 10 октября. — *В. Е.*), призывает все организации и всех рабочих и солдат к всесторонней и усиленнейшей подготовке вооруженного восстания, к поддержке создаваемого для этого Центральным Комитетом центра и выражает полную уверенность, что ЦК и Совет своевременно укажут благоприятный момент и целесообразные способы наступления».

Принято девятнадцатью голосами против двух (Зиновьев, Каменев) при четверых воздержавшихся.

Решение закрытого заседания ЦК, состоявшегося после общего совещания: избрать из членов ЦК Военно-революционный центр в составе: А. С. Бубнов, Ф. Э. Дзержинский, Я. М. Свердлов, И. В. Сталин, М. С. Урицкий.

У каждого настоящего человека в жизни должен быть свой звездный час. Вот он пришел и для Андрея Сергеевича...

Но чтобы читателю стало ясней, почему автор считает именно этот период «звездными часами» своего героя, нужно, думается, поставить несколько вопросов и попытаться на них ответить. Это тем более важно, что, как я неоднократно замечал, иные читатели отождествляют Военно-революционный комитет (ВРК) с партийным Военно-революционным центром (так называемой «пятеркой»), а в литературе массовой, популярной функции и значение последнего не всегда обозначены четко, скорее — весьма расплывчато, и не выделены особо.

Итак, во имя чего был создан 16 октября Военно-революционный центр, в чем его значение?

Сформированный по предложению Ленина, в эти дни

Петроградский ВРК был легальным органом восстания, и потому в него входили представители ЦК и ПК РСДРП(б), военных партийных организаций, Петроградского Совета, различных профсоюзов, солдатских и матросских комитетов, Красной гвардии, левых эсеров и так далее. Демократичность была налицо, но вместе с нею возникла и, скажем так, разношерстность. Необходимо было обеспечить большевистское руководство комитетом, необходимо тем важнее и потому, что ПВРК хотя и назывался Петроградским, но деятельность его с самого начала принимала *всероссийский* характер.

Политическое же бюро, выделенное заседанием ЦК 10 октября, стать *действенной* руководящей силой не смогло, да практически к работе и не приступало. Владимир Ильич оставался в подполье; Зиновьев и Каменев ударились в открытое штрейкбрехерство; Троцкий, этот, по выражению Ю. Мартова, «человек, который всегда приходит со своим собственным стулом», думал не столько о революции, сколько о том, как бы выпятиться на ее фоне самому, — всячески лавировал; Сокольников не отличался последовательностью в идейных своих позициях. Оставались Бубнов и Сталин. Двое — это не Политбюро...

Наконец, ВРК был органом Петроградского Совета (председатель Совета — Троцкий!), а сам Военно-революционный комитет возглавлял в те дни Павел Лазимир, человек честный, но левый эсер (вскоре он станет большевиком, но пока...).

Значит, нужен принципиально новый, единый, действенный, боевой *политический* центр по руководству восстанием.

Его и выделили — знаменитая «пятерка», тотчас направившаяся в Смольный. Заменить Ленина «пятерка» не могла. «Подменить» его, работать под его руководством — руководством в силу обстоятельств скрытым, незримым — была обязана и могла.

Чтобы до конца обозначить роль и место Андрея Сергеевича в Октябрьском вооруженном восстании, следует сказать еще вот о чем.

Для проведения операции по аресту Временного правительства и обеспечения перехода власти к Военно-революционному комитету 25 октября был создан полевой штаб ВРК в составе: группа по захвату Зимнего — Владимир Антонов-Овсеенко, Николай Подвойский, Григорий Чудновский; комиссар Петропавловской крепости Георгий Благонравов; командир группы отрядов Красной гвардии Константин Еремеев. Все — большевики-ленинцы.

Шестым в штабе был Андрей Бубнов, ему, как единственному в этом органе члену ЦК, поручили общее руководство штабом.

4

На Муринском остановили дребезжащий грузовой мотор, втиснулись в кузов к матросам, сваленным дремотой, — проснулся только один, выругался, тотчас опять заснул. В городе стояла тишина — третий час ночи. Добрались без приключений и задержек.

Солдат у парадного входа Смольного — с неладной, как бы нарочно прилепленной, бородой, в папахе, сбитой набок, нетуго подпоясанный, шинель без погон, отмененных Керенским, на штыке винтовки нанизаны листочки разовых пропусков — откинул винтовку, преграждая путь, стребовал документ. Сталин молча отстранил «винтарь», спокойно прошел мимо часового, тот опешил и не успел окликнуть. У троих удостоверения членов ЦК были наготове. Бубнов же замешкался, шаря по карманам, ища отстуканную на трепаной машинке бумагу, пришлось расстегнуть кожанку, — обзавелся-таки ею! — ветер прохватывал, Андрей Сергеевич злился на себя и на солдата,

ни в чем не повинного. Солдат ждал, отчего-то слегка улыбаясь, и эта — не к месту — улыбка еще больше злила Бубнова. Наконец нашел, протянул, развернул. Часовой даже не глянул в удостоверение, а прислонил грозное свое оружие к стенке и облапил было Андрея Сергеевича длиннющими ручищами. И без того рассерженный, Бубнов отстранился — это еще что за штучки, выпил, что ли?

— Андрюха! — орал солдат. — Андрюха, черт собачий!

Времени для разговоров не было, перекинулись несколькими фразами. Никиту Волкова мобилизовали, на фронте стал большевиком. Что ж, сказал Андрей, я так и думал, что рано или поздно к нам придешь окончательно. И спасибо тебе, дружище, ты нас крепко выручал, когда служил в управе. А ты большим начальством заделался, говорил Никита, я тебя не в первый раз вижу здесь, думал, сам подойдешь, узнаешь, зазнался, товарищ. Да где узнать тебя с такой бородищей, отвечал Андрей, — и не зазнался, а замотался, Никита, видишь, какая идет кутерьма...

Еще 1 июля Смольный, занимаемый Институтом благородных девиц, разделили дощатой переборкой по вертикали на две части. В левой оставались девицы, перепуганные насмерть, как и начальница их, княгиня Голицына. Еще бы не перепугаться: другую половину дворца, построенного специально для привилегированного учебного заведения архитектором Кваренги, дворца уютного, блиставшего чистотою и бонтонностью, захватили мужланы, провонявшие махоркой, кислыми шинелями, опоясанные ужасными патронташами, сплевывающие на пол, оскверняющие воздух теми словами, от которых в преж-

ние времена любая дама или барышня тотчас упала бы в обморок. Хорошо хоть, что по собственной воле воздвигли этот деревянный, дощатый безобразный забор, отделив тем самым агнцев от козлищ, по крайней мере, не могли покуситься на девичью честь воспитанниц. Но княгиня спала дурно...

А на той, на правой половине спали, едва тому выпадала возможность. Спали на затоптанном полу, не раздеваясь — в шинелях и бушлатах, — спали, положив голову кто на тощий мешок, кто на живот соседа, кто на собственную ладонь, спали трудным, глубоким и в то же время сторожким сном, не выпуская из рук винтовок, готовые в любую секунду вскочить, повинуясь команде, и выбежать в промозглую непогодь, и погрузиться в кузовы моторов или так, бегом, бегом, — быть может, на смерть, быть может, на кровь, но всенепременно к победе. Дремали пулеметы, поблескивая смазкой, дремали своды гулкого коридора, дремали, сидя, дневальные по ротам, и Бубнов осторожно пробирался меж спящими, они лежали вповалку даже на ступеньках лестниц...

За последнее время Андрей Сергеевич бывал здесь, конечно, достаточно часто, и всякий раз с усмешкою поглядывал на вытянувшиеся в ряд респектабельные двери: под эмалевыми, благопристойными табличками — «Учительская», «III класс», «Дортуар» — были прилеплены хлебным мякишем, наколоты на гвоздик обрывки бумаги с кое-как нацарапанными надписями: «Исполком Петросовета», «Союз солдат-социалистов», «ЦИК»... На третьем этаже Бубнов потянул на себя ручку, выше которой было выведено: «Военно-рев. ком.».

Там уже распоряжался неугомонный — хотя годами старше всех из «пятерки» — сорокачетырехлетний Моисей Соломонович Урицкий, перед ним стоял навытяжку — солдатская выучка — комендант Смольного, еще не тот, впоследствии знаменитый Мальков, а другой; он кивал

головой, подтверждая: да, соседняя комната пустует, да, аппарат поставят сей секунд, да, кипятку принесут...

— И матрасишки бы какие, спать будем здесь, — вставил больной, измученный Свердлов. Молча, прохаживаясь между лежавшими вповалку членами комитета, курил Сталин. Что-то писал стоя Дзержинский.

Бубнов оторвал край постеленной на стол оберточной бумаги, обмакнул в чернильницу кончик тупого карандаша, вывел: «Политцентр ВРК». Вытащил из стены забытую там кнопку. Прикрепил плакатик с наружной стороны двери.

Политцентр приступил к делам...

Джон Рид, американский литератор-коммунист: «...работал Военно-революционный комитет, и искры летели от него, как от перегруженной током динамо-машины».

Анатолий Луначарский, первый народный комиссар просвещения: «Я не могу без изумления вспомнить эту ошеломляющую работу и считаю деятельность Военно-революционного комитета в октябрьские дни одним из проявлений человеческой энергии, доказывающим, какие неисчерпаемые запасы ее имеются в революционном сердце и на что способно оно, когда его призывает громовой голос революции».

Это сказано — обоими — и вдохновенно, и образно, и красиво, и точно. В соответствии с характерами написавших приведенные слова.

«В период подготовки и в момент переворота я находился в Смольном... в качестве члена ЦК партии выполнял поручения, на меня возложенные».

Это сказал *Бубнов* — кратко, сжато, без внешних эмоций. Тоже в соответствии со своим характером.

Глава третья

1

Биохроника.

17 октября, вторник. Важнейшее событие дня: от имени Центробалта его председатель Дыбенко телеграфировал в судовой комитет «Авроры»: «Не выполнять распоряжения Временного правительства, если последует приказ о выходе «Авроры» на рейд». Тем самым еще раз подтверждено, что военные моряки Балтики полностью на стороне ВРК, о чем заявляли они еще 19 сентября. А Балтийский флот — это 40 кораблей, 10—15 тысяч вооруженных матросов...

18 октября, среда. Утро. Как и все причастные «политике», Андрей Сергеевич, естественно, раскрыл и «Новую жизнь» с письмом Зиновьева и Каменева. Реакцию Бубнова представить себе нетрудно...

День. Бубнов в Смольном на собрании партийного актива городской организации большевиков. Докладчик — Свердлов. Резолюция: не дожидаясь съезда Советов (как предлагал Троцкий), переходить в наступление для создания революционной власти.

Вечер. Эйно Рахья, «надежный товарищ», теперь — связной Ленина, приносит в ВРК с квартиры Фофановой письмо Владимира Ильича, клеймящего изменников и штрейкбрехеров Зиновьева и Каменева. Нет сомнения: это письмо Бубнов, как и остальные члены «пятерки», читал тотчас, все важнейшие документы, а уж те, что исходили от Ленина, стекались прежде всего сюда, в Политцентр.

19 октября, четверг. Ленин пишет «Письмо в Центральный Комитет РСДРП(б)», в котором настаивает на исключении Зиновьева и Каменева из партии как штрейкбрехеров революции.

20 октября, пятница. Предельно насыщенный день. С утра в газетах извещено, что министр юстиции Временного правительства Малянтович предписал распорядиться о немедленном аресте Ленина, где бы тот ни появился; ПВРК (в том числе и Бубнов) выдает мандаты только что назначенным комиссарам комитета — вот оно, рождение слова «комиссар» в новом понимании, — назначенным в учреждения, на заводы, в воинские части. Мандат № 1 получил Мкртич Тер-Арутюнянц, направленный в Петропавловку.

День. Бубнов участвует в первом заседании ПВРК; заслушан доклад о положении дел в Ставке, разработаны меры по охране Петрограда, решено послать на места большое число агитаторов.

Вскоре — заседание ЦК партии (с участием Бубнова), оно осудило антипартийное поведение Каменева и Зиновьева, приняло отставку Каменева и запретило обоим выступать с какими бы то ни было заявлениями против ЦК.

Вечер. Бубнов принял донесение комиссара Петропавловки о том, что крепость полностью перешла в подчинение ВРК, в том числе и Кронверкский арсенал, в котором хранится 100 тысяч винтовок, орудия, большое количество вооружения, боеприпасов, снаряжения.

21 октября, суббота. На собрании военно-гарнизонного комитета Петрограда, где присутствовал Бубнов, принята резолюция: «Время слов прошло. Страна на краю гибели... Мы все на своих постах: готовы победить или умереть».

Заседание ЦК (Бубнов в нем участвует) утверждает Ленина докладчиком о земле, о войне, о власти на предстоящем II съезде Советов; рассматривает вопрос об издании отдельной брошюрой ленинского «Письма к товарищам».

22 октября, воскресенье. День Петроградского Совета, своеобразный смотр сил революции. На митингах повсюду единое требование: «Вся власть Советам». Бубнов в числе других руководителей выступал на митингах этого дня несколько раз.

Фактически парализованы действия Временного правительства и его органов.

23 октября, понедельник. На каком-то сборище, затерявшись среди восторженной публики, Андрей Сергеевич слушает бахвальскую речь Керенского (кажется, последнюю из публичных его речей в столице): он-де готов отслужить молебен, чтобы выступление большевиков произошло, тогда они будут раздавлены окончательно, сил у Керенского хватит, эти силы только и ждут приказа...

Партийный центр готовит (опубликовано следующим утром) обращение ВРК к населению: подчиняться только тем распоряжениям, которые утверждены комиссарами Военно-революционного комитета.

Красная гвардия переведена на казарменное положение. Бубнов — на конференции представителей рабочей гвардии Петрограда и окрестностей.

2

«Весь этот период представляется мне... чрезвычайно кратким, ибо события неслись молниеносно, были резко напряжены и переживались как могучий ход громадного революционного вала, сметавшего перед собой вражеское сопротивление. Несмотря на то, что в ходе переворота были очень критические моменты, бросалась в глаза непоколебимая уверенность в победе. За Смольным, Военно-революционным комитетом, заседаниями ЦК партии чувствовалась гигантская революционная волна, перед которой Керенский, казаки, юнкера, Викжель исчезали, как мыльные пузыри...

В качестве члена ЦК партии я выполнял поручения, на меня возложенные: принимал участие в выяснении соотношения сил в Петрограде (юнкерские училища, наши части и прочее) и подготовке технических средств восстания, делал это совместно с руководителями «Военки», которая объединяла деятельность фронтовых и тыловых большевистских организаций, вел работу в Петроградской организации как член ее исполнительной комиссии и представитель ЦК, выступал на митингах... Являлся членом Военно-революционного комитета...»

Это все, что сказал Бубнов о себе, о своем участии в величайшем событии мировой истории.

Но и он же писал о своих товарищах, «о тех, кто нашу партию строил, создавал остов партии и ее первые рабочие кружки и группы, связывал их в повседневной работе с массами и с громадным, ежесекундным риском закладывал основы организации ее вооруженных сил», кто «был доподлинным организатором, которыми крепка и жива партия пролетариата в России... был символом пролетарской выдержки, настойчивости, мудрого такта и организующей воли», о тех, кто являлись «лучшими представителями того славного поколения, которое нашу партию выпестовало... такой, какой мы ее знаем... в дни великих испытаний, тяжелых поражений и блестящих побед».

Андрей Сергеевич сказал это о своих товарищах и соратниках. Но разве слова эти не относятся в полной мере и к нему самому?

3

Искра, брошенная в перестоявшийся на жаре стог; капля, переполнившая чашу; последняя соломинка, что сломала спину верблюда, — многими выражениями, вклю-

чая латинское «casus belli», что переводится как «повод к войне», обозначены в языке моменты, приводящие к взрыву.

Гигантская пороховая бочка должна была взорваться неминуемо и весьма скоро. Вот-вот, ежечасно, ежеминутно, ежесекундно. Нужна была искра, пускай самая малая, пускай даже случайная.

Ее, эту искру, то ли второпях, то ли по неразумию, то ли по самонадеянности, обронил «сам» Александр Федорович Керенский.

4

Наконец-то убрали с парадной лестницы Смольного широченную, малинового цвета, ковровую дорожку, — распорядился по-европейски бережливый Феликс Эдмундович. Кажется, поздновато спохватился: многие тысячи сапог и башмаков, солдатских и матросских, успели протопать по ней. Но вообще-то к дворцовому благолепию относились отнюдь не залихватски: пулеметы по ступенькам не катили, а втаскивали на руках, по коридорам маршировали не в ногу, надписями стены испохабить никто не додумался, — и это понятно, поскольку большинство нынешних обитателей Смольного подобное убранство видели только в церквах и относиться с небрежением и озорничаньем не могли. Правда, махрою садили нещадно и речь круто присаливали. Однажды как-то, приложив к устам надушенный платочек, подобрав пальчиками край платья и, кажется, законопатив уши ваткою, вся — презрение, вся — гнев, недоумение, отрешенность и смирение, что паче гордыни, — явилась на эту половину, в третий этаж, ее сиятельство начальница института Голицына, вскинула изящнейший лорнет на первого, кто встретился в комнате с чудовищной для княгини табличкою «Военно-рев. ком.». Взор княгини, отнюдь не смяг-

ченный, а, напротив, как бы заостренный стеклами лорнета, оказался устремленным на Бубнова. То ли по кожанке — знали к тому времени, что комиссарская одежда, — то ли по лицу Андрея Сергеевича, вполне интеллигентному, княгиня признала в нем не «серую скотинку» и, грассируя, гневно-просительно и жалобно-смиренно заявила: вверенные попечению ее благородные девицы, хотя и огражденные от вторжения деревянною переборкой, тем не менее вынести, пардон, этого ужасного табачного благоухания и — снова пардон — весьма неизящных выражений никак не в состоянии. Андрей Сергеевич — а почему бы, собственно, и не поактерить слегка? — выслушал, предварительно сделав полупоклон, достаточно изящный, и ответствовал вполне изысканно, в том смысле, что, увы, борением против табачного зелья придется заняться после революции, равно как и обучением поголовно всех французскому языку... Ее сиятельство, выслушав, изобразила злобно-милую улыбку и произнесла: «Quelle brute». Бубнов опять совершил полупоклон, княгиня удалилась.

Наблюдавший все это Урицкий захохотал:

— Знаешь, Андрей, что она тебе сказала? Ах, не знаешь, изволь, переведу: грубое животное или, короче, скотина. Понятно?

— Понятно, — отвечал Бубнов, — как-нибудь переживу, не вызывать же даму на дуэль.

Пустяковый был, конечно, эпизод, но развеселил всех, кто разместился по-бивачному тут, в правом крыле Смольного, в третьем этаже, где в малюсенькой, голой — всего два стула у стенки слева, да еще карта империи (бывшей империи!), да еще тюфяки на полу, да еще рогатый настольный аппарат, — комнате находилась «пятерка». Тут и спали, тут и ели принесенную в солдатских котелках пшенку, запивали кипятком, тут и спорили, тут и ссорились, тут и мирились, тут, главное, соединяли в нечто

цельное, общее те и обрывочные, и разноречивые, и дельные, и нелепые сведения, доклады, сообщения, отовсюду несомые и посыльными, и телефонным трезвоном, — к аппарату обычно подходил самый нетерпеливый из пятерых, Урицкий, — и опять советовались, спорили, ссорились, передавали распоряжения и чуть ли не каждый час отправляли связных к Ленину, на квартиру Фофановой. Случались минутные промежутки, Феликс тогда рассказывал о польских тюрьмах, весьма англизированных как он выражался; Джугашвили прохаживался взад-вперед, дымил трубкой — на просьбу Андрея не курить при Дзержинском и Свердлове отмахнулся раз и навсегда, — вставлял продуманные реплики; Бубнов же, по давней особенности натуры, пытался прихватить лишние минуты сна, это не удавалось. Словом, хоть по-цыгански, обозначил кто-то из них, по — жили.

Смотря в каком смысле понимать слово «жили». Если с точки зрения бытовой, «существовательной», то плохо, кое-как, впроголодь, внедосып, в полный износ нервной системы. Но если понимать слово жить высоко, не «существовательно», в эти дни и «пятерка», и ВРК, и все, кто был причастен великому делу, вот-вот долженствующему начаться, жили так, как не жили до того и, наверное, не жили после. Звездные часы...

5

Был хмурый рассвет, нет, еще не рассвет, а его предвозвестие. Были хмурые спросонья глаза. Был — в распутанных, волочащихся обмотках, в недельной щетине, в осознании — а может, напротив, в неосознании? — важности принесенного известия — словом, был солдат, растормошивший всех.

Солдат дышал запаленно — казалось, шинельный ворс и тот издает душный парок, — вертел головою, не зная,

к кому обратиться, и в конечном счете обратился-таки к Бубнову, — возможно, потому, что из пятерых он, Бубнов, одетый похоже на остальных, тем не менее выглядел как-то привычнее, попроще. Обратился прямиком к Бубнову, хоть и не знал, кто перед ним, бегуном-солдатом, стоит сейчас, а новость надо было, приказано было передать как можно скорей...

А новость, которую принес, точнее, привез на самокате солдат, была не то чтобы потрясающей, но весьма существенной и знаменательной. В половине шестого утра с вооруженным отрядом юнкеров представитель Временного правительства явился в типографию, где печатались «Рабочий путь» — под таким названием выходила сейчас запрещенная Временным правительством «Правда» — и «Солдат», и приказал печатание газет прекратить, типографию закрыть. Выпускающий отказался выполнить требования, заявил, что подчиняется только ВРК. Тогда юнкера грохнули об пол отливки стереотипов, забрали готовую часть тиража, опломбировали помещение и удалились.

Пробный шар запустил Керенский, сказал Бубнов, решил посмотреть, как мы себя поведем. Или решил перейти в открытое наступление? Скорее, и то и другое, сказал Сталин. Надо собирать ЦК, предложил Свердлов, с этим согласились немедленно, хотя Владимира Ильича здесь не было.

Пока по комнатам бегали рассыльные, пришло известие: совершен налет еще на одну типографию, но там удалось отбить, спасти и стереотипы, и тираж. Стало очевидным: Керенский атакует. И почти через пять минут протелефонировал с Миллионной, из казармы Преображенского полка, комиссар Григорий Чудновский: только что стало известно о решении Временного правительства готовиться к нападению на Смольный, арестовать и предать суду весь состав ВРК.

Центральный Комитет собрался часов около девяти, заседали очень недолго: было не до прений и споров, и в самом деле, время слов прошло, настало время действий.

Постановили: типографию «Рабочего пути» немедленно же освободить от юнкеров силами Литовского полка и саперного батальона; членам ЦК из Смольного не отлучаться без особого разрешения; распределить обязанности между собой для руководства восстанием на важнейших участках.

Бубнову поручили обеспечить связь с железнодорожниками (несколькими днями спустя он был назначен и на пост комиссара Петроградского железнодорожного узла).

6

И снова возникает очередной вопрос: почему? К железным дорогам Андрей Сергеевич имел отношение лишь как пассажир. Поручили бы руководство текстильщиками — это было бы понятно без комментариев.

Никаких прямых объяснений этому факту ни в документах, ни в воспоминаниях не обнаруживается. Можно лишь строить предположения, руководствуясь логикой.

Говорить о значении железных дорог в экономике, в вооруженной борьбе нет нужды, это общеизвестно. А ситуация складывалась весьма сложная и напряженная.

Значительная часть путей была разрушена. Четверть всех паровозов — непригодны к эксплуатации, ремонтом их не занимались: почти все мастерские переключились на изготовление снарядов и боевого снаряжения. Не хватало топлива. Оборудование оставалось почти кустарным...

Вдобавок было известно, что Всероссийский исполнительный комитет железнодорожного профсоюза, Викжель, созданный летом, фактически руководивший всей рабо-

тою транспорта, настроен контрреволюционно. Из 40 его членов лишь трое — большевики, преобладают меньшевики и эсеры. Если не выступят против восстания открыто, скорее всего, будут саботировать, так складывалась обстановка. Словом, железным дорогам следовало уделить первостепенное, первостепеннейшее внимание...

Картина ясна...

А Бубнов — почему он? Вспомним о масштабах его личности, о его громадном революционном опыте, о твердости его натуры. Вероятно, это и сыграло роль при распределении обязанностей...

Но практически к руководству железными дорогами Андрей Сергеевич приступил уже после переворота, 27 или 28 октября. Пока он возглавлял Полевой штаб ВРК...

7

Было не до споров, решения принимали единогласно, и все-таки, поднимая руку, Бубнов внутренне протестовал: постановление о том, чтобы члены ЦК не отлучались из Смольного, казалось ему чем-то вроде домашнего добровольного ареста. Огромная армия сосредоточилась под командованием Военно-революционного комитета: 150 тысяч революционных солдат гарнизона, 80 тысяч матросов Балтийского флота, 20 тысяч красногвардейцев — четверть миллиона человек только тут, в столице, чуть ли по масштабам не целый фронт. Конечно, для полководца не дело самому становиться в цепь атакующих, ложиться за пулемет, швырять гранаты. И тем не менее он должен в решающие моменты находиться там, откуда воочию видно, как развертывается сражение. И вероятно, Бубнов угадывал состояние Владимира Ильича, представлял себе, с какой горечью, с какой вынужденной самоиронией Ленин 8 октября в программном своем письме, где до

мелочей, до частностей был разработан план вооруженного восстания, поставил заголовок: «Советы постороннего». Там, на Выборгской стороне, на Сердобольской улице, в квартире Маргариты Васильевны Фофановой, при категорическом запрете ЦК покидать это убежище, Ленин, должно быть, ощущал свою как бы отстраненность от практических дел (это Ленин-то, с его неукротимой энергией, живостью, потребностью к действию, в решающие дни, в моменты, когда осуществлялась главная цель, главный смысл его жизни!). Андрею Сергеевичу однажды довелось побывать у Фофановой, он отлично представлял этот окраинный неоштукатуренный дом в четыре этажа, с редкими балконами, с узкими лестницами, дом сугубо «пролетарский», и эту комнатку, где кровать с никелированными шишечками, комод, покрытый скатеркой, овальное зеркало, письменный, без тумб, только с ящиком, стол и стул с высокою спинкой и почти пустая — только стопки газет — этажерка, и керосиновая лампа под зеленым абажуром, — он представил себе эту захолустную улочку, дом, квартиру, комнатку, представил, как Ленин себе не находит места, — к нему даже нельзя, по конспиративным соображениям, послать связного на «паккарде», и Маргарита Васильевна от него, и Рахья из Смольного к нему добираются через весь город трамваем, а Ильич тем временем мечется по квартирке, садится, пишет своим быстрым, летящим почерком, пытается читать что-то — и не может, и...

Представив это все, Бубнов от души посочувствовал Владимиру Ильичу и подумал, что им здесь куда как легче: и общаются друг с другом непосредственно, и телефон есть, и связные, посыльные, вестовые прибывают чуть не ежеминутно, и, в общем, хоть не собственными глазами, а через посредников, но всю обстановку они видят, ощущают, осознают каждоминутно, а Ленину ждать часами, пока вернется Фофанова или придет Рахья...

Из рук удалого «братишки» — бескозырка набекрень, клеши в Балтику шириною — Бубнов принял жестяной полуведерный чайник (заварка прямо в нем) и прошел в маленькую комнатку, где они, пятеро, и работали, и ночевали. Там появился наконец и стол, и несколько стульев — Дзержинский, сделавшись ненадолго комендантом Смольного, распорядился. И за столом этим, на золоченых гнутых ножках и с мраморною доской, вдоль и поперек исписанной карандашом — номера телефонов, фамилии, адреса, даты, цифры какие-то, — расположились члены Полевого штаба. Ждали только Бубнова, чтобы начать, все были в сборе.

Докладывал Владимир Александрович Антонов-Овсеенко, — его внешности разночинца прошлого века (длинные волосы на косой пробор, круглые очки в железной оправе) очень не соответствовала солдатская, неперешитая шинель внакидку, и весь он выглядел очень по-штатски, но стратегом оказался отменным, план продумал до мелочей по совету Ленина: комбинация главных сил (флот, рабочие, войсковые части), захват ключевых позиций (телефон, телеграф, мосты, железнодорожные станции), выделение для этого самых решительных элементов, «ударников» и молодежи... Бубнов спросил у комиссара Петропавловки, широкоскулого, бровастого недавнего прапорщика (еще не снял кокарду, забыл!) Георгия Благонравова, все ли готово в крепости.

— Еще не все,— рапортовал, встав, Благонравов, — крепостные орудия в плохом состоянии...

— Что думаете предпринимать?

Георгий замялся.

— А вот что, — сказал Бубнов, — полевая артиллерия у вас исправна? Да? Так вот и выкатите несколько орудий на приплесок Невы, куда-нибудь возле Алексеевского равелина...

— Так точно, — обрадованно подхватил Благонравов.

— По указанию ЦК, — сообщил Андрей Сергеевич, — создается запасной штаб восстания — под твоим, Владимир Александрович, руководством (Антонов-Овсеенко кивнул). Разместитесь в крепости — это на случай, если Керенскому удастся так взять Смольный. Опасность невелика, но и предосторожность не мешает. Сейчас, как только закончим, и отправляйтесь, и ты, Владимир Александрович, берись писать ультиматум господам «временным», хватит цацкаться, с часу на час начнем. С богом, как говорится. Особая надежда на тебя, Константин Степанович, — продолжал он, обращаясь к Еремееву. — Если правительство откажется капитулировать и обстрел их не испугает, то поднимаешь свой Преображенский и... Только, по возможности, побереги Зимний, предупреди ребят. Как это — на кой хрен? Музей там откроем, двери всем нараспашку, приходи в царские покои и любуйся на здоровье... Чего головой крутишь, я не шучу. Ну, по местам, други мои...

На какие-то считанные минуты он остался один. Смольный гудел, и громко разговаривали за дверью, но Бубнову показалось, что в комнате сейчас тихо. Уже много дней не удавалось побыть наедине с самим собой. И не скоро, вероятно, удастся... Если удастся вообще, подумал он, однако мысль о возможной смерти была мимолетной, не задержалась.

В консервной жестянке с рваными краями — вспарывали клинком — дымился забытый Благонравовым окурок, Бубнов его машинально взял, затянулся, закашлялся — махорка была крепка. Запил остывшим — пахло прелым веником — чаем. Подошел к настенной карте.

«Россия, нищая Россия...» — вспомнил он стихи Александра Блока. Доводилось его слушать на одном из литературных вечеров, попал случайно. Говорят, Блок редактирует стенограмму отчета комиссии по расследова-

нию деятельности царского правительства... Скоро еще одну комиссию создадим, подумал Бубнов, посмотрим, чем господа керенские отличились. Да, нищая Россия... Нелегко нам придется, покуда вытянем из нищеты, из темноты, из раболепья...

Он смотрел на карту. Красной сеткой — железные дороги. Западнее Москвы — густо, чем ближе к Уралу, тем реже, а за хребтом так и вовсе одна-единственная. Чем придется заниматься ему, когда победит революция? Вот ими, железными дорогами? Вряд ли. Это для него временное поручение, специалисты найдутся. А он? А он солдат партии, вот он кто. Куда поставят, тем и будет заниматься. Хоть с лекциями по заводам, хоть редактором газеты, хоть директором типографии. А может, и вернется на годик в свою Петровку, получит наконец диплом, без двуглавого орла, с новым — каким-то будет он? — гербом Республики, пойдет в инженеры... Всем дело сыщется, не о том сейчас думать, Андрей...

Почти ворвался, придерживая пенсне, Урицкий, ладонью отмахнул плотный табачный дым.

— Подпиши, Андрей, — сказал он, протягивая бумагу.

Это было воззвание ВРК к населению Питера: «Контрреволюция подняла, — читал Бубнов, — свою преступную голову. Всем завоеваниям и надеждам солдат, рабочих и крестьян грозит великая опасность. Но силы революции неизмеримо превышают силы ее врагов. Дело народа в твердых руках. Заговорщики будут сокрушены. Никаких колебаний и сомнений. Твердость, стойкость, выдержка, решительность...»

— Добавим: «Да здравствует революция!» — как считаешь?

— Давай.

Бубнов приписал, поставил росчерк, Урицкий, приоткрыв дверь, бумагу кому-то передал, вернулся, напомнил:

— Сейчас заседание нашей фракции съездовской, пора идти. Да, — он нахмурился. — В коридоре встретил Троцкого, говорит, что на фракции выступит против немедленного ареста правительства, что власть может перейти мирно.

— Черт бы его подрал, этого... Льва Бонапартовича, — вдруг придумал прозвище Бубнов. — «С одной стороны, нельзя не признаться, с другой стороны, нельзя не сознаться...» А медлить нам никак нельзя, Миша, как полагаешь?

— Чего ж тут полагать...

Того не зная, они говорили словами, что в эти же минуты набрасывал у себя в комнатке на Сердобольской тихой улице Ленин:

«Промедление в выступлении смерти подобно».

8

Если бы те, кто вершил тогда историю, задумались о том, что для потомков окажется важным, существенным, ценнейшим любой клочок, любой обрывок наспех исписанной бумаги с мимолетным каким-нибудь наброском... Но сохранились далеко не все, даже государственной важности, документы.

И все меньше остается на свете людей, которые пережили те дни, в сознательном будучи возрасте, которые сохранили ясность памяти, которые могут рассказать о том, что видели они, в чем они участвовали сами...

9

...В аудитории Политехнического музея Юлий Мартов произнес речь, кратчайшую, быть может, во всей истории человечества, единственное слово: «Товарищи!..» — его тотчас согнали с трибуны...

...Почти непрерывно в комнате № 18, в первом этаже Смольного, — поскольку II съезд Советов назначен, вер-

нее, отложен до 25-го, надо выработать твердую, решительную тактику, да нет, уже не о выработке тактики сейчас речь, а о том, что к съезду революция должна, обязана победить, — потому непрерывно заседает большевистская фракция, и прибывают делегаты отовсюду, со всех концов необъятной...

...Еще не у Николаевского моста, но поблизости, в ожидании приказа ВРК, и председатель судового комитета Белышев то и дело телефонирует: ««Аврора» готова, ждем только приказа...»

...Веселые дезертиры и на самом Невском, и на Суворовском, и на Мойке, и на Загородном — всюду — торгуют папиросами, а сами дымят «козьими ножками», хрустят осенними яблочками, эх, яблочко, да куда котишься...

...— Вам куда, товарищ? В Петросовет? Этажом выше, да, но, пожалуйста, запишитесь в анкетной комиссии съезда. Какой вы партии, товарищ?

Социал-демократ меньшевик... Ох, как старательно и длинно выговорено, другие им, барышням в регистратуре, отвечают куда короче: большевик, все тут...

...«Нынешние Разины, Пугачевы — вот мы кто», — похвалялись там и тут, а когда спор о земле, по крестьянскому вопросу сделался одним из главных, тут и обнаружилось: не Разины, а скорее Столыпины они, господа эсеры, что правые, что «левые»...

...Левые, правые, кадеты, октябристы, максималисты, интернационалисты, анархисты, господи боже, да и слово не выговоришь, — впрочем, выговаривал без ошибок, понаслушался за долгие годы старик швейцар в Мариинском дворце, открывая дверь.

— Господин-товарищ, изволите видеть, брат у меня приезжал из Балакова, городскую там выбирали управу, дали десяток бюллетеней, он спрашивает: а какой опускать? Ему говорят: этот вот — за большевиков. Так бы и сказали, отвечает, а остальное заберите у меня, пригодится вам для... домашней надобности...

...Левые, правые...
— Левой-левой-левой!
— Караул, стой!
— Смирно!..

— ...К Дыбенко в Кронштадт, в Центробалт, немедленно чтобы высылали три миноносца — по их усмотрению, но чтоб надежные, впрочем, весь Балтфлот надежный теперь... А ты, Станислав, — на телеграф, назначаешься комиссаром, если барышни там вздумают бунтовать, посадишь к коммутатору солдат-связистов, выполняй, товарищ Пестковский, с богом...

...Пожарища, но это не пожарища, отблеск костров в окнах, костры прямо у входа, у стен Смольного, завернули холода, еще недавно бил дождь, а теперь морозит, порошит, а дворец не отапливается, но зябнуть некогда...

— ...И, главное, помните: в Зимнем не только министры и юнкера, там и госпиталь еще, и там, черт их, дурех, побери, рота женского батальона, тоже мне вояки, батальон смерти, надо их не задеть ненароком, этих психопаток, понял, Еремеев? А огонь боевыми снарядами открывать только в случае крайней необходимости, по распоряжению отсюда, дворец надо сохранить, еще раз напоминаю, Благонравов, это — решение...

...Странно, с чего повелось, откуда такая мода, что ли, поветрие: все грызут нынешней осенью семечки, весь Петроград в шелухе, даже, говорят, аристократические дамы не брезгают, впрочем, не брезгают они и другими удовольствиями, поизысканней... «...ананасы, рябчиков жуй, день твой последний...» — в коридорах пели матросы...

...Белой пленкой сверху, застыла совсем, припахивает едва заметно дымком и — совсем чуть-чуть — конопляным маслом, да, конопляным, и сухарь не размачивается в полуостывшем кипятке.

— ...Ничего, товарищ, не беспокойтесь, лучше пригласите связного от Обуховского...

...Вповалку, через несколько отсюда комнат — с каждого завода, из каждого полка и отдельного батальона, едят ту же пшенку, дымят, ждут, пока понадобятся, тогда — кто пешком, кто на самокате, кто на трамвае...

...Обвешанном людьми снаружи (как только не сваливается с рельсов, как только двигается); дуют без маршрутов, куда народу побольше, туда и везут, вчера Гриша Чудновский рассказывал: надо было поскорей в Смольный, велел вожатому свернуть, тот свернул, повез,— правда, пришлось револьвер ненароком из кармана...

...Казанского собора, соседство, кажется, не слишком пристойное для собора, но коммерция есть коммерция, хоть и плохонький синематограф, но битком всегда, крутят ленту, итальянскую какую-то мелодраму, и публика ломится — удивительно устроен человек...

— ...Кого пошлем? Да, пожалуй, Словатинскую, из секретариата, она шустрая и притом похожа на работницу, ее не задержат, да, конечно, лучше через Надежду Константиновну. Какой разговор, безусловно, пора Ленина вызывать сюда, сколько ж ему сидеть как под домашним арестом, да, пора, Феликс, пора, Коба, вполне согласен...

— ...Интересно, очень интересно, товарищ. Как, повторите, пожалуйста? Вы точно записывали? Почти стенографически? Любопытно... Значит, государственный преступник Ульянов-Ленин все еще подлежит арестованию, говорит Керенский? Значит, они предпочитают быть убитыми и уничтоженными, но жизнь, честь и независимость государства не предадут? Храбры же господа... Как говорят на Украине, не хвались, идучи до рати, а хвались, идучи...

— ...Слушай, Благонравов, уйми прыть и не занимай попусту аппарат, и другим звонить требуется, тебе сказано — получишь приказ...

— ...Извините, мадам, и попотчуйте своих воспитанниц валерьянкой и чем-нибудь еще успокоительным, со своей стороны, безопасность их гарантирую...

— ...Собираются? Что ж, пускай заседают? А? Пускай заседают, ананасов им подкинь и рябчиков... Не понял, говоришь? Частушка такая появилась... Думаю, последний раз собрались эти «министры-капиталисты». Ты готов, товарищ Овсеенко? Ну и молодцом...

— ...На Петроградской, в Народном доме? И будет петь сам Шаляпин? Завтра, в среду, двадцать пятого, в половине седьмого пополудни? «Борис Годунов»? Разрешаю. И, говоришь, все билеты распроданы? Забавно... Разрешаю...

— ...К Тер-Арутюнянцу, да, комендант, да нет, не комендант (совсем голову мне заморочили), комиссар Кронверкского арсенала, скажете — я распорядился. А почему, собственно, так поздно получаете винтовки? Торопитесь, медлить нельзя...

— «...Его высокому превосходительству господину товарищу гражданину Ленину...» Это надо ж так ухитриться потитуловать...

— ...Пытаются не выполнять? Пригрозите расстрелом. Да, да, расстрелом. От имени комитета. Ничего, я беру ответственность...

— ...Да узнал, узнал я тебя, положи трубку. Случилось? Да нет, не случилось, а... пришел Владимир Ильич. Ну и что, а почему нельзя прямым текстом? Хватит, поконспирировали... Вешай трубку, некогда...

10

«К гражданам России!

Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки... Военно-революционного комитета...»

«Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась».

В. И. Ленин.

Комиссар железнодорожных узлов А. С. Бубнов послал по железнодорожному телеграфу телеграмму: «Всем, всем, всем... Революция победила в Петрограде.

Член Военно-революционного комитета *А. Бубнов*».

11

...Под утро 27 октября, в пятницу, когда закрылось последнее заседание съезда Советов, когда разошлись делегаты — кто домой, кто на заводы, в полки, кто на вокзалы в надежде уехать поскорей, разнести по стране известие о победе, — когда, разбредясь по разным комнатам Смольного, прилегли на час-другой вздремнуть члены только что выбранного ВЦИК и остались дежурить у аппаратов большевики, взявшие власть, когда даже Феликс, проверив караулы, отправился отдохнуть — ему, коменданту, отвели выгороженный где-то закуток, — когда не слышно было нигде перестрелки, а часовые взбадривали полешками усталый костер на брусчатке у парадного крыльца, когда матрос, глянув на изморенного, чуть не шатающегося от усталости комиссара в кожанке, отломил край липкой буханки, протянул молча и комиссар горбушку взял, сунул в карман кожанки, — Бубнов задержался на ступенях главного входа, от горбушки, подаренной матросом, так и не откусив.

По бокам, меж колонн, стояли на турелях пулеметы-«максимы», костровый блик метался по мостовой, и, кажется, в костре пекли картошку. Есть не хотелось. На душе было странно пусто, было очень пусто на душе.

После расскажет ему Станислав Станиславович Пестковский: знаешь, было мучительное напряжение, вот оно, жданное десятилетиями, свершилось — и вдруг ощущение пустоты...

Он миновал кованые ворота (пропилеи по бокам воздвигнут через несколько лет) и очутился на Екатерининской площади, пустынной и настороженной. Прямая Шпалерная еле виднелась в предутреннем сумраке, сзади, как бы огибая дворец или перескакивая через него, сильно тянул ветер с Невы, охтинский, восточный ветер. Какой-то ненужный, ненастоящий, будто во сне или в синематографическом кадре, порожняком, сам по себе, проехал извозчик, его можно было окликнуть и поехать куда-нибудь. Куда? Зачем? К кому? Не в Иваново же Вознесенск и не в Москву, где сейчас Маруся и Герман. Впрочем, что до него Марусе... А Герман еще мал. Однако и не так уж мал, девять лет...

Извозчик повернул, завидев, должно быть, одинокого человека, — вдруг прикажет ехать куда-нибудь? Куда? Извозчику было тоже все равно, лишь бы ехать с живым седоком и не без надобности, а куда велят, все едино куда... Лошадка стала спокойно, и, не дожидаясь зова, не спрашивая, Бубнов устроился в пролетке.

Ехали не по набережной, как было бы много короче, а непутево: по Шпалерной, обогнули Таврический, голый сад, на Кирочную и опять свернули, вдруг обратно свернули, на Знаменскую, Бассейную, очутились у Михайловского замка и — через Марсово поле, по-иному Царицын луг, по Миллионной — к Зимнему.

Мало где светились окна, Питер спал, усталый, побежденный, победивший, ликующий и унылый, радостный и озлобленный Питер. Дремали у ворот, у подъездов, в тулупах, дворники. Пробегали кое-где бродячие собаки — много их что-то развелось. А людей встречных не было. И потому столь удивителен был тот, высокий, прямой, что,

не переминаясь, почти навытяжку, словно в карауле, ждал кого-то — или чего-то? — возле фонарного, слабо наверху мерцающего столба. В офицерской, без погон разумеется, шинели, он шагнул наперерез, властно подняв руку, извозчик обернулся к Бубнову: подвезем, сударь? Андрей Сергеевич кивнул, — почему бы не взять попутчика, замерзнет человек. Но тот лишь попросил огня. И когда извозчик в горстке протягивал бывшему благородию зажженную береженую спичку, Бубнов увидел — на мгновение — лицо такое знакомое, такое памятное, что уж никак ошибиться не мог: суховатое, с решительным носом, с короткими, по форме, усиками, с четкими, властными губами, зажавшими вместо душистой папиросы вонючую самокрутку. И глаза — холодно-вежливые, испытывающие, приглядывающиеся глаза, которые встретились с глазами Бубнова. Только на мгновение, всего на миг.

Лошаденка тронулась. Бубнов обернулся: Шлегель смотрел ему вослед.

И, не зная, что в пролетке, обыкновенной, со слабыми, с трещиною, рессорами, на вытертом сиденье разместился человек, сутки назад за своею подписью известивший всю великую Россию о победе Революции, ничего не ведая о том, извозчик, быть может, спросил у седока то, что спрашивали тогда почти все: «Царя нет, министров скинули, как, сударь-батюшка, жить-то будем теперь? К чему повернули? Куда?» И возможно, Андрей Сергеевич ответил: «Будем — *жить*».

Так это было или не так, о чем думал и что испытывал Бубнов тогда — неизмеримую гордость, счастье победы, невероятную, свойственную творцам, удовлетворенность совершенным, боль от сознания невозвратных потерь, потребность в ласковом женском прикосновении — кто скажет?

Может, Бубнову просто хотелось спать, он устал.

ЭПИЛОГ

1

...Вот уже года, наверное, два его взялась маять бессонница. Не та, юношеская, пережитая всеми, когда на летней зорьке выскакиваешь через окошко, босиком бежишь по мокрой траве, перемахиваешь забор, идешь неведомо куда, горланишь песни или молча произносишь любимые стихи, когда стихи, пускай неумелые, слагаешь сам, когда кладешь на чей-то подоконник, неважно чей, ветки только что распустившейся черемухи, сирени, простеньких ли полевых цветов. И не бессонница стариковская, при которой день, словно у младенца, перепутывается с ночью, при которой в глухую темь человек поднимается, пьет чай, бесцельно бродит по квартире, бесцельно переставляет с места на место мелкие и ненужные вещи, равнодушно, словно постороннюю, чужую, перебирает собственную долгую жизнь и уже не сожалеет ни о совершенных ошибках, ни о том, чего не успел сделать.

Его бессонница была как бы «среднего рода», того присущего людям возраста, именуемого деликатности ради зрелым, а если выразиться жестче, как ни крути, предстарческого. Она жестока и беспощадна, эта бессонница пожилых. Сон либо не приходит часами, либо же обрывается, как изношенная кинолента, и теперь ее не склеишь до того часу, когда хочешь или не хочешь,

а надо вставать, вставать с тяжелой головой, с непонятной, неприятной усталостью во всем теле, с трудной раскачкой на предстоящие дела.

Сон либо нейдет, либо рвется, и это одинаково тяжело. Нет сил подняться, зажечь свет, взять хотя бы пустяшную книгу. И нет сил сомкнуть глаза. Лежишь на спине, слышишь и хлопанье двери где-то в подъезде напротив, и — если по летней поре, когда всюду распахнуты окна, — чей-то завидный храп, и сонное бормотание, и плач ребенка, и дальний гудок автомобиля, и потрескивание обоев, и вялый полет пробудившейся тоже некстати мухи, и слышишь собственное сердце (в молодости мы его не слышим). Лежишь, и, сколько ни старайся, сколько ни пытайся переключить мысли на что-нибудь если не приятное, то хотя бы повседневное, будничное, это не получается. И даже не о близких, завтрашних заботах или, вернее, уже сегодняшних и необходимых, отрадных и обременительных, думаешь ты, а думаешь о чем-то существенном и главном, не всегда точно сформулированном, однако непременно существенном. «Я, не спеша, собрал бесстрастно воспоминанья и дела; и стало беспощадно ясно: жизнь прошумела и ушла». Нет, в том-то и дело, что жизнь еще не ушла, ей — продолжаться, ей длиться неизвестно сколько, но житейский твой опыт, в сущности, завершен, ничего принципиально для тебя нового к опыту не прибавится: ты испытал все, что полагается испытать человеку: любовь и ее исчезновение, почти мгновенное или постепенное, испытал обретение друзей и потерю их — не обязательно потому, что друг умер, испытал радость удач и полынь поражений, провалов, оплошностей, осознал собственные ошибки и понял их непоправимость, узнал, что ошибки, даже осознанные, мы повторяем вновь и вновь, и тут ничего не поделаешь, те же ошибки повторят и твои дети, и дети их детей, и так, должно быть, пребудет из века в новый век, от

поколения к поколению, едва ли не до бесконечности, если она существует, бесконечность... И только этими проклятыми, этими благословенными ночами ты говоришь себе то, чего не скажешь никому, даже себе не скажешь при свете дня, и не отчаяние тебя охватывает, но безразличие перед лицом неотвратимости, и не казнишь ты себя за грехи, ибо понимаешь, умом понимаешь, что в покаянии несть спасения, поскольку прегрешения тоже необратимы, как и ошибки, — нет, себя уже не казнишь, а с усталостью отмечаешь: да, было так и теперь не вернешь, не переделаешь. И, надрывные отчасти, песенные слова: «Ах, если б можно было жизнь начать сначала» — не более чем крик, вопль, стенание, бесплодное и неразумное, потому что, если бы дано было тебе начать жизнь сызнова, — все равно ты спотыкался бы и падал, совершал ошибки, чтобы исправить их и — повторить заново, пускай в ином качестве. Но будь так — человечество оказалось бы счастливо в глобальном смысле: никто не повторял бы ошибок предыдущего поколения. Но — повторяли, повторяют, будут повторять. И быть может, в том и смысл существования человечества — в преодолении ошибок, в противоборстве с ошибками... Отрицание отрицания есть утверждение. А утверждение составляет суть...

2

Отродясь не верил в медицину, поскольку ничем всерьез не болел — «белый билет» в первую мировую был фиктивный, по указанию партии: нужен был в тылу, — не верил эскулапам и сейчас, не испытывая ни малейших недомоганий, присущих возрасту. Бессонница была не в характере, не в натуре, потому ею маялся особо; и следовал советам докторов — принимал вечерами теплый душ, по выходным, редким, бегали на лыжах с Ольгой и

Ленкой, — иные посмеивались, зная про лыжи: несолидно для... А, чепуха, ерундистика, солидно — несолидно... И даже старался, насколько мог, выкраивать час для прогулки в одиночестве, чтоб и Ольга не отвлекала разговорами, — после разговоров на сон грядущий взвинчивались усталые, невосстановимые нервы. Старался не читать перед сном, — вот это самым трудным оказалось, на чтение времени другого не хватало. Даже пил простоквашу, ненавистную с детства. И папиросы держал только для гостей, — сам курил редко, хотя иногда хотелось нестерпимо вдруг, тем более в томительные ночные часы. И ни черта не помогали всяческие там бромы, бромуралы, все процедуры и режимы, — бессонница маяла, и оставалось примириться с ней, неизбежной, как неизбежна была не столь далекая, надвигающаяся достаточно явственно старость.

Сегодня — юбилей. Первый «законный» пятидесятилетний юбилей, первый и, вероятнее всего, последний, до векового редко доживают. Ну что ж, первый и последний. Начало и конец — они человеком, человечеством не осознаются, важно то, что посередке, между началом и концом. Полвека — это немало, о душе подумать пора...

В предвидении суматохи праздничного застолья накануне вечером отметили событие в семейном кругу: Юлия Александровна, теща, человек близкий по-настоящему, и Ленка, Буба, Бубеныш, и домработница, а точнее, домоправительница Анна Григорьевна, и конечно же Оля, Ольга Николаевна...

Зимний был, как и полагалось по названию, холоден, был пуст, гулок, неприбран, валялись бутылки из-под изысканнейших вин, стояли в козлах брошенные юнкерами — сопляки, мальчишки — винтовки, метались по узорному паркету бумаги, валялись шинели, темные там, где

были прежде погоны, валялись баклажки и консервные жестянки, и, в ранний час, туго ворочая пером, сидел в атласном кресле, озирая развешанные по стенам полотна, смертельно изморенный матрос, записывал в тетрадку, — Бубнов полюбопытствовал, что же там записывает, оказалось — что-то вроде каталога картин, удивительный был каталог: «Шамовка № 3», «Шамовка № 7», «Гулянка на площади», «Голая баба в лесу»...

И в зале, где фламандцы, где опрокинута на пол — чудом не разбилась — фарфоровая ваза, где, как и всюду, ломится в окна ветер, — курсисточка не курсисточка, но похожа на курсистку, длиннополое пальто, муфта, шляпка из хорошего меха и...

— ...И как это вас, мадемуазель, занесло сюда в такой ранний час? Ах, думаете, что после большевики дворец обратят в конюшню?

— А вас, извините, господин комиссар, беспокоит, что я украду Рубенса или Рембрандта? Не беспокоит? Поразительно, до чего интеллигентные комиссары встречаются... Прикажете предъявить паспорт?

Очень она была хороша, так хороша — сил нет: высокая, тоненькая, глазищи чуть не в половину лица, а лицо матовое, смуглое, южанка, что ли? Такие запоминаются, и в Москве в двадцатом году на улице встретились,— Бубнов ее узнал моментально, а она...

Спасибо тебе, Оленька, что ты встретилась там, на Сухаревке, спасибо судьбе, что занесла тебя тогда, в октябре, в Питер — тебя, студентку Московского университета, — к родственникам и ты, будущий искусствовед, пришла тем утром в Зимний... Спасибо...

Были Маруся и Герман, с Марусей товарищеские отношения сберегли, а как же иначе, не годится, разойдясь, становиться озверелыми, — и Маруся, Мария Коп-

стантиновна, не только прежняя, бывшая жена, она и товарищ партийный, подпольщица, и Герман — сын, первый ребенок, — значит, оба родные, оба свои... Выпили, поговорили.

Лег, и тотчас уснул, и, как от сильного толчка, пробудился в уже привычное, около четырех, время, и, сегодня не пересиливая себя, встал, накинул халат, не зажег света, чтобы не беспокоить Ольгу, тихонько прошел в кабинет, выпил холодного, приготовленного на утро, как заведено, кофе, присел к столу.

Давным-давно, в годы скитальческие, в годы подполья, а затем в круговороте Революции и Гражданской, была у него — нет, не мечта, слишком возвышенно звучит, слишком пышно — была у него великая, главная житейская потребность: иметь собственные книги. Ничего не хотел для себя — ни мебели, ни костюмов, ни особой еды, — а вот книги хотел, и хорошие чтоб, и много, и расставлены удобно. Сейчас они есть, и много, и хорошие, — присылают отовсюду, поскольку народный комиссар просвещения, — и Оля покупает, и Ленку приобщил. Даже кроме кабинета есть специальная комната для библиотеки. В кабинете — самое необходимое для работы, Маркс и Энгельс, Ленин, словари, справочники, а в библиотеке — то, что не всегда нужно, а...

Пушкин — здесь, в кабинете, на крутящейся этажерке, загадочный Пушкин, опередивший свой век гений, почему-то не признанный в Европе, в Америке, — там из русских классиков почитают Чехова, Достоевского, Толстого и, кажется, все, а ведь у нас и Пушкин был, и Лермонтов, и Гончаров, да разве мало у нас классиков литературных, и не обязательно сводить всю нашу литературу к трем именам, никак не обязательно. А Пушкин... Пушкин вот, например, каков: «Любви стыдятся, мысли гонят, торгуют волею своей, главы пред идолами клонят и просят денег да цепей». А это: «Императрица велела сказать...

что за таковые дерзости в Париже сажают в Бастилию, а у нас недавно резали язык, что, не будучи от природы жестока, она для такого *бездельника,* каков Х., нрав свой переменять не намерена, однако советует ему впредь быть осторожнее». Это — о Екатерине. А это вот: «Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству... Талант, из уважения к равенству, принужденный к добровольному остракизму...» Это — об Американских Штатах в журнальной рецензии, но как не увидеть тут и Россию тогдашнюю... Дерзок был Александр Сергеевич, дерзок, того ему и не простили. Сам же он говорил: «Никакая власть, никакое правление не может устоять противу всеразрушительного действия типографического снаряда». А «снаряд типографический» смело он использовал... За то и поплатился жизнью...

Раздвинув штору, Бубнов отворил фортку. Влетело несколько мягких, нехолодных снежинок. В хорошее время угадало родиться — в начале весны. В день святого Андрея. «Мужественный это значит», — втолковывал папенька, у него было пристрастие к похвальбе всем, что принадлежит ему, а дети, полагал Сергей Ефремович, тоже нечто вроде личной его собственности. Папеньку недавно схоронили, был старый старичок, но с норовом прежним. Как-то, несколько лет назад, устроил его на отдых в цековский санаторий. Первым делом отец наркома просвещения повесил на стенки своей палаты иконы. И сколько его сын уговаривал, сколько просил — ни в какую. Вот был папенька — с характером...

Из фортки дуло, снежинки влетали, падали, растворялись в тепле. Хотел поймать в ладонь — не поймал. Снова сел к столу. Всякий знает по себе: в детстве день рождения — только радость, только предвкушение веселья, подарков, суеты, ласки, родительской покладистости; в юности — осознание того, что повзрослел на год, прибли-

жаешься к чему-то большому, настоящему, неизведанному, такому, чего не было у тебя, не было ни у одного человека за всю историю и не будет, не будет ни у кого... А когда стареешь, когда... В общем, так: прожито много, очень много, и осталось гораздо меньше, но мысли о смерти не то чтобы гнал, а просто не приходили; точнее же — приходили, но равнодушные, безразличные, лишь одного желал: не болеть бы, а разом чтоб, чтоб не мучиться и не мучить ближних... А пятьдесят — это не старость, это не такой уж плохой, если прикинуть, возраст: много сделано, много передумано, многое впереди... Хоть и не на ярмарку, а с ярмарки, говорится, но сколько-то еще отведено в будущем...

Было половина шестого. Часов с девяти начнутся звонки — телефонные и в дверь, почтальона. Первой наверняка позвонит Надежда Константиновна, — тоже спит мало, но слишком рано беспокоить не станет, даже и срочные дела старается попридержать, удивительной чуткости и деликатности она человек, Надежда Константиновна Крупская, с ней, заместителем по наркомпросу, работать — одно удовольствие... Позвонит Валера Куйбышев, астматически подышит в трубку, скажет что-нибудь веселое, на это мастак. Петя Постышев, Федор Самойлов, Маша Бешенковская, Рабиновичи позвонят... И Клим, и Семен Буденный — те наверняка станут звонить по одному аппарату, рвать друг у друга трубку. А не позвонят... Не позвонят тоже многие. Миша Фрунзе. Семен Балашов, Дунаев Евлампий. Отец. И Коля Щорс не позвонит. И батька Боженко. Многие друзья не позвонят, потому что их — нет.

Доставят поздравительный адрес от Мейерхольда Всеволода Эмильевича — непременно что-нибудь смешное, разрисованное в кубистском стиле. Мейерхольд прибегает в наркомат чуть не каждый божий день, тянет на Триумфальную, где строят для него театральное здание. «Анд-

рей Сергеевич, вы же понимаете, вы же должны понять наконец, что новое искусство требует и нового антуража и немыслимо, вы понимаете, невозможно играть на старинной площадке революционные спектакли, а?» Бегает по кабинету, потирает руки, садится, вскакивает, шевелюра дымится — ребенок сущий, как и все художники впрочем.

Особым ключом Бубнов отпер ящик письменного стола. Всюду, где он работал, был образцовейший, до педантизма, порядок, порою тягостный и окружающим, и ему самому. Но этот ящик запирался особым ключом не ради порядка. Там хранилось самое дорогое...

3

Анкеты, черновики автобиографии, мандаты партийных съездов и конференций, удостоверения члена ЦК, ЦИК, высших органов Украины, оставленный на память партийный билет старого образца — разрешили старым большевикам при обмене сохранить у себя, — грамоты, фотокопии ленинских записок и телеграмм, фотографии самых близких, письма, тоже от самых близких, — все это было аккуратнейше разложено по коленкоровым папкам с наклейками, проделано саморучно, — такой уж он был педант. «Не своим делом занимаешься, начальник Политуправления РККА, — подшучивала Ольга. — Тебе надо бы Центроархивом командовать». — «Надо будет — и там покомандую, — отвечал он всерьез, — я всегда готов, как юный пионер, куда партия поставит — там и буду и постараюсь не осрамиться».

Ноябрь 1917-го. Его, комиссара железных дорог республики, направили на Юг, там он принял участие в борьбе против белогвардейского генерала Каледина. Телеграммы в Совнарком: идут схватки с юнкерами в Нахичевани, в Ростове. Всего сутки понадобились на разгром, возглав-

лявший юнкеров генерал Потоцкий и его штаб арестованы. Подпись: Бубнов.

«Тов. Бубнов читал нам заявление, поданное в ЦК цекистами, считающими себя очень левыми...» Это — Ленин, VII экстренный съезд, дебаты о войне и мире. Был, был грех, выступил тогда против Ленина, да и не просто выступил, а, по существу, был в составе «левой оппозиции». Оказались в меньшинстве, съезд принял ленинскую резолюцию о Брестском мире. Но споры спорами, оппозиция оппозицией, а никаких наказаний. Сразу послали на Украину, на самый ответственный участок. Член украинского советского правительства, затем руководил в составе «девятки» повстанческим движением, возглавлял тамошний Центральный военно-революционный комитет, находился в подполье, после освобождения от петлюровцев Киева встал во главе Исполкома городского Совета... Член ЦК партии Украины, член РВС армии, ударной группы, группы войск...

«29.V.1919 г. *Шифром.* Киев Совнаркомукр... для Иоффе. Прочтите эту телеграмму Раковскому, Межлауку, Ворошилову, Пятакову, Бубнову, Квирингу и другим виднейшим работникам... Абсолютно неизбежна гибель всей революции без быстрой победы в Донбассе, для чего необходимо... работать революционно, поднять все и вся, следить лично за каждой воинской частью, за каждым шагом работы, все, все отложить в сторону, кроме Донбасса, на одну винтовку ставить трех солдат... *Ленин*».

«5.VI.1919 г. *Шифром.* Харьков... для Бубнова. Благодарю за подробные вести и за энергию, но надо довести дело до конца. Не полагайтесь ни на кого и оставайтесь лично, пока не будут подвезены до места назначения вполне готовые части или пока не будут влиты в фронтовые части. *Ленин*».

«*Екатеринослав* Аверину, копия Бубнову. Надо налечь изо всех сил на мобилизацию рабочих... Телегра-

фируйте срочно, какие меры приняли, сообщайте фактические результаты. *Ленин*».

Начало 1920-го. Снова Москва, Главное управление текстильных предприятий, член бюро МК (ранее, на VIII съезде, был избран кандидатом в члены Центрального Комитета партии). И снова оплошал — примкнул к группе «демократического централизма». Натура, что ли, была такая: внешне хладнокровен, выдержан, спокоен, даже замкнут, а «внутри» — кипение страстей, не изжитые с юности поиски истины там, где искать ее и не следует? И опять даже в ошибках проявляется масштаб и «особливость» его личности... Впоследствии он говорил: «...когда в 1921, после большой драки с Центральным Комитетом, мне пришлось выбирать: или выступать на X съезде с содокладом (от имени «децистов», против Ленина — *В. Е.*), или идти защищать республику Советов с винтовкой в руках, то... я плюнул на это дело и пошел с винтовкой на кронштадтский лед».

Он, видный военный руководитель, пошел с винтовкой в цепи 561-го полка под командованием Яна Фабрициуса, рядовым бойцом, его видели в самых опасных местах.

Постановление Реввоенсовета от 23 марта 1921 года о награждении орденом Красного Знамени «за то, что, участвуя в штурме Кронштадтской крепости, личной храбростью и примером вдохновлял красных бойцов». Вот он, орден, в матерчатой коробочке, орден, надеваемый только в самых торжественных случаях. Сегодня его привинтит обязательно...

1921 год. С «децистами» порвал решительно. С хозяйственной работой покончено, — вероятно, тому способствовал «кронштадтский лед»: Бубнов становится членом РВС Северо-Кавказского военного округа и членом РВС прославленной 1-й Конной армии.

1922—1924-й. Заведующий агитпропом ЦК РКП(б), опять в составе ЦК: с XII съезда — кандидат, с XIII съез-

да и до последних дней — член Центрального Комитета. Было еще раз — последний! — прегрешение перед партией: подписал, правда с оговорками, троцкистскую «платформу 46-ти». Но это была уже последняя его ошибка.

Ошибки он умел признавать — не фальшивя, не показухи ради, а искренне. На ехидный попрек видного троцкиста Евгения Преображенского: «Какой рукой пишете вы ваши теперешние статьи?» — Бубнов отвечал решительно: «Я пишу всегда одной и той же рукой... А дополнительно считаю нужным сказать: этой же рукой я буду воевать со всяким, даже со своими ближайшими друзьями, если они докатываются до разрыва с большевизмом».

Несмотря на временные свои колебания, ошибки, заблуждения, он оставался всегда убежденным большевиком-ленинцем в главном — в своей партийной преданности, в открытости, в ничем не замутненной вере в правоту нашего дела. Он имел полное право сказать в заявлении XII съезду: «Для меня единство партии — это не пустой звук. Я дал этому за последние годы не один раз и не одно доказательство своим поведением не на словах, а на деле. И само собой разумеется, что... всякая оппозиция представляется делом вредным, а всякие попытки организованной оппозиции делом безусловно антипартийным, т. е. преступным».

И — на XVI съезде: «Нам нужна, как говорил Ленин, железная поступь рабочих батальонов. Против правого оппортунизма, против авантюристского налетничества «левых», против примиренческой нейтральности партийной обывательщины, под знаменем ленинизма. Так шла, так побеждала, так идет и будет идти ленинская партия».

В трудные для партии, для всего народа дни, когда скончался Владимир Ильич, когда требовалось, как принято выражаться официально, укрепить руководство по всем линиям, Андрей Сергеевич становится начальником

Политического управления РККА. К великой его радости, вскоре Вооруженные Силы возглавил старый товарищ, Михаил Васильевич Фрунзе, дорогой Миша. Недолго им пришлось поработать вместе, болезнь унесла Михаила, и над могилой его самые теплые, самые прочувствованные слова довелось произносить Бубнову... Поработали вместе меньше года, но успели многое, и прежде всего провели по указанию ЦК военную реформу, значение которой для обороноспособности страны общеизвестно. Бубнову принадлежит значительное количество научных работ по военным вопросам.

Андрей Сергеевич был секретарем ЦК, членом оргбюро ЦК, членом ЦИК СССР и ВЦИК.

Сентябрь 1929-го. Андрей Сергеевич Бубнов становится народным комиссаром просвещения РСФСР.

Это было, пожалуй, самое сложное дело в его жизни, сложное по многим причинам.

Пришлось ему на этом посту сменить не кого-нибудь, а самого Луначарского, блистательного Анатолия Васильевича, полиглота, знатока всех разделов и всех периодов человеческой культуры, драматурга, переводчика, автора многочисленных книг по теории искусства.

Правда, организатором он, судя по всему, был не столь блестящим, и в этом заключалось преимущество Бубнова, это подтверждает, например, Надежда Константиновна Крупская, ставшая заместителем нового наркома. Но и знаниями Бубнов не был обделен — свидетельством тому его статьи и доклады наркомпросовского периода.

Сложность работы заключалась и в том, что Наркомпрос тех лет охватывал прямо-таки необъятный круг всевозможных отраслей. Общеобразовательные школы и школы рабочей, крестьянской молодежи, фабрично-заводские училища, техникумы, вузы, университеты, научные учреждения, кинематография, полиграфия, издательства, книжная торговля, музеи, театры, клубы, библиотеки,

объединения творческой интеллигенции — это перечень далеко не полный.

И наконец, во всех этих отраслях, а прежде всего в системе народного образования, шла коренная перестройка. Ликвидация неграмотности и борьба против левацкого прожектерства («лабораторный план», например), против антиленинской теории «отмирания школы», против засилья лжеученых-педологов, за повышение роли учителя и внедрение политехнизации — и всем этим Бубнову приходилось заниматься. При активнейшем его участии готовились постановления ЦК партии «О начальной и средней школе» и «Об учебных программах и режиме в начальной и средней школе», принятые 5 сентября 1931 года и 25 августа 1932 года, рассматривались проекты новых, стабильных учебников... Под его руководством изживались застарелые болезни Наркомпроса, на которые указывал еще Ленин: «...недостаток деловитости и практичности, недостаточные учет и проверка практического опыта, отсутствие систематичности в использовании указаний этого опыта, преобладание общих рассуждений и абстрактных лозунгов».

Поначалу кое-кто подхихикивал за спиной: дескать, прямо по Грибоедову: «Фельдфебеля в Волтеры дам, он в три шеренги вас построит, а пикните, так мигом успокоит», «Вот уж воистину — теперь у нас комиссар». И все такое прочее. Нашлись и лизоблюды — почтительнейше докладывали об этих шуточках. Лизоблюдов — к чертовой бабушке, на это и впрямь хватило комиссарской закваски. Плевал он на всякие толки-перетолки.

4

За окном начинало светать. Он убрал бумаги в ящик, спустился вниз. Услыхав его шаги, вышла из своей комнатки домработница Анна Григорьевна, еще раз

поздравила и не утерпела — продемонстрировала загодя приготовленный именинный пирог, сказала, что сейчас поставит чайник, — после ду́ша Андрей Сергеевич непременно выпивал стакан.

Почту еще не принесли, рано. В ванной комнате лежала свежая простыня, приготовлена была новая полотняная гимнастерка и новые, к этому дню сшитые, галифе, — он привык к военной форме, цивильное платье надевал только на торжественные заседания и наиболее «представительные» совещания.

Душ пустил еле тепленький, после долго растирался жестким — специально для него такие в доме держали — полотенцем.

Скатилась по лестнице растрепанная, полусонная Ленка, халатишко почти распахнут, косички поленилась на ночь расплести, торчат в разные стороны, спросонок проскочила было мимо — вечно в школу опаздывает — отец поймал за косичку, сказал:

— Буба-Бубеныш, а ну скажите дяде «здрасьте!».

— Ой, папка! — она повисла на шее. — С днем ангела тебя, как Анна Григорьевна говорит! С рождением, папка! А мы тебе с мамой приготовили... как его... визит, да?

— Скорее всего, сюрприз, — сказал он. — Тоже мне визитерша, такая солидная дама, полных десять лет с хвостиком, а образованность ниже уровня, и это — дочка наркомпроса, ай-ай-ай!

— Ну и пускай, — ответила, ничуть не обижаясь, Ленка. — Пускай сюрприз.

Он вспомнил: прошлый год учительница из породы экспериментаторов задала своим птенцам не изложение, как полагается, а сочинение на тему «Мои родители». И Ленка написала кратчайшее из всех произведений в классе, одну фразу: «Мой папа — Революционер». Так и написала — с большой буквы.

— И у меня есть «визит», — сказал он и вытащил из

кармана галифе дымковскую, из глины, раскрашенную ярко забавную игрушку: девица — румянец во всю щеку, носишко в небеса.

— Понятно, к чему намек? — спросил он. — Вот и преотлично. Ладно, совершай утренний туалет, лопай и дуй в школу. А маму не буди, мы вчера поздно легли. Я пока пройдусь до завтрака, пакурился, извини уж, мадемуазель Буба.

На пороге встретилась рассыльная, принесла первую телеграмму — из Самары, от давних, еще с подполья, друзей: «Привет большевику, привет родному товарищу», — спасибо, друзья мои, спасибо, всех вас помню...

Надел длиннополую, кавалерийского образца, шинель, фуражку с матерчатым козырьком и красноармейской звездочкой. Сапоги блестят — любит их чистить, есть такое забавное пристрастие.

Дворник Галимзян перестал ширкать метлой, приложил к шапке развернутую ладонь, поздравил с праздником. В старое время полагалось дать ему серебряный рубль и чарку водки. Бубнов пожал руку: с Галимзяном Закировичем знакомы по гражданской, он служил под началом Андрея Сергеевича в 1-й Конной. Спасибо, фронтовой товарищ...

На работу сегодня опоздает, не беда... Тихим переулком вышел на Садовую. Бежали редкие автомобили, цокали копытами извозчичьи лошади. Не будет, наверное, скоро извозчиков, доживают свой век.

У мальчишки взял «Правду» — домой еще не принесли, — развернул на ходу, увидел приветствие ЦК, статью Глеба Максимилиановича Кржижановского, и приветственное письмо Надежды Константиновны, и телеграмму от ленинградских большевиков за подписью Сережи Кирова...

Он был счастлив. Ему исполнилось пятьдесят. Ему еще оставалось, по всем медицинским меркам, думал он, не меньше четверти века — жизни, работы до самого последнего дыхания, общения с друзьями, ему предстояло, думал он, увидеть взрослую Ленку и понянчить внуков, ему предстояло долгое-долгое счастье. Высшее счастье — борца.

Бубнов был счастлив.

Впрочем, если бы он и знал, что впереди осталось меньше семи лет, — разве не был бы он счастлив все равно в этот день, в день, когда подводятся итоги, когда мужчина чувствует себя и во всей полноте творческих сил, и в зрелости опыта, когда можно с уверенностью сказать себе — что же ты успел сделать на этой земле...

Даже и знай он, что ему остается неполных семь лет...

Это ведь тоже много, если прожить не впустую.

А жить впустую Андрей Сергеевич Бубнов не умел, не такая была натура, не тот характер, да и не те были времена — вихревые времена социальных схваток, битв, революций, потрясений, побед, борения страстей, времена грозовые и грозные, возвышенные и трагические...

Июль 1974 года — май 1977 года

Ерашов Валентин Петрович.

Е80 Навсегда, до конца. Повесть об Андрее Бубнове. М., Политиздат, 1978.

412 с. с ил. (Пламенные революционеры).

$Е\frac{10203-012}{079(02)-78}262-78$ Р2+3КП1(092)

В серии „Пламенные революционеры“ в 1977 году вышли следующие книги:

Ирина Гуро, Анатолий Андреев
«Горизонты»
(о Станиславе Косиоре)

Игорь Ефимов
«Свергнуть всякое иго»
(о Джоне Лилберне)

Лев Кокин
«Зову живых»
(о Михаиле Петрашевском)

Франц Таурин
«Без страха и упрека»
(о Николае Серно-Соловьевиче)

Михаил Шатирян
«Генерал, рожденный Революцией»
(об Александре Мясникове)

Петер Фельдеш
«Полководец улицы»
(о Енё Ландлере)

В серии
„Пламенные революционеры“
в 1978 году
выйдут следующие книги:

Александр Борщаговский
«Сечень»
(об Иване Бабушкине)

Юрий Давыдов
«На Скаковом поле, около бойни...»
(о Дмитрии Лизогубе)

Евгений Добровольский
«Чужая боль»
(о Вере Засулич)

Владимир Дрозд
«Добрая весть»
(о Ювеналии Мельникове)

Валентин Петрович Ерашов
НАВСЕГДА, ДО КОНЦА

Заведующий редакцней *В. Г. Новохатко*
Редактор *Л. Б. Родкина*
Младший редактор *А. А. Мочалова*
Художннк *Н. Д. Бисти*
Художественный редактор *В. И. Терещенко*
Техннческнй редактор *Н. Е. Трояновская*

ИБ № 1249
Сдано в набор 22 сентября 1977 г. Подписано в печать 14 марта 1978 г. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Условн. печ. л. 18,81. Учетно-изд. л. 18,67. Тираж 300 000 (200 001—300 000) экз. А 00025. Заказ № 591. Цена 1 р. 50 к.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Типография изд-ва «Уральский рабочий», Свердловск, пр. Ленина, 49.





